ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Эрих Мария РЕМАРК

ЭПИЗОДЫ ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ремарка — автора романов знают все. Ремарк — сочинитель рассказов в России почти не известен. С ранней юности Эрих Мария Ремарк писал рассказы, очерки, статьи, зарисовки, рецензии. Его рассказы — психологические, лирические, приключенческие, исторические, даже фантастические — это ступеньки, по которым писатель поднимался к своим великим романам.

- Эрих Мария Ремарк
  - В. Бабенко. Долгое одночасье
  - Рассказы
    - О радостях и тяготах югендвера
    - Час освобождения
    - Женщина с золотыми глазами
    - В дни юности…
    - Ноябрьский туман
    - Цезура
    - От полудня до полуночи
    - Финал
    - Декаданс любви
    - Силуэт Ян-це-цян
    - Иншалла
    - Кай
    - Испытание Куна
    - Тотчас
    - Ковровщик из Бейрута
    - Озеро в ночи
    - Гроза в степи
    - Мальчик-тамил
    - Трофей Вандервельде
    - Межпланетный автомобиль
    - Осенняя поездка мечтателя
    - Последний омнибус
    - Борзая
    - От Кнолля до Миньон
    - Трагический разговор
    - Приготовление пунша
    - Гимн коктейлю
    - Превращение Мельхиора Сирра
    - Маленький автомобильный роман
    - Вращение вокруг Феликса

- Билли
- Бла и сельский стражник
- Лисс и комплексный тест на пленэре
- Рекорд Йозефа
- Враг[21]
- Тишина под Верденом
- Карл Брёгер во Флёри
- Жена Йозефа
- История любви Аннеты
- Странная судьба Йоханна Бартока
- Ночью я видел сон…
- В пути
- The Five Years Diary

○ Статьи, очерки, эссе

- А если ты вдруг очнешься от суеты
- Густав Зак
- Геррит Энгельке
- Ханс Йегер[33]
- Первый концерт музыкального общества
- Имярек
- «Фауст»
- Разговоры во время «Фауста»
- Зарисовки с ярмарки
- Природа и искусство
- Китч
- Карусель около кладбища св. Николая
- Фиолетовый сон
- Натюрморт
- О стиле нашего времени
- Реклама и продавцы
- О смешивании изысканных крепких напитков
- Основы декаданса
- О выставке «Группы К.»[55]
- Эпизод за письменным столом
- Самые читаемые авторы
- Из истории женских журналов
- Женщины — авторы путевых заметок
- Счастье стальных коней
- Авус[65] и азарт гонки
- Только не на своих двоих!
- Дорожное движение в большом городе
- 100 километров!
- Место для автомобиля
- Роковые автомобильные гонки

- Quasi una fantasia[67]
- Гвен и автомобили
- Флирт с Карлом
- Безответственный объектив
- Новый проект фирмы «Ульштайн» и предложения по изданию иллюстрированного журнала для автолюбителей
- От «устричного пирата» до писателя
- Спорт в литературе
- «Барбара ля Марр»
- Пять книг о войне
- «Год рождения — 1902-й»
- «Люди после войны»
- Эммерих Гааз
- Тенденциозны ли мои книги?
- Практическая воспитательная работа в Германии после войны[76]
- Зрение очень обманчиво
- «Об Эйхманне и его сообщниках»
- Фронтальный анализ войны и мира
- Крупные и мелкие «сюрпризы» в моей жизни

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66

- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82

Эрих Мария Ремарк
Эпизоды за письменным столом

В. Бабенко. Долгое одночасье

В шестидесятые мы зачитывались Ремарком. Ремарк был кумиром. Не знать Ремарка было стыдно.

Говоря «мы», я имею в виду не все население Советского Союза и даже не все свое поколение, а довольно широкий круг молодых людей, неравнодушных к литературе, охочих до хорошего чтения и жадно набрасывавшихся на переводные романы и сборники рассказов.

«Три товарища» у многих была настольной книгой (девушки, конечно же, плакали над смертью Пат), мы цитировали «Время жить и время умирать», размышляли над «Триумфальной аркой» и, разумеется, высоко ценили «На Западном фронте без перемен».

Мы полагали «На Западном фронте…» первым правдивым романом о Первой мировой, ну, может быть, одновременным с «Прощай, оружие» Хемингуэя («Огонь» Барбюса почему-то попадал в руки позднее). Не многие знали, что этот роман был переведен на русский язык в год его создания — 1929-й, и мы считали первой публикацией лениздатовский перевод Ю. Афонькина 1959 года. Я до сих пор бережно храню переиздание этой книги, вышедшее в Петрозаводске год спустя.

Мы не очень хорошо знали биографию Ремарка и тем более историю его творчества. (Эта история, кстати, и сегодня известна немногим — до сих пор ходит легенда о фамилии Крамер, написанной наоборот.) Для нас он просто был Великим Писателем, а «На Западном фронте без перемен» мы уверенно считали первым романом Ремарка. Вообще — первым произведением. Первым — и сразу мастерским.

В молодой литературной (или окололитературной) среде была даже мифология, вызванная этим романом, — вот, мол, как входят в литературу гении: в одночасье. Вчера еще не было никакой книги, не было писателя, а сегодня — пожалуйста: мощный роман, о котором все говорят, который все читают и который даже сжигают (в нацистской Германии книги Ремарка были запрещены, и 10 мая 1933 года они действительно пылали в кострах на площадях Берлина — среди многих других хороших книг).

Настоящий писатель должен вспыхивать, как новая звезда, считали мы. Гении после первой же книги «просыпаются знаменитостями», а ремесленники после любой книги просыпаются ремесленниками.

На самом деле — и это унылая правда, — «одночасьев» в литературе не бывает…

Если бы ко мне, редактору с тридцатилетним стажем, пришел молодой автор и предложил издать рассказы, собранные в этой книге, я, пожалуй, отправил бы его восвояси. «Молодой человек, — сказал бы я ему, — в литературе не так уж много правил, и они довольно просты. Например, следует писать о том, что хорошо знаешь, и не следует писать о том, о чем не имеешь ни малейшего представления…»

Впрочем, если бы я, когда-то начинающий литератор, пришел в свои двадцать лет к Ремарку, он тоже, скорее всего, погнал бы меня далеко. И тоже нашел бы для этого причины, хотя, может быть, и отличные от моих. (Удивительнее всего то, что я действительно мог прийти в свои двадцать лет к Ремарку — правда, чисто теоретически. Летом 1970 года я был на стажировке в Германии, разумеется, Восточной. А для Ремарка это было последнее лето жизни — он лежал в клинике в швейцарском городе Локарно. Расстояние между нами измерялось несколькими сотнями километров. Однако дистанция была не только географическая, не только возрастная и не только клиническая — она была прежде всего политическая. Советскому человеку, пусть даже поклоннику Ремарка, нечего было делать в Локарно. А уж тяжело больному писателю и вовсе не было дела до молодых литераторов из России.) В жизни и литературе симметрия встречается не так уж часто, но в данном случае она напрашивается — хотя бы справедливости ради.

Если бы ко мне, как к редактору и издателю, пришел молодой автор со своими рассказами, собранными в этой книге, я, конечно же, остался бы в рамках корректности, но, скорее всего, не смог бы удержаться от толики яда при разборе произведений.

«Молодой человек, — сказал бы я, — уж если вы описываете Китай, где вы никогда не были, й тем более Древний Китай, я имею в виду рассказ «Испытание Куна», то будьте любезны наряжать китайцев в свойственную им одежду. Кимоно и оби носят японки, а вовсе не китаянки.

И если вы описываете поход к Северному полюсу, то неплохо помнить, что за Полярным кругом есть либо полярный день, либо полярная ночь, и путешествия совершаются, вообще говоря, полярным даем, а коль скоро в вашем рассказе «Кай» наступило лето, то бишь начался полярный день, то непонятно, по каким-таким «вечерам над линией паковых льдов… висело полярное сияние» и отчего «последняя красная полоска светилась над горизонтом вею ночь». И еще — запомните, пожалуйста: ну нет в Арктике пингвинов, нет и не было никогда! Белые медведи есть, тюлени, моржи наконец, а пингвины — они на другом конце

света, в Антарктике.

Описание аргентинской пампы в рассказе «Гроза в степи» довольно романтично, хотя в Аргентине вы тоже, кажется, не были. Ну да бог с ней, с Аргентиной, тут другое интересно. Вот вы пишете: «Казалось, вокруг них должны расти хвощ и гигантский стрелолист, которые некогда сотрясали ихтиозавры и большие ящерицы». Дорогой мой, скажу вам по секрету: ихтиозавры не могли сотрясать гигантские стрелолисты! Есть еще более суровая правда: карликовые стрелолисты они тоже не могли сотрясать. Они вообще не умели сотрясать растения на суше, потому что жили в воде: ихтиозавры — это морские ящеры. Сказать, что ихтиозавр ломился сквозь стрелолисты, — все равно что… как бы вам это доступнее объяснить… ах, да, вы же автомобилист… — все равно что сказать, будто в саду весело чирикали жиклеры.

И наконец, очень вас прошу — не пишите фантастику. Особенно научную фантастику. Не то чтобы она у вас не получается, просто в науке вы как-то особенно не разбираетесь. Понимаете, в природе не существует никаких «клеток селена», на которые вы ссылаетесь в рассказе «Межпланетный автомобиль», и с помощью «результатов новейших исследований» свойств этих клеток невозможно переключать движение, как вообще невозможно переключать что-либо результатами исследований. Мало того, что «эллипсообразные молекулы» сами по себе «сапоги всмятку», так вы еще изобрели дивергенцию их направления, которое «сводит к нулю коэффициент преломления». Умоляю, не изобретайте больше ничего подобного, не пишите наукообразно и тем более псевдонаучно — фантастика только кажется легким жанром, на самом деле это трудная литература…»

Возможно, кто-то и впрямь объяснил молодому Ремарку подобные вещи, потому что после «Межпланетного автомобиля» к фантастике он более не возвращался. А может быть, никто ничего не объяснял и Ремарк сам понял, в каких жанрах он силен, а в каких не очень…

Не знаю, как прореагировал бы молодой Ремарк на едкую критику это ранних рассказов, зато отчетливо представляю, что сказал бы в ответ зрелый Ремарк.

Он и сказал это — в «интервью с самим собой», названном «Крупные и мелкие «сюрпризы» моей жизни».

«Я, — написал о себе Ремарк, — почти сорок лет никогда не опровергая того, что было обо мне написано, как бы ошибочно оно ни было».

А еще, вспоминая свой первый успех, он написал: «Из-за этого успеха все позабыли, что я всего лишь желторотый птенец. Сам я

этого не забывал; это меня и спасло, как мне кажется. Я отгородился от всех, не верил хвалебным отзывам, зато верил критическим — и работал».

Ремарк много работал и до своего первого успеха. Он писал как одержимый. И печатался везде, где получалось печататься: в газете «Heimat-freund» («Краевед») города Оснабрюкка. (именно там была первая публикация Ремарка в июне 1916 года), в газетах «Die Schdnheit» («Красота»), «Die Jugend» («Молодость»), «Stortebeker» («Штёртебекер»), в ганноверском журнале «Echo-Continental», принадлежавшем рекламному агентству «Continental-Gummiwerken», в журнале «Sport im Bild» («Иллюстрированный спорт»), в газетах Ганновера и множестве других ежедневных газет. И так далее…

Он писал и публиковал стихотворения, небольшие эссе, короткие рассказы, путевые заметки, рецензии и наставления по смешиванию коктейлей. Он писал на темы спорта, моды, автомобилизма, музыки, театра, алкогольных напитков.

Он написал три романа, которые уже вышли на русском языке, — «Приют Грез», «Гэм», «Станция на горизонте», — они тоже первоначально публиковались с продолжениями в газетах и журналах. (Рассказы и статьи, собранные в этой книге, выходят на русском языке впервые.)

Он писал, чтобы стать журналистом и писателем.

Он писал, чтобы зарабатывать деньги.

Но главное — он писал.

Большая часть произведений малой формы, созданных Ремарком за двенадцать лет — то есть между годом первой публикации и годом рождения «На Западном фронте без перемен», — собрана в этой книге. Плюс десяток более поздних рассказов и столько же публицистических работ, написанных в тридцатые и послевоенные годы. Но в основном это все же ранняя проза.

Рассказы-воспоминания, романтические и псевдоромантические новеллы (псевдоромантических больше), лирические и сиропно-лирические рассказы, приключенческие и авантюрные, драматические и трагические (как, например, рассказы «Цезура» и «От полудня до полуночи»), исторические и полуфантастические (один из рассказов — «Превращение Мельхиора Сирра» — сам автор назвал «волшебной историей»), дорожные зарисовки, юмористические скетчи (немножко в духе Ликока, но в то же время совершенно самостоятельные; при чтении рассказов «Билли», «Бла и сельский стражник», «Лисс и комплексный тест на пленэре» возникает даже легкое сожаление, что Ремарк не пошел по пути иронической прозы — чувство

юмора у него было отменное), военные рассказы («Жена Йозефа», «История любви Аннетты», «Странная судьба Йоханна Бартока» — это уже очень сильные новеллы, правда, и датируются они 1931 годом)…

«Когда б вы знали, из какого сора…» — написала когда-то Анна Ахматова.

Этого сора много в жизни каждого писателя. Порой в соре попадаются жемчужины, и это нормально, а вот обратного — соринок в груде жемчуга — не бывает почти никогда.

Литературная легенда, которую мы когда-то сами же и сотворили вокруг Ремарка, так и осталась легендой.

Конечно же, Ремарк не стал писателем в одночасье. Его «одночасье» длилось по меньшей мере двенадцать лет.

Возможно, у настоящих писателей оно длится всю жизнь…

Виталий Бабенко

Рассказы

О радостях и тяготах югендвера

Лучше всего о югендвере[1] можно рассказать, лишь изобразив один из дней, вобравший в себя все радости и тяготы нашей тогдашней жизни! Такие дни бывают редко, но бывают. Вот и у нас выпал такой день, ясный зимний день.

Сквозь серые рваные облака на белую замерзшую землю светило солнце. Нас собрали по отделениям перед спортивным залом. Стоял жестокий мороз, и облачка пара от нашего дыхания поднимались в воздух. Нам предстоял учебный бой с другой ротой. Они захватили железнодорожную линию и заняли лежащий неподалеку лес. Пока они выдвигались туда, мы прошли маршем к Неттерхайде, большому плацу, чтобы заняться строевой подготовкой. На марше я очень замерз, да и остальные, наверное, тоже. Бежать! Бежать! Быстрее двигаться! Этому желанию суждено было исполниться. На плацу отрабатывались отдельные элементы строя. Мы поворачивались направо и налево, маршировали, бегали, и это было приятно. Наша одежда не защищала от холодного, пронизывающего ветра, но постепенно мы согрелись. Не то чтобы вся эта муштра, повороты и прочее сразу воодушевили нас. Раньше бывало, что перед предстоящим боем нам совсем не хотелось тренироваться. И все же я каждый раз замечал, что спустя какое-то время мрачные физиономии становились веселее, глаза сияли. Вероятно, это происходило от ощущения физической силы, которое появляется при усиленной маршировке на свежем воздухе. На этот раз все было иначе. Мы радовались предстоящему бою и потому тренировались усерднее, чем когда-либо. Поначалу мы были очень недовольны, что нам запрещалось разговаривать. Прошло много времени, прежде чем мы привыкли и к этому. Но когда вот так идешь и бежишь, когда все мышцы напряжены, о разговорах не думаешь, а маршируешь так, что из-под ног летят комья грязи; бежишь так, что в груди хрипит и дыхание вырывается короткими толчками; чувствуешь силу от того, что в тебе снова рождается упорство древних германских титанов; упорство, с которым, надеясь только на себя, уничтожают мир и создают его заново.

Но слышишь? Сбор! Сбор! Уже так поздно? В самом деле! Как быстро бежит время. Спешно формируется колонна для марша, и рота выступает к месту боя. Там и сям слышны радостные голоса; то один, то другой раскуривает трубочку. Становится заметно, что нас муштровали. Вон двое сцепились по-дружески и пытается повалить друг друга, стараясь не привлекать к себе особого внимания. А там кто-то кидается снежками. Повсюду царят

воодушевление и сила. Невозможно выразить, как приятно после пятичасового сидения за партами наконец-то от души побеситься (в хорошем смысле слова). Мы идем все дальше и дальше. Возникают далекие вершины, тонущие в голубой дымке, леса приближаются. Повсюду лежит снег, глубокий, пушистый, белый снег. Какие роскошные виды и пейзажи, какие прекрасные, гармоничные, яркие картины открывались нам во время этих маршей! Над нами светло-синее небо, бледная луна в первой четверти, дальше на западе, между темными деревьями, нежная вечерняя заря, прорезанная горизонтальными облаками глубокого пурпурного цвета, а под ними — заснеженные деревни; сердце раскрывается навстречу такому пейзажу.

Мы вступаем в темный лес. Раздается приглушенная команда остановиться. Высылаются патрули. Я — командир патруля на левом фланге. Вначале мы быстро продвигаемся вперед, ориентируясь по карте. Но постепенно темп замедляется, и мы двигаемся с большими остановками, ступая очень осторожно. Кругом тихо, бесконечно тихо. Откуда-то очень издалека доносятся удары топора. Становится все темнее.

— Тсс!.. Зиберт?

— Что?

— Ты где?

— Здесь! Ты не слышишь?

— Тсс… Замолчите.

Затаив дыхание, мы стоим, открыв рты, прислушиваемся и пытаемся что-нибудь разглядеть в темноте. Меж деревьев таинственно скользят тени, длинные, призрачные. Вот! Кхх!

— Тсс!

— Тихо!

Только ветер меланхолично насвистывает, целуя листья одинокой ивы у темного пруда.

— Вот!.. Опять.

— Шшш!

В лихорадочном возбуждении я стою, прислонившись к стволу дуба, впиваюсь глазами в темноту; вот снова — кхх! Он приближается. Господи, где же остальные? Я что, совсем один? Где они? Я их больше не вижу, а тут совсем рядом снова трещит ветка… Неистовый порыв ветра сотрясает вершины деревьев. Может, мне показалось? Нет, вот опять, опять… А вон там — не отделилась ли от темного дерева фигура? Да! Тень приближается. Я берусь за свой пробочный пистолет и, дрожа от волнения, вжимаюсь в ствол. Ближе и ближе… Я хочу что-то крикнуть, но горло перехватило, на лбу выступил пот, я прыгаю вперед, издаю хриплый звук — и оказываюсь перед изумленно уставившейся на

меня старушкой. Мною овладевает непонятная слабость, мне приходится прислониться к дереву. Потихоньку начинает идти снег. Старушка, старушка, ну и потрепала ты мне нервы! При патрулировании я всегда охвачен таким волнением. Мои товарищи рассказывают о себе то же самое, но ни один не отказался бы еще и еще раз испытать это.

Снег все идет. Подходят остальные. Дальше. Шаг за шагом мы скользим вперед, все время прислушиваясь и поминутно останавливаясь. Наконец впереди светлеет: мы дошли до опушки. Теперь мы крадемся очень осторожно и смотрим во все глаза. Перед нами раскинулся луг, за ним — лес. Но тут, на опушке… Господи, неужели обман зрения?.. Я широко открываю глаза… Да тут они кишмя кишат!.. Красный флаг, синий… Господи… надо срочно послать донесение, да, донесение. Одного отправляю назад. Мы продолжаем наблюдать. Тут на другой стороне начинается движение. Два, нет, три человека идут через луг к нашему укрытию. Неужели они нас заметили? Не может быть! Назад, ребята, быстро назад! Этих троих мальчишек мы легко схватим!

— Нагни голову, приятель, тебя же увидят!

— Здесь, в лесу, для этого слишком темно.

Как мы успокоились и обрадовались! Не то что до этого, в лесу! Вот они. Еще пять шагов, еще три, еще два, еще…

— Стоять!

Мы вскакиваем и бросаемся на них. Как они пугаются! Хороший улов! Но теперь надо возвращаться. В шесть часов мы должны быть в части. Идем потихоньку назад, забрав пленных с собой. Тут в лесу начинается движение: кто-то тихо, как кошка, крадется, подползает все ближе и ближе, пробирается сквозь кустарник. Наши! Мы рванули к ним. С дистанцией в два шага мы снова движемся к опушке леса. В одной руке держу пробочный пистолет, другой отодвигаю вежи кустарника. И вот мы на опушке, лицом к лицу с неприятелем. Огонь! Команда гремит над деревьями, разносится по тихой долине. Дальше! Дальше! Все пылают от нетерпения, только железная дисциплина сдерживает нас. Наконец-то!

— Отделение Вайдеманна, встать, вперед, марш!

Все наше нетерпение и напряжение вспыхивают еще раз и выливаются в невероятный жуткий крик, с которым мы несемся через луг. Хлюп! — это я одной ногой угодил в болотце.

— Ложись!

Шлеп! Кто-то от возбуждения не заметил лужу и плюхнулся, растянувшись во весь рост. Ничего, дальше! Слышишь, вот и сигнал! Штурм! Все устремляются вперед, крича, стреляя, хлопая

в ладоши. От оглушительного шума даже старые деревья-великаны испуганно трясут седыми головами.

— Сбор!

Разгоряченные, тяжело дыша, мы строимся на лугу. Нас хвалят за старание и рвение и порицают за необузданность. Солдат должен сохранять спокойствие.

Потом нас снова отправили на тракт.

— Посмотри, во что превратился мой костюм, — жалуется один.

— А мои ботинки!

— У меня обувь полна воды, — отзывается третий и пытается вылить влагу из своих ботинок.

— У меня все болит.

— У меня тоже. Но все равно было здорово.

— Да, замечательно!

С этим согласны все.

— Давайте споем!

— Да, да, про птичек в лесу!

Когда мы двинулись назад, уже стемнело. Высоко в небе серебряные островки света бредут своим путем в бесконечную космическую даль. Луна награждает темные облака серебристыми кантами и поверх сонно шумящих лесов льет струи света на далекие высоты, окутанные бесконечно нежной серебристой дымкой. Издалека доносится пение возвращающихся солдат:

Птички в лесу, они поют чудесно:
На родине, на родине, мы встретимся опять!

(1916)

Час освобождения

Сирень пахла так сильно! Лунный свет озарял стены таким тоскливым серебристым светом! И опять она думала о нем. Где-то далеко в поле его поглотила рычащая битва, где-то его похоронили год тому назад… Тогда она как раз пошла в сад в его любимом белом платье, она хотела нарезать свежих роз, чтобы положить к его портрету; и тут услышала эту новость. Не в силах совладать с безымянной болью, она молча и без слез срезала вместо роз темный плющ и отнесла к его фотографии. Потому что он умер…

Ночной ветер овевал ее ароматом сирени. Несколько лепестков упали на черное платье.

— Умереть, — произнесла она потерянно, — умереть. — И крупные слезы невольно потекли из глаз.

Она пыталась думать о нем и с болью чувствовала, что его лицо с каждым днем все больше блекнет и отдаляется, жизнь лишена смысла — и потому тосклива. Резкая боль пронзила душу, когда она поняла это. Она опустила голову на щербатый каменный стол и стала сбивчиво говорить о любви и тоске. Она звала назад ушедшие дни, когда их души сливались в одну, когда они вместе бродили по полям, над которыми кружились жаворонки; по нивам, пламеневшим маками; по лесам, где было полно кустов ветреницы, а перед маленьким домиком, утопавшим в зелени, он рассуждал об их счастливом будущем.

— О ты, синяя летняя ночь, — произнесла она, — почему ты вызываешь во мне такую тоску? Неужели я никогда не найду покоя?..

Она резко обернулась. Ей показалось, будто кто-то шепчет за спиной.

— Это ночь, — сказала она. — Ночь. Ночь живет… своей собственной жизнью… Природа не мертва… всё живет — камни, звезды, тишина…

Она испуганно умолкла. Откуда эти слова, которые, забывшись, она произнесла так громко?

Потом в ее памяти всплыл тот далекий вечер, когда они допоздна сидели вдвоем и говорили о Тристане и Изольде. Именно тогда он произнес эти слова о людях и матери-природе, говорил, что все не вечно и одновременно все бессмертно. Что жизнь — цветение природы, а умирание — отдых перед новой жизнью. Он говорил и о смерти — что она не разрушительница, а тихая подруга — мать, которая укладывает спать своего уставшего ребенка, чтобы снова разбудить его утром.

Сердце переполнилось чем-то невыразимым. Она встала.

— Да, — проговорила она каким-то странным, чужим голосом, — жизнь, смерть — всё едино!

Потом, не чувствуя под собою ног, она пошла в дом по залитым лунным светом тропинкам. Не осознавая, что делает, она скинула темное траурное платье, надела белый наряд, который он так любил, и распустила волосы. Вернулась в сад. Гроздья сирени касались ее лба. Она подняла руки, так что широкие рукава опустились на плечи, и ломала ветки с душистыми цветами, еще и еще, пока весь каменный стол не покрылся пахучей сиренью. Лунный свет дрожал на ее волосах, скользил по цветам, ночь была сказочно синей и волшебно глубокой. Она была как пришелица из другого мира, словно перестала быть человеком, породнилась с деревьями и цветами. Она ощущала близость звезд, и синее ночное небо целовало ей лоб. Трепет от присутствия Божественного пронизал ее, и на мгновение она прикрыла глаза. Все деревья казались ей старыми знакомыми, все звезды — родными, природа была ею, а она — природой.

Тогда она подняла руки и заговорила глубоким, звонким голосом, не понимая своих слов:

— Природа! Мать и сестра! Тоска и осуществление! Жизнь! Блеск полуночных солнц, сияние дневных звезд! Смерть! Ты, синева! О, глубина! Темный бархат на светлых одеждах! Ты, жизнь, — и есть смерть! Ты, смерть, — и есть жизнь! Всё — природа! Я — это не я! Я — куст, дерево! Ветер и волна! Шторм и штиль! И во мне кровь миров! Эти звезды во мне! Часть меня! А я — в звездах! Часть звезд! Я — жизнь! Я — смерть! Я — космос! Я — ты!

Лунный свет серебрился на ее волосах. Она замолчала. Казалось, сама ночь, сотканная из света и тьмы, шептала: «Я — это ты!»

Она опустила голову. И вдруг осознала только что произнесенные слова.

— Я — это ты, — повторила она очень тихо, словно про себя. — Освобождение! — Она положила руки на цветы. Отрешенно повторила еще раз: — Освобождение! Да, ты не умер. Ты живешь… я — это ты… ты живешь во мне, в мире, в природе, в космосе… Мы вечно будем едины: я — это ты!..

Потом она опустилась на колени, аккуратно и нежно подняла веточку плюща с земли.

— Слышишь? Это ты. Я целую тебя! — Она дотронулась розовыми губами до прохладной веточки.

Она поднялась с колен и склонилась над розой.

— Слышишь? Я люблю тебя, — произнесла она умиротворенно и ласково. Прислонилась лбом к дереву. — А вот и ты, — прошептала она, ласково улыбаясь.

Она взглянула на синее ночное небо. Серебристый лунный свет струился ей прямо в глаза. И она сказала нежным и тихим голосом:

— Освобождение… Примирение… Ты, мой любимый, не умер… Я больше не буду терять тебя каждый день… Не только по ночам ты будешь со мной… Ты навсегда мой… Ты во всем мой… Я — это ты… Я — это ты… ты…

Потом она повернулась и снова пошла по залитым лунным светом тропинкам. Ее лицо было светло и благостно, ее глаза излучали блаженство, как в тот день, когда он впервые поцеловал ее…

Сирень пахла сильно и сладко…
Где-то в саду пел соловей…

(1919)

Женщина с золотыми глазами

В проходы маленького уютного театра медленно лился поток зрителей из дверей лож, продвигался вперед, разделялся: одна часть направлялась в подвальчик, другая устремлялась в фойе. Слышалась приглушенная речь, почти шепот, мягкие сумерки, над которыми время от времени раздавался серебристый девичий смех.

Девичий смех.

Ах, снова старая боль заныла в моей груди, и воспоминание заставило кровоточить старые раны. Разочарования остудили мою душу. Теперь я хотел найти забвение в театре — на постановке первой части бессмертного «Фауста». Но когда Гретхен подняла пленительно-прекрасные глаза и так загадочно женственно взглянула на потерявшего покой героя, я невольно сравнил былое со спектаклем, и горькая правда овладела мною: «То была лживая жизнь, это — лживый спектакль».

Мои мрачные мысли прервал женский голос, он был как матовое золото, освещенное вечерним солнцем. Я поднял голову и посмотрел — прямо в золотисто-карие глаза.

Мое сердце остановилось.

Эти глаза…

В юности летними вечерами я любил сидеть на балконе и смотреть на погружавшийся в темноту лес. А когда бурление и волнение в моей крови становились слишком сильными, я часто возвращался в круг света от красноватой лампы, ложился на софу и читал «Вертера» — о любви, только о любви.

Потом, бывало, я отбрасывал книгу, вскакивал, раскидывал в стороны руки и горящими глазами всматривался в ночь. И тогда из сумерек и тоски, из юношеских мечтаний медленно возникал женский образ — хозяйки моей души, прекрасной и доброй, с обворожительными золотистыми глазами.

Теперь я увидел именно эти глаза.

Я провел рукой по лбу и начал пробираться к ней. Но тут прозвенел звонок, и мне пришлось вернуться на свое место, так и не увидев больше самых прекрасных глаз на свете.

На сцене в фиолетовых и серебристо-красных тонах безумствовала Вальпургиева ночь. На авансцене в ярком свете прожектора танцевали две ведьмы. В зрительный зал со сцены струилось бледное сияние. Чуть впереди в темноте угадывался профиль, увенчанный тяжелым узлом волос. В уголке глаза мерцал серебристый огонек. Она повернулась ко мне, словно подчинившись неизвестной силе. Я узнал ее: мои глаза, глаза,

которые я так часто видел во сне, которые я только что искал! Я совершенно погрузился в эти глаза, я смотрел в них долго, пока женщина не отвернулась. Мне показалось, что она слегка кивнула.

Закончилась сцена в тюрьме, и театр опустел. Я стоял у выхода и ждал. Я вел себя безнадежно глупо, мечтая еще раз увидеть эти золотисто-карие глаза. Я обзывал себя дураком и мальчишкой и все-таки продолжал стоять. Театр был уже почти пуст, лишь изредка выходили припозднившиеся зрители. Вдруг та, которую я ждал, показалась в проеме двери и начала медленно спускаться по лестнице. Мне показалось, что ступени у нее под ногами усыпаны розами. Она увидела меня — и замерла на мгновение. Я бессознательно сделал шаг вперед — она заглянула мне в глаза, взяла за руку и сказала своим красивым голосом:

— Идем домой.

Я был словно околдован и шел, не сознавая, что иду. В моей душе пели нежные скрипки, которые *con sordino* снова и снова повторяли: идем домой… идем домой. И ликовали: идем домой… идем домой. И рыдали: идем домой… идем домой…

Только оказавшись в такой же беде, испытывая такую же муку, находясь в таком же разладе с собственным «Я», можно понять, что чувствует бездомный, сбившийся с пути человек, когда женские глаза смотрят на него и чудный голос произносит: «Идем домой».

Когда я шел по Кёнигс-алее, мне казалось, что я попал в сказку. Каштаны волшебно шелестели кронами, словно хотели навеять в мою растерянную душу мир и покой, словно и они говорили: «Идем домой»…

Я тихонько сжал пальцы, лежавшие в моей руке, почти не веря, что это наяву. Я почувствовал мягкую округлость ладони; да, то, что я переживал, было на самом деле! И тут мое сердце забыло всю робость и скованность, все двери моей души распахнулись навстречу синей звездной ночи и тому чуду, которое ждало меня впереди.

Мы оказались в пригороде. Сады слабо мерцали и благоухали во тьме. Скрипел гравий. От греческих колонн исходил свет. В прихожей едва теплилась висячая лампа. Звякнул ключ. Я был как в сказке. Краткий миг нерешительности — золотистые глаза глубоко, почти испытующе заглянули мне в душу. Я приподнял кисть ее руки и прижал к ней свое пылающее лицо. Она тихо высвободила руку. Щелчок замка. Из-за двери вырвалась синяя тьма. И силуэт ее изящной фигуры окунулся во мрак комнаты, она повернула ко мне голову. На ее лице, казавшемся неясным

светлым пятном, глаза темнели, как грустные цветы.

Внезапно у меня все поплыло перед глазами. Я словно тонул в бурных морских волнах, сражаясь с ночью и смертью. Вдруг милосердный свет маяка приветливо сверкнул мне сквозь бурю и страх и указал путь к спасению. В одно мгновение дни мучений и годы тоски пронеслись мимо меня и исчезли. Что-то очень сильное стеснило мне сердце, что-то безымянное переполнило грудь, что-то невыразимое захлестнуло душу, я судорожно сжал руки, поднял голову, я рыдал, кричал, шептал одновременно: «Я дома!» — и, шатаясь, переступил порог.

В бронзовых канделябрах горели свечи. Ковры приглушали звук шагов. Ступени сияли, перила поблескивали. Открылась дверь, я сделал несколько шагов и оказался один в комнате, бывшей, очевидно, музыкальным салоном. В углах таились синие тени, в больших окнах брезжила звездная ночь, на темно-красном фоне четко вырисовывался бюст Бетховена из слоновой кости, увенчанный лавровым венком; казалось, он приветливо смотрит на меня. Через огромные окна струился призрачный серебристый свет звезд, он скользил по комнате и освещал белые клавиши рояля. Казалось, магическая сила влекла меня к инструменту. Я нерешительно сел и ударил по клавише.

Медленно и глубоко прозвучало до диез.

Словно тихий рокот раздался в ночи.

Я едва осознавал, что делаю. Какая-то сила заставила меня зажечь свечи на рояле. Я снова взял до диез и, дав ему утихнуть, медленно извлек ноту на две октавы ниже.

Я просто не мог иначе.

Медленно переливались триоли, словно лунный свет по серебристой воде. Божественное до диез минор «Лунной сонаты» под моими пальцами рождало словно сотканное из лунного света, сумерек и мечты *adagio sostenuto*. Словно темный челн по серебристому потоку, скользила тема по россыпям триолей. Вот она снова появилась в ми миноре, теперь суровая и тихая. И, как тоскливый крик летящих над осенними прудами диких уток, пронзительно звучало задержание си в до над басами ми минора, на секунду пропало после си мажора, а потом снова зазвучало, рассыпаясь дождем арпеджио; тоска, бесконечная тоска темным покрывалом расстилалась над серебристыми водами, пока постепенно темные басы не перехватили мотив, а его эхо, доносившееся откуда-то из глубины, сопровождали мягкие переливчатые аккорды.

Мука!

Я механически продолжал играть. Помрачнев, я поднял глаза. Да, я одинок и покинут; как это трудно — быть человеком.

Отодвинулась портьера. Нежно и бесшумно. Вошла королева. Аромат роз. Мне почудилось, что комнаты расширяются и растут. Колонны, купола и своды становятся все выше и выше. Звездная ночь, космос, тишина! Я был один во тьме вселенной, мои дрожащие руки рвали арфу: моя мука! Мука!

Сквозь вселенскую тьму забрезжил сладостный свет: Блестели золотые глаза. Наступило избавление. Забывшись, я откинул голову. Серебряный свет падал на мое печальное, встревоженное лицо. Два золотистых глаза смотрели на меня бесконечно нежно, и прекрасные губы целовали мои нечестивые глаза и горячий лоб… Я больше ничего не видел и не слышал, пурпурная тьма окружила меня, вся боль и печаль исчезли; броня, сковавшая мое сердце, рассыпалась, ледяная пустыня души зазеленела; после долгих лет отчаяния и мук я снова почувствовал себя ребенком на вечерней молитве: мне хотелось сложить ладони и шептать: «О, ты прекрасна, жизнь, ты чудесна, жизнь, о, жизнь, я люблю тебя!»

Очнувшись от безмолвия и забвения, я вскочил, прижимая руки к лицу. Потом глубоко вздохнул и испуганно открыл глаза. Нет, это не иллюзия, не обман чувств и не сон; это правда, передо мной стояла прекрасная женщина с бесконечно глубокими золотыми глазами.

Видение потрясло меня.

Ах, если бы это ощущении безмятежности и покоя не исчезало!

По моим волосам скользнула рука, раздался чудный голос, от которого я задрожал, и мне показалось, будто вечернее солнце играет на матовом золоте:

— Ты, мятежный буревестник, наконец-то нашел свой дом? Да, ты дома, пусть теперь шумят волны — за синими горами тебя будет ждать тихий дом…

О, этот чистый, певучий голос!

Я впитывал каждое слово, как увядающий цветок впитывает живительную влагу вечерней росы. Как тоскливо и заботливо она сказала это: «За синими горами тебя будет ждать тихий дом…»

Во мне словно зазвучали колокола, но они призывали не к борьбе и исканиям, а к мирной и спокойной жизни.

Мы тонули в пурпурном упоении, ощущая близость земли и блаженство звезд. Я поднял темно-красную ленту, которую ты обронила во время танца, и снова повязал ее на твоей груди, на твоей и моей груди, обернул нас ею, связав наши сердца навечно! Навечно!

Навечно…

Ты покоилась в моих объятиях. Тут мне показалось, что кто-то прохладными пальцами коснулся моего плеча. Я испуганно

вскочил. Ничего…

Но нет! Кажется, я слышу чей-то тихий шепот. Иллюзия. Я нагнулся к твоим упоительным губам и хотел нашептать тебе тысячи нежных слов.

Но снова услышал этот настойчивый, бесплотный голос.

— Навечно, — доносился откуда-то шепот. — Навечно. — Это звучало почти горько и насмешливо.

Тут я узнал этот голос, и меня пронзила резкая боль. Голос был во мне!

Я не хотел его слышать, я крепко прижал тебя к себе и погладил по волосам.

Но он снова зазвучал, почти с угрозой: «Обладать счастьем значит отказаться от него! Всё проходит! Ты хочешь увидеть, как эта звездная ночь растворится в повседневности? Станет ли она ступенью к абсолютному блаженству? Так откажись же от нее, не разменивай ее на мелочи! Воспоминание — это всё! Только расставание прекрасно!»

Так предостерегал суровый голос. Мое сердце противилось этому, но молчало. Потому что это было правдой!

Теперь мою мечту освещал свет безжалостного дня, и напрасно я пытался закрыть глаза.

И все же я еще раз откинулся на подушку, привлек к себе послушное тело, забыл о прощании и обо всем на свете и целовал алый рот и белую грудь, затылок, плечи и золотые глаза.

Потом я тихо и быстро поднялся. Прошелестела портьера. Легкий щелчок…

Когда я снова вошел, я увидел, что моя возлюбленная стоит у окна. На ней было белое платье с золотым кантом.

При виде этой красоты, этих благородных линий, этого чистого мечтательного профиля на фоне синего звездного неба мною опять овладела жажда сохранить это всё навечно, не расставаться, остаться здесь навсегда.

Но тут во мне снова заговорил предостерегающий голос: «Не обольщайся! Быть человеком — значит покидать! Так, как ты любишь ее сейчас, ты больше никогда не сможешь любить ее! Ты хочешь увидеть, как умрет ваша любовь? Любовь, ставшая звездным часом, скоро обернется тоской! А если ты расстанешься с нею теперь, она навсегда останется твоей единственной любовью!»

Тогда я стиснул зубы и подошел к своей возлюбленной. Она посмотрела на меня долгим взглядом и произнесла чудным голосом, своей красотой напоминавшим вечернее солнце на матовом золоте:

— Ты уже уходишь, любимый? Еще ночь… Жизнь холодна и

одинока…

Я сжал губы и промолчал.

Она снова взглянула на меня.

— Ты не вернешься! — резко вскрикнула она и схватила мою руку.

— Нет, — четко ответил я. — Нет, потому что я тебя люблю!

— Потому что ты меня любишь, — повторила она вполголоса с совершенно отсутствующим видом. Я прижал ее голову к своей груди и погладил холодную руку. Некоторое время она молча смотрела в одну точку.

Внезапно высвободив руку, она посмотрела мне прямо в глаза долгим загадочным взглядом. Потом медленно произнесла:

— Да, всё хорошо! — И добавила совсем тихо и нежно: — Потому что я люблю тебя!

Ее взгляд обжигал меня. Наши губы медленно сблизились в поцелуе, бесконечно долгом, болезненно-сладком, заставившем забыть обо всем. Наконец я поднял голову.

— Теперь благослови меня, — сказал я и опустился на колени.

Серебряное сияние луны разлило по комнате молчание. Я закрыл глаза. Зазвучал дивный голос:

— Когда мир, тоска или твое «Я» наскучат тебе, пусть воспоминание об этой ночи принесет мир и покой. Пусть оно станет тебе домом… Домом… — повторила она потерянно. — Домом… — Теперь ее голос звучал еле слышно. Потом, наклонившись, она поцеловала меня в лоб и глаза.

И я почувствовал, что на моем пути больше не будет той боли и заблуждений, что преследовали меня раньше. Свободный, я поднял голову и вышел.

Блеск лестницы. Щелчок замка. Мерцание висячей лампы. Прохладный ночной воздух… Вокруг белого силуэта — темная синева. Я взял ее за руку и склонился над ней, но потом приподнял край платья и поцеловал его.

Тогда она молча подставила мне губы.

Я еще раз увидел золотые глаза.

И ушел.

* * *

В эти последние ночные часы мне пришла мысль ослепить себя, чтобы не видеть больше ничего, чтобы вечно внутренним взором созерцать только эти золотые глаза. Я обернулся, я хотел помчаться назад и закричать:

— Нет, нет, я не оставлю тебя!

И все-таки я не сделал этого, а пошел дальше своим путем, день за днем, ночь за ночью, как все. Но вечерами, когда звездная ночь становилась серебристо-синей, я садился к роялю и играл «Лунную сонату». При этом я был совершенно спокоен, а мое сердце переполнялось счастьем; все-таки то, что я сделал, было правильно. Так я могу любить ее вечно, так она хозяйка моей жизни! Кто знает, что случилось бы, не уйди я. Снова и снова под звуки рассыпающихся серебристым дождем триолей я чувствую, как она подходит ко мне и освобождает меня от страданий и забот; я снова слышу ее голос, напоминающий мне матовое золото, усыпанное розами: «Идем домой…»

А когда становится совсем темно, я играю сладостный, сладостный ноктюрн фа диез мажор Шопена…

(1920)

В дни юности…

Медленно отзвучала мелодия божественной «Лунной сонаты». Я стоял у окна и всматривался в девственно-нежный весенний вечер. Темнело…

В окне соседнего дома блики от мерцающей свечи падали на золотистый пробор. Руки, под которыми только что оживала божественная бетховенская соната, неподвижно лежали на белых клавишах. Мое окно было выше, так что я мог хорошо видеть всю комнату.

Девичья комната. Со всеми изящными мелочами и пустячками, составляющими неуловимую прелесть девичьей жизни. Над роялем — белая маска Бетховена на темном фоне. Мой взгляд бездумно остановился на руках девушки, и вдруг я заметил, как они снова заскользили по клавишам. Я знал эту мелодию. В унисон ей в моей груди зазвучало что-то темное, словно полузабытые воспоминания пытались обрести свой облик. Тут вступил ясный девичий голос.

Мне показалось, что меня ударили в сердце. В сопровождении рояля звучала старая, святая для меня песня: «В дни юности… В дни юности…»

Время и пространство исчезли. Прошлое, во всех цветах, ожило и вернулось… На меня смотрели знакомые глаза… Я очутился в своей юности. Такой же весенний вечер, но еще нежнее и по-летнему блаженнее. Или уже было лето?.. Не помню…

Я бродил по переулкам старого города. И тут навстречу мне явилась Ты, цветущая и юная. Мы были едва знакомы, Лу; лишь однажды нас мимоходом представили друг другу. Жемчужная нежность синего дня озарилась в моей душе мягким светом доброты. В Твоих глазах тоже сияла весна. Мы шли вдвоем по старым садам, утопающим в сирени. О чем мы разговаривали? Я уже не помню. Разве за нас не говорили вечернее небо, буколические облака и аромат сирени? Потом мы пережили три дня, три вечера, утопавшие в аромате сирени и серебряном сиянии звезд, три неповторимых вечера, слишком прекрасных, чтоб быть правдой. Ты еще помнишь, Лу?

Первый вечер — сумеречно-синий и полный предчувствий. Твоя чудная фигура в кресле. За моим окном цвел каштан, распустившийся тысячей свечек. Он шумел так странно и неповторимо, словно все солнце весны и лета хотело воплотиться в этом шуме. Я сидел у рояля, и в сумерках плыла старая песня: «В дни юности… В дни юности…» Потом мы болтали… А вокруг

становилось всё темнее — от любви, да, от любви — и от весны.

Как прекрасен был тот первый вечер! Как полураскрытая алая роза, отяжеленная росой, как темно-голубая душистая сирень, окруженная мечтами, овеянная сумерками, юностью и красотой. Старые улочки и чудные звезды на темно-синем небосводе. Я и сейчас помню, каким было Твое лицо, когда, прощаясь, Ты стояла передо мною. Лунный свет косо падал на узкую улочку. Ты стояла в темноте, но свет луны отсвечивал волшебным серебром в Твоих глазах. А потом — я помню — кто-то из нас сказал:

— Этот вечер связывает и освобождает нас… Мы просто два человека… Мы должны говорить друг другу «Ты».

— Да, Ты… Ты. — Я держал Твою руку. Ты смотрела из темноты на освещенный луной переулок… затем приблизилась снова и молча подставила мне губы. А потом Ты исчезла, любимая, но все еще была в моих мыслях, когда я шел домой.

Второй вечер сиял. Насколько тосклив был первый, настолько ослепителен второй. Потому что в тот вечер мы предавались волшебным грезам. Ты еще помнишь, как я зашел за Тобой? Вечернее солнце бросало прощальные лучи на колокольню, играя на циферблате и стрелках золотых часов. Неторопливой волшебной походкой Ты шла мне навстречу — о, как я люблю Твою походку! Вечерняя заря неповторимо прекрасного дня бросала блик на Твои волосы, устилала нежным сиянием дорогу под твоими ногами. Снова в опускающемся вечере зазвучали мелодии — старые песни и мотивы. И затихающие звуки неожиданно рождали отклик в моей душе…

Я снова грезил.

Я чувствовал себя тоскующим королем в стране сумерек и цветущих садов. Я рассказывал Тебе об этом перевоплощении — о человеческой судьбе, муке и тоске. О том, что я нищий в лохмотьях, странствующий по миру в поисках своей королевы. Что каждые семь лет я прихожу к темному морю. Качается лодка, блестит корона. Нищенские лохмотья спадают, уступая место пурпурному одеянию; в темном море сияет золотой остров света — моя страна, моя страна! Мрамор, пурпур, золото! Стены из серебра, вечно цветущие деревья, птицы с алмазными глазами и пенье соловьев, ах, всё так прекрасно и сладостно! Моя страна, моя страна Авалон; мои сады, где исполняются желания; глубокие озера, деревья с роскошными кронами! А в напоенных тяжелым ароматом рощах, залитых лунным светом и наполненных священной тишиной, — золотой алтарь для королевы! Ты еще помнишь, Лу, как прервался мой голос, когда я сказал Тебе, что золотой алтарь все еще пуст? И что я вынужден снова, скрываясь и рыдая, уходить оттуда в мир нищим и опять

семь лет искать королеву…

Тогда, Лу, Ты подошла ко мне, Ты страдала вместе со мной, и Ты сказала:

— Нет.

О, я до сих пор еще слышу это «нет», это «нет», которое сроднило нас; я помню, как ты его произнесла! А когда я говорил о своем одиночестве, в Твоих глазах были нежность и любовь, и Ты сказала:

— Я хочу быть с тобой… идти с тобой… Ты не должен быть одинок.

Лу, в это мгновение Ты приковала меня к себе золотыми цепями! Синим заревом вспыхнула звездная ночь, я снова ощутил себя избранным; я, король, опустился на колени перед Тобой, своей королевой! И Ты склонила голову, словно тень Вселенной на секунду помутила Твой взор, когда Ты наклонялась ко мне, и Ты поцеловала меня, недостойного, в горячий лоб.

И мрачный мир исчез: прекрасная, озаренная утренними лучами, возникла передо мной моя страна, я воскликнул: «Королева!» — и заключил Тебя в объятия. Моя душа трепетала от восторга, свободы и благоговения, и я пел Тебе песнь своей мечты. Мы вместе сели в лодку под звон колоколов, ликуя от слияния с золотой ночью.

Ты еще помнишь, как я был пьян от счастья? Как мы ликовали? О!..

А на пути домой звездное серебро, сияние падающих звезд, таинственный шепот темной листвы, блаженство улочек, усыпанных цветущей сиренью, наполнили наши потрясенные сердца и соединили нас навечно.

Ты еще помнишь, как трудно нам было расстаться? Как мы снова и снова протягивали друг другу руки, словно даже одна короткая ночь могла похитить нас друг у друга?

Еще долго стоял я, прислушиваясь к твоим шагам, легким, как у эльфа. Когда я шел домой по старым улочкам, Ты была в моей душе, Ты была моей душой…

А потом — третий серебряный прощальный вечер — вечер расставания. Я шел Тебе навстречу; в синеве неба плыли белые перистые облака, окаймленные золотом; моя тоска была укутана в нежно-розовые одежды. Над этим вечером носились жемчужно-серебристые аккорды Грига и теплота Шуберта. Мы дрожали от блаженства волшебного вечера, переполненные восторгом и счастьем, мы почти ничего не говорили: лишь изредка роняли скупые фразы и сразу замолкали, встретившись глазами, — что значат слова, когда разговаривают души? Такими были мы в тот вечер. Восхищенными и счастливыми. Но во всем чувствовалось

бесконечно нежное, щемящее дыхание предстоящей разлуки, отчего вечер казался еще более изысканным и неповторимым. Так мне хотелось бы однажды проститься с жизнью, Лу, как тогда с тобой, — восхищенным и счастливым, без привкуса обиды на судьбу, так же радостно, так же свободно… Стало совсем темно…

Подул весенний ветер, нежный, тоскующий…

Мы больше никогда не виделись.

Что сталось с Тобой, Лу? Тогда Ты носила на левой руке тонкий золотой браслет… Нашла ли Ты тихую, счастливую страну бесстрастия и блаженства, в которую верила в детстве? Или девственно-нежный весенний ветер навевает в Твою душу страстные желания? А может, темные плакучие ивы уже отбрасывают тень на Твою тихую могилу?.. Что сталось с Тобой, Лу?..

Через открытое окно доносится сладкий девичий голос. Он поет старые песни о расставании, о бегстве, о встрече. Что движет твоим сердцем, дитя, что заставляет тебя петь эти милые, печально-сладостные песни?

Я опускаю голову и закрываю окно.

Будь что будет, Лу! Те три вечера с Тобой, это триединство, полное летнего блаженства и солнца, блеска звезд и лунного света, аромата сирени и цветущих садов, я храню, словно корону, блестящую корону с роскошными украшениями, на темном бархате воспоминаний!

Сегодня вечером я найду свой дневник и почитаю некоторые записи… О юности. О единственной юности…

(1920)

Ноябрьский туман

Ecrit en douleur a la plus hautesse,
la contesse Manont longtemps morte[2].

Уличные фонари, словно печальные заплаканные глаза в унылом сером тумане, этом сером давящем тумане, этом лоне печали, траурном покрывале, которое вот уже несколько недель как опустилось на землю. Из влажного покрывала капли дождя однотонно падают в тишину, эту гробовую тишину вокруг меня, все ближе и так зловеще, что я еще глубже ухожу в себя и словно уменьшаюсь, и мне кажется, будто мое лицо потемнело и сморщилось, став похожим на коричневую маску, которая широко открытыми глазами уставилась в пустоту…

Я с криком вскакиваю и выбегаю из дома на луг и жду солнца, чтобы оно своими ножками-лучами взобралось на брусья тумана и спугнуло призрак. Но оно парит, как розовый парус в бледной дымке, и безысходность, словно молот по наковальне, бьет по сердцу, терзает его, шепчет и угрожает, вырывая кадр за кадром беспощадную киноленту воспоминаний из тумана былого.

О, друзья мои, как опасен и сладок сильный яд этого «А ты помнишь?»; как горек напиток из этого «А как-то раз…», когда вокруг тебя носятся старые, забытые голоса и спрашивают и ласкают: «Ты ли это?», и манят, и ласково шепчут: «Все было не так», и насмешничают, и плачут: «Все прошло… прошло…»

Тогда во мне просыпается что-то, что я давно полагал умершим, миновавшим и прошедшим, тогда поднимаются из глубин памяти яркие дни, которые я давно позабыл, звучит звонкий голос, блестят золотые волосы и глаза цвета аметиста; а звуки кружат и танцуют, прелестный аромат окутывает меня, гравий скрипит под быстрыми ножками; звенящая волна, светясь и пенясь, захлестывает меня, рассыпается брызгами красок и света, сияния и блеска; я оборачиваюсь…

О чем ты мечтаешь, глупец, она давно умерла, и моросящий дождь сочится, наверное, сквозь зябкую землю и гниющий гроб на ее желтеющие волосы… Трясущимися руками я наливаю красное бургундское вино в бокалы, оно, словно кровь, обагряет мои пальцы, а я застывшими глазами гляжу на него… Может, я должен сдвинуть бокалы за тебя и себя, а потом выкинуть их и сам броситься куда-то в эту свинцовую тишину за окнами, что протягивает ко мне паучьи лапы ужаса?..

Красное вино, словно огненный рубин, таинственно светится в маховых сумерках моей комнаты. Разве она не похожа на храм,

где толстые восковые свечи мерцают перед иконами и нежные облака ладана теряются в темных готических сводах? Разве в шуме дождя не слышится нежный глубокий голос органа, а монотонно падающие на стекло капли не выводят тихие псалмы?.. И бокал с прозрачным вином разве не горит, словно красная лампада, перед бледным портретом на стене, как перед иконой, так что кажется, будто аметистовые глаза снова светятся, рот произносит робкие слова, а на нежно-персиковом лбу просвечивают жилки; чу, разве не раздался только что звук, похожий на звон серебра, разве это был не тот самый смех, напоминавший отблеск вечернего солнца на кусте роз?..

Но уже давно она лежит в могиле, одинокая, покинутая, мертвая, смотрит черными пустыми глазницами перед собой, а ведь когда-то она была человеком, полным жизни и тепла, как я и ты, как я и ты, и мы, мы все; — а теперь гниет и разлагается…

Я смахиваю бокал со стола и несусь прочь, прочь — куда? — к людям, к людям, к свету, к свету, — только прочь отсюда; затравленный ноябрьским ужасом, этой туманной могилой безысходности, несусь туда, где свет, шум, люди, где громко звучит музыка и раздается смех, и я пью и пью, пока хмель своими мягкими топориками не сваливает меня с ног…

(1920–1921)

Цезура

Когда бухгалтер Йозеф Детеринг вышел из дома и собрался перейти на другую сторону улицы, что вела к месту его работы, им овладело странное чувство. Впервые в жизни ему пришло в голову, что вот уже двадцать восемь лет каждый день он ходит по этой длинной, пыльной улице, в конце которой находится его контора, — по утрам, ровно в половине восьмого, туда, цо вечерам, в четыре часа, обратно.

Он вдруг понял, что его жизнь ограничена этой улицей, как решеткой; что она отгородила его от остального мира; что его жизнь, подобно маневровому составу, бесцельно движется взад и вперед поэтому единственному отрезку пути.

В перспективе улицы темнели дома. Ему казалось, что их бесконечная череда стремится вдаль, навстречу далекому, глухо стучащему ничто. Поливочная машина прервала единство линии; она заняла почти все пространство между тротуарами и начала разбрызгивать струи воды.

Над домами расстилалось блеклое утреннее небо. Поднимающееся солнце скользнуло по нему, и оно засияло, словно нарядное платье избалованного ребенка. В каплях воды на темной, влажной части улицы, резко отличавшейся от еще не политой безжизненно-серой мостовой, свет отражался, словно в вогнутых линзах.

Йозеф Детеринг осознал, что видел мир по утрам только в воскресные дни. Никогда он не видел мир в понедельник в девять утра или в четверг в одиннадцать. У него появилось чувство, что он упустил что-то очень важное. Такую подавленность он испытывал всего раз в жизни, потеряв папку с документами, которая срочно понадобилась шефу.

Наверное, очень приятно пройтись по улице в девять утра. В это время, надо полагать, полногрудые молочницы, звеня бидонами, переходят от дома к дому; в дверях появляются женщины, только что вылезшие из теплых постелей, с кастрюлями и кувшинами. В переулках разносятся низкие голоса продавцов торфа и точильщиков; их протяжные крики звучат удивительно мелодично. А в одиннадцать утра женщины с полными корзинками возвращаются с рынка, счастливые и довольные, потому что они сделали хорошие и недорогие покупки. Собаки нежатся на солнышке, дети собираются в шумные кучки. Какое множество лиц! Сколько он упустил, с тупым упорством сидя в конторе! В мыслях о молочницах и кошелках, которых он никогда не видел, уже мелькнуло,

переливаясь всеми цветами радуги, подозрение о разнообразии и богатстве жизни, закрытой для него! Он вдруг ощутил, что жизнь летит в прозрачной вышине над улицами, вон там, легкомысленная, свободная, вальсирующая, немного мечтательная, с полураскрытыми губами…

Не берусь утверждать, что бухгалтер Йозеф Детеринг моментально сформулировал все эти идеи. И тем не менее душевный разлад прогрессировал в нем с такой силой, что все мысли о работе, долге и конторе пропали, словно сон, смешались с воздухом улицы, затопленной солнцем. Он, не двигаясь, смотрел вслед красной поливочной машине, пока та не свернула за угол. Потом резко отвернулся от серой улицы, словно перечеркнув в этот момент двадцать восемь лет своей жизни.

Ему навстречу попалась повозка, запряженная гнедыми лошадьми с блестящими боками. Они пританцовывали и, играя, покусывали друг друга за морды, белая пена жемчужно поблескивала на их губах. Детеринг приветливо кивнул вознице, тот в ответ весело щелкнул хлыстом.

Потом начались луга, зеленые луга, распростершиеся под солнцем, словно готовая отдаться женщина. Сочная трава бурно разрослась до самой обочины дороги, здесь улитки пускались в свое медленное бегство от поднимающегося солнца. Как капельки масла в сливочном пироге, желтели цветы, росшие кустиками. Некоторые из них он помнил еще со школьной поры. Он громко называл их по именам, кивал им, словно после тяжелой болезни вернулся к родным: голубая перечная мята, стройная пастушья сумка, толстый, добродушный одуванчик.

В пригороде он завернул в постоялый двор. Посмотрел на часы: было десять. В нем поднялась непонятная радость, когда он увидел, что витые стрелки на его часах сложились в острый угол. Он поднес часы к уху, чтобы убедиться, что они тикают. Потом, почувствовав непонятное умиление, заказал молока и хлеба.

Он ел медленно и с расстановкой, впитывая вкус этого счастливого утра и одновременно болтая с хозяйкой, которая стояла рядом с ним, уперев руки в боки и тупо разглядывая его. Он свободно и легко спрашивал ее о чем-то, сам удивляясь тому, как естественно он держится.

Потом он собрал большим пальцем хлебные крошки и снова двинулся в путь. Он шагал бодро и уверенно, будто у него была какая-то цель. Он вдруг почувствовал, как оковы упали, как сдвинулась завеса, скрывавшая от него красоты мира. Теплый воздух воодушевлял его; он чувствовал невероятный прилив сил, мурашки пробегали по спине, и колени дрожали. Таинственный ритм отзывался в его дыхании и шагах, он словно парил, ему

чудилось, будто неизвестный фокусник, дергая за невидимые ниточки, управлял его жизнью.

Он словно заново научился ходить, до того удивляла его быстрота и уверенность собственных шагов. Глаза его жадно вглядывались в пейзажи. Рука послушно и уверенно охватывала палку, поднимала и опускала ее в такт шагам.

Когда солнце начало припекать слишком сильно, ручей утолил его жажду. Вода сияла бриллиантами в неумело сложенных ладонях. Утомленный, он рад был отдохнуть в тени. Полдень тихо сомкнул уставшие глаза, проскользнул несколькими пурпурными и темно-синими волнами под закрытыми веками и погасил факел сознания.

Когда Йозеф Детеринг проснулся, он решил взглянуть на часы, чтобы еще отчетливей почувствовать свободу. Но, доставая их из кармана, он вдруг ощутил странный покой, видимо, порожденный благодатным сном. Это чувство заставило его забыть о мелочности и снова наполнило красками окружающий мир; тогда он бросил часы в ручей и пошел к темневшему вдали лесу.

Каждый шаг ускорял биение его сердца и все больше волновал кровь. Величественный, словно Бог, вырастал перед ним лес. Последний отрезок пути он преодолел бегом, будто боялся опоздать. Раскинув руки, словно бегун на финише, вошел он в лес.

Его окружила прохлада, подобная той, что обволакивает, когда попадаешь с жаркой улицы в дом. Она опустилась на него, как сбывшееся пророчество, и ему пришлось сжать губы, чтобы не вскрикнуть.

Он припал губами к ели, чтобы ощутить вкус коры и золотистой прозрачной смолы; пожевал листья бука и почувствовал животное инстинктивное счастье от того, что оказался на лугу, на солнце. Усыпанная хвоей почва казалась ему желаннее женщин, о которых он мечтал, — он не мог сквозь одежду насытиться ощущением тепла, исходящего от нее, и потому скинул сюртук, чтобы приблизиться к ней.

Чувства все прибывали и прибывали в нем, словно вода в покрытом рябью бассейне, в который со всех сторон бегут ручейки. Пение птиц заставило его застыть и обратиться в слух; появление белки вызвало головокружение восторга; устремленные вверх стволы влекли его за собой; он поднял руки.

Вечером он набрел на людей, праздновавших в лесу какой-то праздник. Он, взволнованный и беспомощный, оказался среди них и сразу увлек их, смеющихся, своими возвышенными размышлениями о жизни. То, как он с трудом произносил слова и

экзальтированно жестикулировал, почему-то растрогало людей. Правда, они не перестали посмеиваться, но и без того праздничное настроение, их открытость и чувства, пробужденные его бормотанием, способствовали возбуждению многоцветной радости; взволнованно шумел лес, и Детеринг вдруг оказался среди деревьев, он склонялся над девичьим ртом, сам не понимая, как это вышло.

С закрытыми глазами оторвался он от той мягкой, трепещущей плоти, что воспламенила его кровь и теперь тускло белела позади. Почти торжественно прошел он между елей. На поляне споткнулся о корень. Открыл глаза. Первое, что он увидел, были звезды. Потом он заметил у своих ног освещенный луной тихий лесной пруд. Оттуда на него глядело его лицо. Он вдруг узнал себя и вздрогнул. Из глубин подсознания выбралась спрятанная там правда, пытаясь предостеречь, вернуть. Рука судорожно вцепилась в куст на берегу.

Но в лице, глядевшем на него из пруда, было слишком много силы. Оно неумолимо влекло и приближалось. Почти непроизвольно рука отделилась от последней опоры и потянулась, словно стремясь погладить, к отражению на поверхности пруда, которое вдруг раскололось тягостной мелодией, разошлось кругами и пропало в темноте.

(1920–1925)

От полудня до полуночи

Ежедневно в восемь часов он выходил из дома, смотрел, какая погода, проходил по лабиринту пересекающихся улиц и попадал на длинную серую улицу, в конце которой громыхала фабрика, за ней находилась его контора.

На одном из перекрестков располагался ночной ресторан. И часто, особенно зимой, случалось, что оттуда выходили припозднившиеся посетители. Иногда шубка из норки или каракульчи даже касалась его крылатки, он вдыхал аромат чувственных духов, замечал опаловые ногти ухоженной ручки. Тогда в его настроенную на дебет и кредит душу закрадывалось робкое желание, которое все больше и больше усиливалось, доходя до страстной потребности; поздний инстинкт заявлял о себе — несколько пружинящих шагов оживляли смирение поношенных брюк, — и под уже слегка обтрепанным котелком проносилось радужное мерцание, обволакивая, словно туман, привычный распорядок: десять страниц бухгалтерских счетов, завтрак, сверка копий, подсчеты, конец рабочего дня; оно окутывало, манило, манило, пока наконец понятия: мир, большая жизнь, приключения, наслаждение — не стали ассоциироваться с таинственным проемом двери ночного ресторана и не начали с каждым днем все больше возбуждать и соблазнять его.

Так и получилось, что на следующий день, после того как он временно заступил в должность кассира, в утренней полутьме он увидел очень тонкую щиколотку, показавшуюся из-под котикового манто в тот момент, когда женщина скользнула в автомобиль; в нем родилось то странное чувство равнозначности двух понятий: порядок-долг и приключение-грех, какое бывает только раз в жизни и длится всего минуту; под его влиянием любая мелочь может внезапно стать весомой и решающей.

Часом позже он присвоил крупную сумму, поехал в ближайший большой город и снял номер в самом фешенебельном отеле. Он был спокоен и не думал о преступлении и преследовании. Когда он вошел с только что купленными вещами в свой номер и принял ванну, то удивился отсутствию ожидаемого энтузиазма. Почти равнодушно он подумал: «У меня пять миллионов, я мог бы каждый день жить в таких отелях». Он пошел в кабаре. Когда он пил вино и думал о том, что теперь может купить все, о чем так часто мечтал, у него в голове пронеслась мысль: «Я мог бы долгое время каждый день пить это вино, потому что у меня пять миллионов». Он заметил, что жизнь, приключения, большой мир, — все, что раньше он представлял

себе таким сверкающим и манящим, существует по законам его прежней жизни. Светились перламутровые плечи; кокотки демонстрировали свои сияющие тела. Обведенные черными кругами глаза морфинисток обещали извращенные и сильные наслаждения; по-детски краснел коралловый рот на лице пажа. На руках персикового цвета поблескивали камни. Он смотрел на все это и думал: «Я могу получить любую из этих женщин, потому что у меня есть пять миллионов». Но напрасно ждал он того волнения в крови, которое так часто испытывал раньше перед входом в ночной ресторан, когда из-под одежды высовывалась женская ножка. Ведь теперь он знал, что может иметь все. Пять миллионов. Он мог быть здесь сегодня, завтра и послезавтра, так часто, как ему этого захочется… И всегда было бы одно и то же… Тут он неожиданно осознал, что жизнь наверху так же скучна, как и внизу; что он просто вошел в другую комнату. Что цель — фата-моргана. Что отсюда он может пойти в еще одну комнату. И так далее. Но никогда не попадет в *единственно нужную* комнату. Он вдруг осознал, что мечта — самое прекрасное в жизни. Его почти пронзило подозрение о большой трагичности происходящего и об очаровании конечных истин; скрытая сущность жизни стала яснее, на него снизошло прозрение. Действительность сделалась призрачной, поблекла, растаяла. Туман, дымка, мимолетность. Почти радостно выкристаллизовалось решение.

Так и случилось: на следующее утро его выловили из реки, его лицо еще сохраняло едва заметное выражение сарказма, превосходства и меланхоличной иронии, которое обычно бывает на посмертных масках великих людей. Похищенную сумму вернули обрадованному шефу почти полностью.

(1920–1925)

Финал

— Жизнь бессмысленна и полна лжи, darling. Мы слишком проницательны, чтобы довольствоваться массовыми наркотиками: долгом, культурным прогрессом, религией и философией. Мы слишком прозорливы, чтобы погрузиться в банальный круговорот: еда — работа — любовь. Мы слишком больны, чтобы с упрямством и презрением наблюдать за бессмысленностью жизни, как за цирковой пантомимой, хладнокровно дожидаясь последнего акта этой комедии.

Счастлив тот, кто в тиши выращивает свою капусту, выкуривает после работы трубочку, выпивает по вечерам кружечку пива и честно любит свою Карлину. Вдвойне счастлив тот, кто сохранил в неприкосновенности свои идеалы, ходит на службу, которая его кормит, и пользуется уважением ближних. Но втройне блажен тот, для кого женщина означает целый мир, — я говорю женщина, не жена, — в ней он находит исполнение всех своих желаний, так что «их души сливаются воедино», — прости ироничную улыбку — женщина, в которую он верует. Да сохранит Бог глупцу его веру!

Впрочем, в сущности безразлично, как именно тебя обманывают, потому что все равно обманывают всегда. Вера в женщину или только в себя, Шопенгауэр или лесть, Эпикур или хладнокровие стоиков: всё это — всего лишь обман.

Но мы, проницательные, слегка больные, недостаточно наивные и непосредственные, чтобы не видеть загадок и запутанной сети ходов лабиринта под названием «жизнь», недостаточно упрямые и последовательные, чтобы пытаться разобраться в ней, мы не можем больше обходиться без ощущения пропасти, пляски на крыше небоскреба, независимо от того, хотим ли мы забыть это чувство или жить с ним.

Мы наслаждаемся знанием о сомнительности бытия как будоражащим дурманом, мы иннервируем им слегка прокисшее вино нашей сексуальности и превращаем его в игристое шампанское.

Словно бесформенный туман в осенней ночи, движемся мы в жестокости бытия, не зная, откуда и куда, — вечерний ветер, облако на небе имеют больше прав на существование, чем мы, — проходит столетие, но все остается без изменений, независимо от того, как мы жили. Будда или виски, молитва или проклятие, аскеза или разврат — все равно однажды нас всех зароют в землю, чему бы мы ни поклонялись: своему желудку или чему-то невыразимому, белой женской коже или опиуму — все едино…

Жизнь бессмысленна и полна лжи, darling, и единственный смысл заключается в искрящемся вине, в этом голубом дыме, в твоих еще более голубых глазах и в твоем шелковистом девичьем теле.

Я сознательно нацелил на тебя все стрелы своего желания и все свое стремление к познанию, все то, что вибрировало тысячелетиями и теперь смутно шевелится во мне; я сосредоточил всю свою жизнь на тебе, я персонифицировал в тебе весь мир.

Твоя гладкая кожа означает для меня то же, что для другого значат семья и родина, твои зеленые[3] глаза сфинкса, были для меня тем же, чем для других были Заратустра, зороастризм и веды; никто не смог бы так грезить от опиума, гашиша и кокаина, как грежу я, вдыхая аромат твоих волос; и никому сотерн, синяя малага или бенедиктин не приносили такого сверкающего золотисто-пурпурного опьянения, как мне — твое укутанное в валансьенские кружева роскошное тело!

Ты была для меня короной и алтарем, загадкой, соблазном, ребенком, матерью, святой, падшей женщиной и богиней — потому что я так хотел. Ты была для меня жизнью и смертью одновременно, мировой загадкой и загадочным миром, бесконечным праздником чувств и души… Не занимается ли там утренняя заря?.. Праздник окончен…

Ты любила меня, потому что я, подобно Протею, каждый день был разным. И вот мои превращения исчерпаны. Теперь я смогу лишь повторяться, а ты слишком нервна, и тебе это скоро наскучит, отвратит, оттолкнет от меня. Праздник окончен — я собираюсь домой.

Он улыбался, когда покоренная его усталым хладнокровием женщина опустилась перед ним на колени и, как обычно, поклялась ему в вечной любви и верности. Он принял это как должное, как последний утонченный нюанс праздника, и молчаливо наслаждался им.

— В жизни нет ничего более трудного, чем остановиться в нужное время — остаток всегда горек и отдает пошлостью. Нужно иметь особое чутье, чтобы уйти вовремя. Этот момент наступает незаметно. Но готовым нужно быть всегда…

Он зажег все свечи. Комната словно плыла в огне. Персидские ружья в углу отбрасывали матовые блики, мягкие отсветы утопали в толстых коврах, мерцали в красном вине, как корона, сияли на медных волосах женщины, и окутывали ее алебастровые плечи.

— Я лягу здесь, на шкуры и подушки, в нашем волшебном уголке. Расстегни свои одежды и станцуй мне танец белого

лотоса…

Когда она взглянула на него в недоумении, он снова улыбнулся. Она никогда еще не танцевала этот танец. Потом она потянулась и начала покачивать бедрами, а он устроился в сумерках среди множества хризантем, которыми сегодня была полна студия.

От движений тепло растеклось по всему ее телу, она выгибала руки, словно стремясь вплести их в золотую сетку свечек-огоньков; поднимала ладони, словно опьянев; скользила, почти физически ощущая неземную прохладу и белизну хризантем. Свободно и легко и в то же время сосредоточенно, в целомудренном экстазе, она начала танец белого лотоса. Она танцевала, увлеченная египетской строгой пластикой и индийской чувственностью, пока ей вдруг не показалось, что комната теряет свои очертания в сумерках и становится похожей на темное озеро, в котором светлеет очень бледное лицо, словно белоснежный цветок лотоса в ночи…

Укутавшись в мягкую индийскую шаль — лицо в полутьме комнаты все еще светлело, бледное и безмолвное, — она шагнула вперед и увидела на левой руке мужчины тонкий надрез, из которого медленно сочилась последняя кровь, голова его покоилась на подушках, словно он спал, а лицо со спокойной улыбкой белело в сумерках, как белый цветок лотоса.

(1923)

Декаданс любви

— Очень трудно, сударыня, дать точное определение слову «декаданс». Мы склонны к полутонам, к переходным состояниям, к эстетическому очарованию. Мы скорее наблюдатели — в том числе и за собой — и в меньшей степени участники. Настроение — легкое, переменчивое, экзотическое, — значит для нас больше, чем чувства. Мы все воспринимаем как наркотик, все вокруг нас словно пропитано им. И женщины тоже. Наши предки любили чувством; мы — нервами. Для них целью было обладание, постоянное обладание; для нас обладание — ничто, возможность обладания — всё. Женщины для нас — золотисто-коричневый сладкий наркотик…

Вы улыбаетесь, сударыня, но поверьте: самое прекрасное в любви — не конечный итог, самое прекрасное — прелюдия. Все то, что предшествует любви, все эти прощупывания почвы, несмелое продвижение вперед, просчитывание шагов, это по-кошачьи беззвучное скольжение, эта скрытая борьба партнеров — вот наивысшее наслаждение для нас. Для наших предков любовь была алтарем или пивной — в зависимости от обстоятельств; для нас она — фехтование на звонких рапирах в старом венецианском зале, где свечи отблескивают на зеркальной серебристой стали, а на стенах лоснится старая парча…

Я хочу рассказать вам об одном случае, чтобы немного прояснить абстрактную софистику моих слов. На моем левом плече есть тонкий шрам. У этого шрама своя история. Год тому назад в Брюсселе я познакомился с женщиной, которая привлекла мое внимание узкими длинными щиколотками — признак породы и начинающегося вырождения. Она была блондинкой, как и вы, сударыня; только ее волосы не отпивали медью, как ваши. Это было вторым, что бросилось мне в глаза. Третьей, решающей причиной было то, что она прогнала мужчину, который пытался говорить с ней о Метерлинке и сравнивать его с Д'Аннунцио. Потому что, милостивая сударыня, к сожалению, мужчины как вид в целом настолько утратили свои первоначальные инстинкты и настолько обуржуазились, что осмеливаются разговаривать с дамой холодно и сдержанно, обсуждать с ней факты, быть разумными. Мужчина всегда должен видеть в даме женщину; факт ее женственности всегда должен быть первым и определяющим. Но у кого еще остались эти утонченные первобытные инстинкты, эта обволакивающая женщину каждым словом, каждым движением, вечно бодрствующая мужественность, перед которой не может устоять ни одна

женщина, независимо от того, ненавидит она мужчину, презирает или даже — любит?

Простите мне эту злую шутку, моя дорогая, и дайте еще сигарету. Вы видите, эту историю не получается рассказать, не отвлекаясь: итак, я угадал в этой женщине чуткость и тонкую нервную организацию; к тому же она была лишена сентиментальности и достаточно опытна, чтобы борьба была небезопасной. Потому что, дражайшая сударыня, это поединок нервов и темперамента, и, если побеждает темперамент, ты пропал. А у меня темперамент…

Я часто видел ее за чаем и довольно быстро почувствовал тот нервный трепет, который предшествует наэлектризованности.

Потом зазвенели чашки, заискрились намеки, началась словесная дуэль. Я уже получил определенное преимущество. Когда остроумный, как эпиграмма, разговор на общие темы дрожал в неустойчивом равновесии, я неожиданно в смелом повороте сделал выпад, к которому она оказалась не готова, он сбил ее с толку, и я возликовал. Затем я поцеловал ей руку и удалился.

На следующий день она вооружилась остроумием до кончиков пальцев, искрилась и блистала, я время от времени вставлял какой-нибудь парадокс, раззадоривал ее и внезапно сделал мягкое, мальчишеское замечание, которое опять поставило ее в тупик.

Но и она уловила мое уязвимое место, ту черту моего характера, которая была меньше всех скрыта: темперамент.

Эта женщина была прекрасна. Одеяния чудно облегали ее колени, ибо она не носила платьев, она облачалась в одеяния. Наверное, в подколенной ямке билась голубая жилка, так белы были ее руки… Моя кровь начинала бурлить, когда я был рядом с ней. Я это скрывал. Она все равно это знала. Тогда я перестал это скрывать, чтобы не ослаблять своих позиций.

Мы танцевали. Она держала дистанцию, при которой мы едва касались друг друга, это сводило меня с ума. Я делал глупости, был нетерпелив, упускал шансы, пылко пытался исправиться, натыкался на сдержанную улыбку, запинался, замолкал…

Я начал проигрывать. Мои парадоксы и остроумные выпады больше не смущали ее. Когда ей приходилось молчать, она улыбалась. Вызывающе. Насмешливо. Она намеренно уступала мне. Иронично улыбалась, когда я этим пользовался. Если я не обращал на это внимания, она язвительно на это указывала. Я начал нервничать.

Я знал, что все ее приманки были просчитаны. Что она вела бой своим оружием. Что, как только она увидит меня у своих ног,

все кончится. Что, возможно, она отдастся мне. Но с чувством превосходства. Так что на следующий день мне придется от стыда пустить себе пулю в лоб.

Я начал сильно нервничать. Во мне проснулось что-то атавистическое. Я любил эту женщину. Кипение крови помутило остроту зрения. Чувство подсовывало обманчивые картины. Я был в опасном состоянии.

Тут она пригласила меня к себе в будуар на чашку чая. Она встретила меня серьезно. Напрасно я искал в ее глазах издевку. Вокруг ее рта не было ни единой иронической складочки. Она показалась мне нежной, даже сентиментальной. Все хитрости и расчет пропали. Это привело меня в опасное, меланхолическое настроение, такое бывает в пору осеннего листопада, когда на деревьях висят разноцветные, уже умершие листья…

Я попросил ее сыграть на рояле. «Песню без слов» Чайковского. Я смотрел на мягкие линии спины, которые терялись в вырезе ее одеяния… О, эти падающие листья за окном… О, эти опадающие линии плеч так близко от меня — аромат волос — голубые сумерки — полуоткрытый рот — серьезный, почти печальный — эти затухающие минорные звуки…

Я взволнованно поцеловал ее руки и хотел уйти.

Она удержала меня.

— Останься. Я сейчас приду, — сказала она; еще ни один женский голос не казался мне таким серебристым, как этот.

Я замер. В смятении. Кровь стучала в висках, накатываясь волна за волной. Где-то в мозгу еще теплилось сознание, холодная правда… Я хотел уловить эту правду, удержать в пурпурной сумятице чувств — и тут женщина снова вошла в комнату.

Дверь в спальню она оставила открытой. Мягкий свет плавал в комнате. Был виден край белой кружевной постели.

Тончайший черный шелк. Сквозь него просвечивали — ведь свет из спальни падал сзади — контуры самого прекрасного в мире тела. Глаза: глубокие и преданные. Этот рот: добрый и полный страстного ожидания. Эти тонкие руки, протянутые ко мне. Моя кровь бурлила, гнала прочь все раздумья, призывала к действию. Я устремился к ней и одним рывком уложил в манящую постель.

И вот уже мои руки дрожат над шелковыми одеждами, и вдруг что-то, быть может запоздалая мысль, спрятавшаяся от жаркого прилива крови, — откуда мне знать, — что-то заставило меня открыть глаза. Я увидел перед собой благородное лицо, ее глаза были закрыты. Вокруг крыльев носа *тоже* дрожало

желание, рот — сама готовность отдаться, — и все-таки вокруг рта — в уголках губ — притаилась почти незаметная усмешка — усмешка, выдававшая *триумф* — триумф!

Я мгновенно осознал рафинированность западни, в которую чуть было не попал. Вскочил. Сразу же успокоился. Кровь перестала бушевать. Я засвистел какую-то мелодию.

Она подскочила, как от удара хлыста. Посмотрела на меня и все поняла. Но она больше не могла использовать рискованные средства, которые обычно применяла, не могла усмирить духов, которых сама и вызвала. Они оказались сильнее. Желание когтями впилось в нее. Она хотела, ей было *необходимо* получить меня сейчас; игра с огнем слишком распалила ее.

Я собрался уходить. Вы знаете, что для женщины это смертельное оскорбление. Она, словно вакханка, потянула меня к себе. Схватила тонкий мавританский кинжал, который всегда лежал на ее туалетном столике, встала у двери и воскликнула:

— Не вздумай уйти — я убью тебя…

Она воспламенила меня, все тело стало упругим, сильным порывом, мощным жаром и пылом.

И вот, моя дражайшая, наверное, вы это поймете, теперь ситуация резко изменилась. Всё, что было до того, исчезло. Игра и борьба, поддразнивание и остроумие — все прошло. Решение зависело только от нее.

Вы знаете, как я люблю стихии. Огонь, море, шторм. И вдруг я оказался перед вот такой первобытной стихией, таким земным первобытным инстинктом, желанием женщины! Я неизбежно *вынужден был бы* полюбить его, точно так же, как остальные стихии, если бы… — да, если бы оно *доказало*, что оно — действительно первобытное желание. Для доказательства требовался один шаг. Без единого слова я твердо посмотрел на нее и шагнул к двери. Сверкнул кинжал, я почувствовал, как он вошел в плечо. Сразу же выступила кровь.

В следующее мгновение она далеко отбросила кинжал, упала передо мной на колени, и плакала, и рыдала:

— Прости. — Она ощупывала рану. — Прости…

Я стряхнул ее руку, приложил к ране носовой платок и, уходя, холодно произнес:

— Перед этим вы почти победили, мадам. Но и теперь — если бы вы действительно сделали это, если бы вы ударили по-настоящему, я не смог бы не полюбить вас именно из-за этого поступка, из-за вашей первобытной силы, из-за глубинной связи с природой, из-за мощного проявления чувственного влечения. Но даже в момент самого бурного проявления вашей женской сущности и самого тяжелого ее оскорбления вы — думали.

Клеопатра убила бы мужчину, поступившего так. И Помпадур заколола бы его кинжалом. Но вы трусливо остановились на полпути. Вы почти решились на поступок, но он оказался вам не по плечу. Вы — не квинтэссенция желания и духа и не соединение этих двух стихий. Всего лишь смесь. Не Женщина. Только существо женского пола. Выходите поскорее замуж…

Маркиз умолк. Женщина перед ним выпрямилась. Она резко произнесла:

— Да вы… оставьте меня! Немедленно! Не возвращайтесь. Я не хочу вас больше видеть.

Она вышла… Он посмотрел ей вслед. Улыбнулся, надевая шляпу. Он знал, что уже завтра будет обладать ею, а она будет целовать тонкий шрам на его плече, когда он заснет, считая, что он этого не заметил.

(1923)

Силуэт Ян-це-цян

Несколько дней подряд шел дождь, и мы убивали время в доме Та-сё-ши в Нанкине, выпивая бесчисленное количество чашек чая и выкуривая бесчисленное количество бронзовых трубок алжирского табаку. Маньчжурец Цинь-цень-цянь, в доме которого мы тщетно пытались сделать ночные фотографии звездного неба, отвел нас в чайный домик на юге города, где выступала маленькая танцовщица.

У нее была светло-желтая кожа, глаза на нежном личике казались черными, вся она была хрупкая, а щиколотки у нее были невероятно узкими и тонкими. Пока мы встряхивали в стакане игральные кости, которые бог знает где откопали в этом маленьком ресторанчике, чтобы решить, кто ее получит первым, потому что было ясно, что ее можно получить, подошел мой бой и сообщил, что на небе появились звезды и снова подул теплый ветер.

Мы выбежали на улицу. По усеянному звездами небу еще плыли, как огромные птицы, торопливые облака, но южный ветер уже стал теплым. Через час верх нашей джонки должен был высохнуть. Мы кричали, требуя лошадей и носильщиков, мы шумели и смеялись: в темноте нас поджидали приключения, теплый ветер опьянял нас; мы хлопнули толстого хозяина по спине, так что он почти поцеловал землю, бросили в его покорные руки деньги, купив тем самым танцовщицу на три дня, и ускакали.

Я прыгнул к ошеломленной малышке, поднял ее, рванул вверх и посадил перед собой на лохматую китайскую лошадку.

Она, словно маленькая птичка, беззвучно лежала в моих руках. Мы скакали через шелковичные рощи и заросли карликового бамбука. Передо мной раскачивались зеленые и красные фонари китайцев-носильщиков, отбрасывавшие гротескные тени; широкий силуэт Кинсли на коне мотался из стороны в сторону, несколько золотых фазанов со свистом пронеслись над дорогой; вдали прокричала пантера, от этого первобытного крика лошади забеспокоились; молодость играла у нас в крови; сказочно и неярко поблескивали в темноте азалии, а под моей ладонью беспокойно билось маленькое сердце.

Все было волшебно и неправдоподобно. Передо мной простиралась сияющая ночь. Я заметил, что рот у танцовщицы хорошей формы, даже, пожалуй, красивый. Кораллово-красный. Лицо неподвижно. Ветер напоен ароматом цветов, аромат был повсюду — казалось, я скакал по сказочному лесу с похищенной

принцессой…

Наша джонка поднималась и опускалась в грязных потоках Янцзы. Кинсли уже вел переговоры с маньчжурцем, которому, благодаря пуговице из горного хрусталя на фуражке и вышитой на нагруднике цапле, почтение наших носильщиков было обеспечено. Загремели цепи, Оле Хансен, проклиная всех и вся, требовал ковров и виски с содовой, носильщики, тяжело дыша, тащили наверх носилки. Я осадил коня и хотел снять танцовщицу. Тут она вздрогнула, впервые посмотрела на меня, издала звонкий, почти птичий крик, повернула к себе мое лицо, так что я заметил, как заблестели ее покрытые эмалью ногти, посмотрела мне в глаза, словно искала чего-то, а потом спрятала лицо в одежду.

Вы слегка улыбнулись, сударыня, но вы ошибаетесь: банальной сцены узнавания не последует, она не была девушкой из Шанхая или Гонконга, с которой я случайно встретился вновь; это не было и обычной, внезапно вспыхнувшей любовью ко мне, это было… ну, да вы еще услышите…

На палубе расстелили ковры, Оле Хансен начал готовить разноцветные напитки, китайцы занялись приспособлениями для ловли многозуба, паруса были подняты, мачты скрипели, вода пенилась за бортом, мы развернулись и пошли вниз по течению.

Вскоре огни позади нас померкли, шумы стихли, и только река пела свою однотонную песню. Небо совсем очистилось от облаков, и волшебство лунной тиши было возвышенным и безмерно глубоким. Мы скользили от середины реки к берегу. Ветер был нежным, как женские руки, ночь — печальна, как улыбка девы. С берега доносился запах камфорных деревьев и гуайявы. К ним примешивался и запах имбиря, хотя заросли этой травы находились южнее. Мимо проплыл спящий город Чич: немного огней и приглушенный собачий лай.

На палубе стало тихо. Китайцы спали или сидели на корточках у штевней, Кинсли прекратил читать и разглядывал звезды, а Оле Хансен велел своему мальчику-аннамиту принести кальян с опиумом. Танцовщица, которую Хансен заставил выпить пару бокалов коблера, спала в углу.

Я велел принести мою трубку слоновой кости, подарок одного старого китайца, и, устроившись на подушках рядом с Хансеном, взял из серебряной коробочки каплю опиума, дал ей закипеть на огне, от чего опиум стал золотисто-коричневым, набил им трубку и глубоко затянулся.

Мною снова овладело волшебное чувство нереальности происходящего; тихое поскрипывание парусов, журчание реки, мелькающие силуэты деревьев — все слилось в единый нежный

аккорд, в котором растворялись время и пространство, а мир превращался в одну чарующую золотисто-коричневую мелодию.

Где-то чирикала маленькая птичка; наверное, жаворонок. В этом нежном полусне, сопровождаемом ритмичным покачиванием горизонта и глубоким дыханием мира, звучал голос Кинсли, который читал, опершись на руку. Символические высказывания Кун-цзы[4] о мире… мистические рассуждения Лао-цзы… а потом божественный Ли-та-пей[5], бродяга, друг императора, вина и дальних просторов…

Вы наверно понимаете, сударыня, что в эту сказочно теплую ночь под потрескивание трубок с опиумом и под звуки золотоносных стихов мудрого странника, лишь наполовину воспринимаемых нами, мы впали в такое медлительно-мечтательное состояние, что совершенно забыли о танцовщице и вспомнили о ней только когда китайцы начали наигрывать приглушенную мелодию на своих гонгах и струнных инструментах, и она медленно встала.

Мы лишь слегка приподняли головы, когда она танцевала. Нам достаточно было чувствовать, что ее танец гармонирует со звездами, рекой и лесом, расстилавшимся вокруг. Убаюкивающая музыка разливалась между снастями и тросами, соединялась с красноватым светом лампы и окутывала молчаливую танцовщицу. Вдруг она сделала несколько быстрых шагов, посмотрела на меня странно, будто пытаясь в чем-то убедить, подняла руки, наклонила голову, попятилась назад, дальше, дальше — медленно обернулась и прыгнула за борт.

Потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. Река была мутной, и джонка уже уплыла вперед. Ничего больше не было видно. И все-таки я хотел, хотя это наверняка не дало бы результата, приказать, чтобы ее поискали со шлюпки. Но мой бой, который обычно был очень робок, удивительно быстро положил мне руку на плечо и сказал на ломаном немецком:

— Не делать, господин… так… хорошо…

История на этом заканчивается, дражайшая сударыня. Вам кажется, я мог бы рассказать ее более выразительно? И кроме того, опять не хватает изюминки? Да, я мог бы сделать основной темой рассказа то, о чем уже обмолвился: видимо, что-то во мне болезненно напомнило малышке о прошлом. Но мне этого совсем не хотелось; я стремился изобразить волшебный воздух той ночи, который был таким нереальным и гипнотизирующим, что смерть человека по сравнению с ним прошла незамеченным эпизодом; передать то чувство окрыленности и ритмичности, которое должно было бы присутствовать в нас всю жизнь, а не одну

только ночь, так чтобы мы смутно воспринимали окружающее и принимали жизнь как нечто неважное и второстепенное — чем она на самом деле и является, несмотря на кажущийся парадокс, для человека, который *живет*, а не просто существует… Потому что самое важное всегда заключено только в нас самих.

(1923)

Иншалла

Клерфэ медлил, потому что на восточном краю пустыни еще был виден караван, прошедший два часа назад мимо палаток. Он шел из Багдада в Басру. Верблюды были тяжело нагружены резиной, ладаном, пряностями и английскими металлическими товарами. При ходьбе они покачивались, как финиковые пальмы, когда начинается самум. Резко очерченные темные силуэты погонщиков выделялись на фоне вечернего неба, словно были сотканы из мрака. Волнами накатывали фиолетово-синие сумерки; через час станут видны все звезды.

Если бы он взял кобылу Узкобедрой, он бы догнал караван еще до наступления ночи, потому что кобыла любила его, и он знал слово, которое нужно прошептать ей, чтобы она, словно вихрь, обогнала даже скакуна шейха. К тому же начальник каравана, отведя Клерфэ в сторону, посоветовал ему идти с ними, потому что с этими бедуинами опасно иметь дело, а вон тот тощий парень — черт побери — разве не похоже, что он так наблюдает за ним потому, что влюблен.

Клерфэ медлил. Но потом им снова овладело то странное чувство, что он испытывал однажды на охоте, когда антилопа, в которую он попал на два сантиметра ниже, чем надо, умирая, посмотрела на него бархатисто-темными глазами. Клерфэ опять ощутил себя таинственным образом приподнятым над жизнью, словно прошлое и будущее, внезапно отрезанные, куда-то пропали, сила притяжения исчезла, и все стало таким странно знакомым. Палатки, кусты колючки, караван на горизонте, бормотание арабов в палатке, тушканчик у ног, кактус с красными крапинками, перед которым он сидел на корточках, — будто бы все это уже когда-то было. Клерфэ опомнился: он впервые оказался здесь и никогда не бывал в похожем месте, но чувство все-таки не проходило. В Клерфэ росло ощущение некой роковой взаимосвязи. Может быть, открылась дверь, которая до сих пор была заперта? Или приподнялась завеса бытия, обнажив основы мироздания? Разрушились чары? Завершился какой-то круг? А ведь когда-то все это уже было. Индейцы порой рассказывали странные легенды…

Но если такое уже однажды было, почему оно не может повториться? Клерфэ иронично посмеялся над своей софистикой и вместе с тем почувствовал, что она вырвала его из чар и вернула событиям игривую неповторимость случая, а следом пришли свобода решений и гибкость поступков. Он вошел в шатер.

Узкобедрая лениво приподняла ногу с золотыми браслетами. У девушки были очень большие миндалевидные глаза. На животе виднелись синяя и красная татуировки; пупок позолочен. Ногти она выкрасила хной, выменянной у проходивших мимо торговцев-турок.

Клерфэ быстро поцеловал ее и взял несколько фиников. Сна прошептала ему на ломаном французском, что шейх ускакал в соседнее племя, дабы забрать приманку для леопарда. Клерфэ равнодушно кивнул и отложил финики; они были невкусными. В палатке чувствовалось что-то чужое и новое; он пока еще не знал что.

Пока он оглядывался, Узкобедрая ворковала с ним, потом вдруг резко вскрикнула и слабо вцепилась зубами в его руку. Браслеты зазвенели, дыхание сделалось прерывистым, она издавала низкие гортанные звуки. Ее кожа мерцала в сумерках, словно кованая медь.

Клерфэ осторожно высвободился и положил девушку на циновку в углу палатки.

— Дуду гоо, — сказал он, не погладив Узкобедрую и даже не посмотрев в ее сторону. Теперь он понял, что ему не нравилось в палатке — запах хищника. Потом он обнаружил дыру в углу и заглянул в нее. Снаружи он увидел двух гепардов на цепи.

Это были гепарды из Малой Азии, потому что шерсть на их спинах была грубой, а бока — пятнистыми. Линии скул и передних ног были очень благородны. Почуяв его, звери зарычали. Один подошел совсем близко и принюхался. Он чуял существо чужой расы. Гепард остановился и взглянул на Клерфэ. Блестящие зеленые глаза были абсолютно неподвижны.

Клерфэ замер и не отрываясь смотрел в глаза хищника. Он забыл об Узкобедрой, которая для него позолотила пупок и выкрасила ногти хной. Не чувствовал, как она трясла его. Хотела оттащить. Касалась грудью его щеки. Гладила его. Испугалась. Отползла в угол. Подтянула тонкие колени и уселась неподвижно…

Резко стемнело. Человек и зверь молча лежали друг против друга. Узкие глаза гепарда расширились. Зрачки увеличились. Они горели темным пурпуром. Глаза пылали. Клерфэ лежал не двигаясь.

Зверь вдруг отскочил в сторону и дружелюбно зарычал. Зазвенела цепь. Послышались голоса. В шатер вошел шейх, за ним — Тощий. Он увидел, что темно и что Белый наедине с Узкобедрой.

Шейх сказал, что рано утром будет охота с гепардами и что нужно приготовить для зверей колпаки. Еще несколько людей

вошли в шатер. Сказочник рассказал историю про эмира страдавшего любовным недугом, и про жену водовоза, которая излечила его. Но Клерфэ был рассеян и молчалив. Спать легли рано.

На следующее утро Клерфэ разбудило фырканье зверей. Он быстро встал и вышел из шатра. Пустыня в утреннем тумане напоминала покрытый тонкой глазурью оттиск акватинты на золоте. Поблескивали зубы лошадей. Шейх надевал на гепардов колпаки. Затем тронулись в путь.

За солончаковыми растениями и кустами колючки обнаружились несколько павианов. Огромными прыжками они умчались в заросли тамариска, будто их и не было. Вдруг лошадь Клерфэ испугалась и задрожала. На земле свернулась в кольцо черная лента — гадюка.

Когда подъехали к мясистым кустам алоэ, среди которых росли одиночные бальзамовые деревья, Тощий заметил стадо антилоп. Все поскакали за ближайшую гряду холмов, чтобы приблизиться к животным с подветренной стороны. Потом шейх с гепардами осторожно пробрался вперед. Подойдя достаточно близко, он снял со зверей колпаки и отвязал их. Те почуяли запах и осмотрелись. Потом беззвучно поползли по земле.

Козел с седой бородой резко вскинул рога. С холма скатилось несколько камней. Свист — и вот уже все стадо удирает на полном скаку, а за ним — хищные кошки. Все вскочили на коней и ринулись следом.

Тонкие, вытянутые антилопы неслись по песку пустыни, длинными прыжками, едва касаясь земли.

Но гепарды преследовали их; подобно серым молниям, неслись они вперед: беззвучная, настигающая смерть.

Клерфэ видел, как сокращается расстояние, как хищники мощными прыжками приближаются к добыче, он чувствовал жажду убийства, которая сообщала их стальным лапам эту необыкновенную выносливость. Разве внутри него не росла, не сплеталась, словно паутина, звериная ярость? Она рвалась наружу, скрючивала пальцы, пробегала дрожью по всему телу, захлестывала темной волной, смывая с него что-то: имя, жизнь — все равно. Не превратилась ли его кожа в шкуру гепарда, не его ли это рык раздался? Он резко крикнул и с силой пришпорил кобылу.

Гепарды были уже на расстоянии нескольких метров от стада. Туг вожак остановился, выставил рога. Но бежавший первым гепард гибко прыгнул на него сбоку, вцепился в загривок и прокусил вену. Кровь залила голову хищника. Козел пошатнулся и рухнул. Жаждущий крови зверь тотчас отпустил ею и убил

козленка. Тем временем второй раздирал живот беременной антилопы. Лишившееся вожака стадо развернулось и помчалось на всадников. Защелкали затворы винтовок, лошади понеслись галопом, стадо разделилось, началась травля.

Когда Клерфэ снова обрел способность мыслить, он обнаружил, что остался один в долине. Он соскочил с кобылы и похлопал ее по шее. Перед ним около кактуса с красными крапинками сидел тушканчик. Клерфэ усмехнулся.

Он видел, что Тощий целится в него. Вдруг подумал: я должен посмотреть на него! Остановить его взглядом! Крикнуть ему, что насчет Узкобедрой все неправда!

Но потом им снова овладело то странное оцепенение; замерев, он вновь оказался во власти прежних чар. Но разве он не хотел очутиться в них снова?.. Усилием воли он поднял голову и улыбнулся.

Тощий не мог понять, ирония это или что-то другое. Он выстрелил, и Клерфэ медленно упал. Лицом в песок. Там он и остался.

(1923)

Кай

У залива Инглфилд доктор Кнудсен обнаружил не только паррии и некоторые виды камнеломки, но еще и гравилат. Значит, наступило лето. Через две недели снег стал влажным и начал проламываться под собаками. Участники экспедиции каждый раз все вместе вытаскивали застрявшие сани. Кнудсену с большим трудом удавалось уследить за инструментами и коллекциями, потому что эскимосы ослабли и норовили «потерять» тяжелые грузы. Наконец прибыли в Эту. Жители выбежали из домов, принесли путешественникам сало и мясо тюленей. Было решено переночевать и осмотреть коллекции, чтобы потом уже без специального оборудования предпринять поход к Северному полюсу. Правда, эскимосы пугали, рассказывая о судьбах последних экспедиций. Кнудсен колебался. Решили пойти к Каю, чтобы уговорить его отказаться от запланированного похода и отвезти богатые коллекции на Баффинову Землю — тогда они успеют вернуться отсюда вместе с китобоями. Но Кай только качал головой и не хотел ничего слушать.

Говорили, он учился в Стокгольме, но точно никто ничего не знал. По слухам, он был богат и пользовался уважением, у него была замечательная жена, которую он оставил безо всяких причин. Было известно, что он уже дважды пытался пробиться к Северному полюсу, один раз с Новой Земли, второй — по Берингову проливу. Теперь он прошел с эскимосами на собачьих упряжках от Земли Короля Вильгельма через паковые льды Гренландии до Эты.

Он искал в жизни то, чем мог бы наполнить свое существование. Он был слишком проницательным и разумным, чтобы путать ослепляющие чувства и жар в крови со своими настоящими желаниями. Благодаря этому Кай быстро достиг той грани, за которой разверзается хаос. Так как к тому времени он забыл, что такое счастье, как сельскохозяйственный инспектор забывает со временем, что такое Троянская война, которую он изучал в школе, а, кроме того, пятьдесят или сто лет временного пребывания по эту сторону поверхности земли казались ему слишком коротким сроком, чтобы начинать что-нибудь полезное, он, не долго думая, направил свои усилия в одно русло: полет над безбрежными морями, над дальними, покрытыми вечным льдом вершинами, над бескрайними просторами — только полет. В таком настроении он и начал экспедицию, которая должна была стать его судьбой.

Когда снегопад снова прекратился, Кай спросил, кто пойдет с ним. Вызвались Кнудсен и четыре эскимоса. На сани нагрузили оружие и запас провианта на два месяца. Собаки отдохнули, и теперь их хвосты стояли торчком. Вскоре Эта исчезла в облаке снежной пыли.

Когда они пересекли ледник Гумбольдта, Кай подстрелил двух тюленей, а Кнудсен — овцебыка. Сделали привал на два дня. Дальше на восток растительность постепенно прекратилась. В последующие дни удалось добыть двух тощих зайцев. В конце концов пришлось пустить в ход запасы провианта. По вечерам над линией паковых льдов Земли Вашингтона висело полярное сияние, медленно распадавшееся на зеленые и желтые полосы. Но последняя красная полоска светилась над горизонтом всю ночь. Шел снег.

Собаки очень медленно продвигались вперед; ветер почти сносил их с ног. Животных перевели на половинный рацион. Ночью три собаки перегрызли кожаные ремни, которыми они были привязаны к колышкам перед палатками, и сожрали самое хорошее мясо. Кнудсен заболел. Эскимосы сообщили, что видели, как по берегу, переваливаясь, уходили от океана пингвины. Наступала суровая зима.

Дарьяк, лучший охотник на тюленей, предложил Каю повернуть назад. Но тот только покачал головой и даже не стал слушать.

Наконец добрались до фьорда Де-Лонга. Но хотя здесь и попадались участки воды, не покрытые льдом, тюленей видно не было. Кай приказал закопать бутылки с сообщениями о ходе экспедиции и установить над ними каменную метку. Потом он подсчитал, сколько осталось провианта. Его хватало еще на месяц. Кнудсен очень ослаб. Он сказал Каю, что это безумие. Но тот только улыбнулся в ответ.

На следующий день на широте 83°12′ они обнаружили установленную в груде камней перекладину от саней, а поблизости следы белых медведей. Через четыре часа нашли медный цилиндр с сообщением Локвуда от 12 февраля 1882 года. Только день спустя им удалось откопать пакет с провизией. Банки с пеммиканом[6], хоть и долго пролежали, но их содержимое казалось совсем свежим. Кай велел забрать четыре банки, а остальное закопать, чтобы на обратном пути у них был запас. Потом пошли дальше.

Растительность совсем исчезла. Двое саней сломалось, но их кое-как удалось починить. На небе все чаще появлялось северное сияние. Отощавшие собаки упрямо ложились на снег; они не могли больше идти. Приходилось слезать с саней и идти впереди

собак, чтобы они шли следом. Животные покрылись струпьями, их шерсть поблекла. Хвосты повисли. У Кнудсена, кажется, началась цинга. Кай хранил молчание.

Ветер начисто подмел ледники и подталкивал боязливо поскуливающих собак с санями на блестящем льду. Кай приказал сделать для них «тапочки»-камикры из меха и привязать к лапам. Вскоре после этого Дарьяк провалился в расщелину, покрытую снегом, и сломал руку. Собаки отказывались идти дальше. Кай распорядился убить трех из них и скормить их мясо остальным; те рычали и только на следующее утро согласились съесть жесткое мясо.

Тогда все пришли в палатку Кая. Но никто не хотел начинать разговор. Наконец Кнудсен решился. Они уже на расстоянии двадцатипятидневного перехода от склада. Провианта осталось всего на двенадцать дней. Если выдавать половинные рационы, то на двадцать четыре. Собаки истощены, люди исхудали и заболели. Нет смысла пытаться продвинуться вперед хотя бы на шаг, потому что потом не будет сил вернуться. Да и сейчас возвращение более чем сомнительно.

Кай долго смотрел на него. Потом сказал:

— Ты прав. — Он пошел к саням, оттолкнул одни из них в сторону. Взял пять собак и привязал их к колышку в снегу в стороне от других. Уложил на сани провиант и сказал Кнудсену: — Нас шестеро, у нас шесть саней и тридцать две собаки. На одного человека приходятся одни сани и пять собак. Верно? — А когда тот, не понимая, кивнул, Кай спросил: — Там на санях не слишком много провианта для одного?

Кнудсен покачал головой. Кай, уже отвернувшись, сказал:

— Вы завтра поедете назад. До склада доберетесь, если забьете и съедите еще пять или шесть собак. Продуктов вам должно хватить до бухты Гумбольдта. Там вы, может быть, найдете зайцев или тюленей. Если нет, снова будете есть собак, а в пятидесяти километрах от Эты разобьете лагерь, залезете в мешки и пошлете Дарьяка с последними собаками вперед, чтобы за вами пришли из Эты.

Когда Кнудсен вопросительно посмотрел на него, Кай бросил коротко: — Я иду дальше…

Его невозможно было разубедить, хотя все очень старались, даже хотели применить силу. Когда Кнудсен стал доказывать, что это верная смерть, Кай сказал только:

— Я знаю… — Потом замолчал и посмотрел на север.

На следующее утро они, наконец, отказались от попыток уговорить его. Они должны были вернуться, иначе все погибнут от голода. Кнудсен плакал, когда целовал Кая на прощание.

Потом они развернули сани.

Кай стоял перед палаткой и смотрел им вслед. Они что-то кричали ему и махали руками. Махали. Махали. В паковых льдах играли кобальтово-синие, нежные, как звуки скрипки, тени; очертания глетчеров светились, словно изумруды. Мир вокруг Кая блистал.

Машущие фигуры становились все меньше. На Кая нахлынули воспоминания о проведенных в мечтаниях ночах, библиотечных залах, о звуках колоколов, огромных лугах, облаках, об одиночестве; о едкой иронии жизни, о полетах над жаркими пропастями желания; о нежной женской груди и узких, очень холодных руках; о глазах и теплоте, теплоте и прекрасном самообмане.

Люди, все еще продолжавшие махать, исчезли за поворотом. Воспоминание пропало. Что теперь? Это — его жизнь? Он и сам не знал. Он уже забыл свое прошлое. Он запряг собак. Дал им поесть. И еще раз посмотрел назад. Вдруг всё, что было вокруг, пропало, он забыл о понятиях жизни и смерти, смысла и цели, многогранность жизни исчезла; сверкая, открылась перед ним его снежная равнина, оказавшаяся по ту сторону слов и чувств. И теперь, когда он поднял ногу, чтобы сделать первый шаг в направлении Северного полюса, шаг, который приведет его к смерти, он почувствовал неожиданный, несказанный подъем, будто эта экспедиция важнее всего остального, будто в эту минуту он, наконец, начинает жить и его существование наполнится смыслом; будто в безудержном порыве он вырвался за пределы своего существа, приблизился к тайне бытия, постиг смысл жизни. Казалось, небо стало его мозгом. Океан шумел в его артериях и венах. Он поднял руки и сделал шаг на север.

(1923)

Испытание Куна

Когда старец Лао-цзы снова вернулся с перевала Хан-Гу в стране Джоу в провинцию Хунань, император устроил в его честь праздник в Лояне, на который пришел и Кун-цзы, пользовавшийся тогда уже большой славой, с несколькими своими учениками.

На закате аромат цветов персика усилился, и Кюн-Юйсан в одеянии дракона начала танцевать танец Парящей. На ее бледном лице глаза казались неподвижными; в ней чувствовались благородство и порода. Ее колени были так прекрасны, что Лю-Цзеки, поэт, заплакал.

А Лао-цзы спросил:

— Кун, что в Кюн-Юйсан можно было бы назвать вечным, что в ней ближе всего к истине?

Но Лю-Цзеки опередил Кун-цзы. Он воскликнул:

— Ее красоту! У нее ноги газели, а под коленом наверняка бьется голубая жилка — так белы ее руки.

В ответ старец улыбнулся, а любимый ученик Кун-цзы сказал:

— Ее украшения! Кажется, будто их изготовили демоны: так искусно они убраны резными камнями.

Но старец улыбнулся и посмотрел на Кун-цзы.

Тогда тот ответил:

— Не ее красоту и не ее украшения. Но то Невыразимое, что стоит за ней. Тысячекратно переплетенные темные нити таинственной взаимосвязанности бытия иногда проявляются отдельным фрагментом, отдельным узлом в определенном человеке. Он становится мостом и факелом. Но вечен не человек, который освещает тайну, вечна сама тайна. В Кюн-Юйсан вечно искусство.

Старец снова улыбнулся, разглядывая светлячка, который запутался в его бороде. Потом он сказал:

— Если бы я спросил, что можно назвать самым мимолетным в танце Кюн-Юйсан, то вы, наверное, ответили бы: отблики света фонарей на ее оби и ярком шелке ее кимоно; потому что они изменяются уже в то мгновение, когда возникают, и исчезают, прежде чем возникают. Кун, ты знаешь тайную мудрость: если хочешь крепко завязать, сначала нужно растянуть. Мир можно познавать, не выходя из комнаты; чем дальше уходишь, тем меньше понимаешь. Избранный неподвижен, но он достигает цели. Покой — это больше чем буря, потому что он приходит и до нее, и после. Великое дело быстро не свершить. Великое должно быть недостижимым и потому казаться бесконечным. Высокие звуки не слышны. Идеальная жизнь кажется пустотой. Смысл

бытия заключается в небытии. А вечное — в преходящем; здесь круг замыкается. Что может быть ближе противоположностей? О, вечность бликов!.. Разрешите мне на час спуститься к реке. Одному…

И он зашагал вниз через лес, мимо Лю-Цзеки, который в тени шелковицы целовал колени Кюн-Юйсан. Но Кун-цзы не видел их.

(1924)

Тотчас

I

Леди Кинсли хотела было обернуться, чтобы еще раз из-за пальм посмотреть на гавань и бухту Рио-де-Жанейро, но вдруг у нее появилось странное чувство, будто бы то, что оказывалось в поле ее зрения, выпадало из времени, становилось волшебным, заколдованным, превратившимся в бесконечность и неподвижнось. Город был скован белым молчанием, на пляже беззвучно лежала волна прибоя, как небрежно брошенный у края моря кусок кружева, резные листья пальм, большие и молчаливые, словно врастали в жаркий полдень.

Игривый рой мыслей, которые, словно стая белых голубей, порхали в голове леди Кинсли, нарушили топорно-строгие линии, возникшие под влиянием пейзажа и сдерживавшие, словно сети, свободный полет. Подобно решетке, эти линии окружили ее мысли, воздвиглись над ними и вдруг без сопротивления одержали верх, словно рок, судьба.

Леди Кинсли, не в силах освободиться от наваждения, поняла, что наступила одна из тех минут, когда жизнь внезапно останавливается, а вещи приобретают такую странную и страшную силу, что человек делается совершенно беспомощным; привычная жизнь прекращается, и все связи исчезают. Леди Кинсли почувствовала, что в эти мгновения таинственного подчинения законам природы она оказалась во власти случая и даже незначительное происшествие может оказаться решающим для всей ее дальнейшей жизни.

У леди Кинсли прехватило дыхание, она словно была готова бесцельно жертвовать собой или ждала неизвестно кого. Леди Кинсли забыла, что она человек и способна к познанию, она чувствовала свое родство с природой, свою открытость и готовность ко всему.

Из-за угла показалась лама. Она медленно шла по серовато-голубым камням дороги. Рядом с ней двигался погонщик. Расстегнутая рубашка на его груди обнажала бронзовую от загара кожу. Запущенная борода оттеняла губы. Проходя мимо, он коснулся шляпы и поздоровался. Потом с громкими криками погнал животное дальше.

Его голос звучал как колокол. Поднялся легкий ветер, листья пальм зашелестели, глухо зашумело море; леди Кинсли провела рукой по глазам: что это было?

Она посмотрела вслед мужчине. Он медленно шел рядом с ламой. Ненадолго задержался перед низеньким домиком. Леди Кинсли посмеялась над собой. Чтобы доказать себе, что она не потеряла мужества и что ее страхи беспочвенны, она последовала за погонщиком и спросила дорогу. Он ответил коротко и дружелюбно. С неожиданным облегчением, преисполненная благодарности неизвестно за что, она протянула удивленному мужчине руку, которой он, помедлив, коснулся, и быстро пошла в долину, где ее ждала машина.

II

Фредерик О'Коннор принес леди Кинсли муаровые орхидеи, в середине их лепестков были пурпурные черточки. Она медленно вдохнула прохладу цветов и ощутила на щеке их бархатное стрекозье касание.

Беседа с Фредериком О'Коннором подействовала на нее так успокоительно, что это даже неприятно удивило ее, и она невольно задалась вопросом: а почему, собственно, ее надо было успокаивать? Мимолетно ей вспомнилось дневное происшествие, но она сразу отбросила эти мысли. Мир был слишком надежным и знакомым, чтобы думать об этом.

За чаем леди Кинсли почувствовала раздражение. Она постоянно возражала О'Коннору и сердилась, когда тот не соглашался. И хотя она прекрасно понимала, что не права, спустя некоторое время все повторялось. О'Коннор был удивлен, принял ее раздражительность за усталость и плохое самочувствие и решил быть с ней осторожней. Но леди Кинсли поняла это и снова рассердилась. В конце концов она сослалась на мигрень и ушла в свою комнату.

Леди Кинсли знала, что единственный способ улучшить плохое настроение — бесстрастно проанализировать душевное состояние. Она честно попыталась разобраться в себе, но результат ее не удовлетворил.

День был словно присыпан пеплом. Любимые привычки казались пошлыми и никчемными, традиции — бессмысленными. Казалось, будто буря в подсознании отменила все системы координат и привычные оценки. Появилось непонятное беспокойство, с которым леди Кинсли не могла справиться.

Поездка в порт отвлекла ее. Скользящая под лодкой вода успокоила ее нервы, потому что она и сама не была спокойна, создавала ощущение полета и одновременно — чувство защищенности. На поверхности вода была прогрета солнцем,

однако глубинные течения оставались холодными.

Ужиная с Фредериком О'Коннором, леди Кинсли внезапно поняла, что между ними принципиальные, сущностные различия. Удивительно, как она умудрялась не замечать этого раньше. Корректность, которую она ценила в нем, наскучила ей, тон беседы, как у старых добрых знакомых, показала! леди Кинсли неприятно интимным. Она раздосадованно попрощалась.

Потом она велела подать машину и поехала в театр. Там она прослушала первый акт оперы. Прежде чем начался второй, леди Кинсли покинула ложу. Она нерешительно шла по фойе. Ее беспокойство превратилось в возбуждение, она ощутила легкую лихорадку, предчувствия обступили ее, как боязливые левретки.

Перед зданием театра свежий ветер вдруг нагнал на нее резкую тоску по ночному воздуху Корсерадо. Леди Кинсли тотчас отдалась ей, потому что эта тоска была самым сильным и ярким чувством за весь день и потому имела право на существование. Она пошла вверх по улице.

III

Ночь была похожа на траурное платье, такими темными были тени, притаившиеся под деревьями. В листве запела одинокая птица; потом — шелест и тишина. Дорога была освещена луной. Леди Кинсли шагала по ней, наклонив голову, не поднимая глаз. Когда лунный свет упал на ее лицо, она огляделась.

Внизу лежал город, освещенный тысячами огней, словно сверкающее украшение на бархате ночи. У берега отблески света рисовали на спокойной воде дрожащие спирали. На юге огни карабкались по склонам прилегающих к городу гор. Они сверкали в горах, как светлячки. По морю тянулась сотканная из лунного света дорожка, на ней выделялась черная преграда Сахарной Головы, как тяжелые ворота перед заколдованным царством.

Леди Кинсли обернулась. Пальмы протягивали к ней свои перистые листья. И тут она вдруг все поняла.

Кровь ударила ей в голову; все барьеры пали, разрушились, разбились, смылись, забылись. Кровь пульсировала — в висках, растекаясь, распространялась по всему телу, пробуждая первобытные, животные страсти. Дорога в призрачном лунном свете казалась сонной артерией, по которой текла серебристая кровь; казалось, сжавшееся в комок будущее, тяжелое, как пчелиные соты, притаилось за скалами у поворота. Мир был как нераспустившийся бутон лотоса; одно дуновение — и он раскроется.

Леди Кинсли шла дальше, ничего не замечая. Она чувствовала, что ритм ее шагов совпадал со страстной пульсацией в крови, сомнамбулическое упрямство было ей защитой. Все ворота были раскрыты, печати со всех тайн сорваны. Всё было просто и хорошо; и на все вопросы был один ответ. Он был по ту сторону слов и не мог затеряться среди других понятий. Надо было идти к нему, чтобы он обнаружился.

Леди Кинсли шла, ее подталкивали пульсация крови и внутренняя дрожь. Исполнением желаний стал вынырнувший из темноты низкий домишко, в котором светился красноватый огонек. Переступив через порог, она вдохнула аромат скотного двора, который показался ей до боли знакомым, и ничуть не испугалась, когда из комнаты вышел мужчина.

В полоске света, пробивавшейся из-за двери, она увидела бронзовую от загара грудь и расстегнутую рубашку. Тогда, осознав вечную участь женщины, она склонила голову. В смиренной, детской позе ожидала она мужчину, который не знал, что происходило в ней, а просто молча, торопливо овладел ею.

(1924)

Ковровщик из Бейрута

Мы уже целый день наблюдали заснеженные горные вершины Ливана, но погода была неспокойная, ветер дул с берега, поэтому «Энне Лейн» не могла пристать в Бейруте. Только к вечеру бриз успокоился, и мы бросили якорь на рейде.

Мортон хотел немедленно сойти на берег. Четырнадцать дней он видел только небо и воду, а по вечерам слушал меланхолические мелодии, которые наигрывал на гармони второй унтер-офицер. Нас доставили на маленькой шлюпке к причалу.

По сходням к нам кинулись торговцы апельсинами и менялы. Мы передали наши чемоданы бою-арабчонку из гостиницы. Писцы старались заговорить с нами, молчаливые бедуины пытались залезть к нам в карманы, нищие выпрашивали бакшиш, грузчики кричали, лебедки скрипели; теплый южный вечер с ароматом апельсинов окружил нас.

На глинистых улицах городских окраин перед домами сидели на корточках жители. Их молчание после шума гавани завораживало. В одном из маленьких кафе мы заказали попить. Хозяин принес нам воду со льдом, а к ней — крошечные мисочки с лесными орехами, ягодами, нарезанной редиской, стручками гороха и кубиками холодной картошки. Он поставил все перед нами на пол и молча сделал нам «салям». Потом опять уселся на корточки и погрузился в мечты над своим наргиле.

Издалека доносился шум моря. К нему примешивалась сонная, напевная речь владельцев магазинов, она монотонно текла между домами, над которыми сияли снежные вершины гор. Аромат апельсиновых рощ стал сильнее.

Мы спросили дорогу и медленно пошли через рощу к Собачьей речке. Она была каменистой и почти пересохшей. В ней отражалось голубое небо.

На обратном пути нас застигли сумерки. Ночь наступила почти внезапно, как только мы дошли до первых домов. Нам пришлось расспрашивать, как добраться до нашего отеля; но местные жители качали головами, закутывались в свои покрывала и торопливо проходили мимо. Так мы и шли наугад по темным переулкам в надежде попасть на оживленную площадь и там продолжить расспросы.

Перед нами в темноте что-то высветилось, видимо, белая одежда. Вдруг Мортон сказал:

— Это женщина.

Тень и свет переливались на ее одеянии. На бедрах платье

натянулось; там оно казалось светлее. Было что-то странно соблазнительное в женщине, молча бредущей во тьме в неверном сиянии звезд. Случайное и безымянное всегда влечет и соблазняет.

Почти непроизвольно мы двинулись за ней. Ритмично, в такт ее шагов шла игра света и тени на спокойно ниспадающем арабском платье. Дома отбрасывали длинные, густые тени, окаймленные легким блеском. Улицы стали шире, где-то приглушенно закричал ишак, неожиданно, как выстрел, на площадь упал поток света из кафе. Оружейник, который раньше работал в Сан-Франциско, подсказал нам дорогу.

Когда, спустя несколько дней, я сидел на базаре и рассматривал монеты, ко мне подошел взволнованный Мортон и сказал, что опять видел ту женщину. Она шла в дом ковровщика. Купив еще несколько метликов с дырочками и два зазубренных, погнутых бешлика, я нерешительно пошел с Мортоном к тому дому.

Ковровщик сидел за работой. Он предложил нам подушки и сигареты. Мы разулись и устроились на подушках. Потом он поклонился и поприветствовал нас:

— Лельтак саиде.

Он хлопнул в ладоши, и появился слуга с маленькими чашечками мокко и несколькими кусочками хлеба. За ними последовал виноград и маслины.

Когда я торговался со стариком, желая купить маленький зеленый молитвенный коврик, вошла женщина. Она не была укутана в покрывало. Мортон подошел к ней и начал разговор. Я предостерегающе посмотрел на него. Он этого не заметил. Но старик улыбнулся.

Я спросил его, разве его жены не сидят в своих покоях. Он испытующе посмотрел на меня, потом сказал:

— Никто не может построить такие крепкие стены, чтобы женская хитрость не смогла их преодолеть. Непреодолимыми бывают только стены, созданные мыслью. Можно привязать человека к вещам, тогда судьба вещей станет и его судьбой…

Он рассказал, что по линии матери у него есть предки из Персии. Его отец ткал ковры. Его дед тоже провел жизнь, сидя перед пестрым шелком. На самом деле за всю жизнь можно сделать только один ковер: его отцу понадобилось тридцать лет; чтобы выткать молитвенный ковер для калифа. Он сам трудится над неоконченным ковром, который стоит сзади у стены, уже восемнадцать лет. Столько же, сколько ею жене.

Я попросил разрешения посмотреть этот ковер. Он пригласил меня зайти. На обратном пути я упрекал Мортона, что он

недостаточно осторожен; с мусульманами шутки плохи, когда речь идет о женщинах. Мортон рассмеялся и указал в направлении своего консульства.

Я часто смотрел, как старик работает. Ковер имел необычный узор. Из сплетающихся в орнаменте звериных морд складывались две фигуры. По краям их черты казались неестественными и застывшими; в середине они оживали, складываясь из колеблющихся линий. Фигуры уже были закончены, осталось доделать головы.

Молча выводил старик разноцветные линии; казалось, он не замечал, что Мортон шепчется с его женой. На натянутом холсте все чаще появлялся загадочный орнамент неземного голубого и пурпурного цвета сирийских раковин. Я часами просиживал в прохладной мастерской и смотрел на работу старика. В полутьме переходящие друг в друга цвета наполнялись таинственной жизнью; один цвет переливался в другой, они переплетались, как играющие кобры.

Старик уже приступил к головам *своих* фигур, когда Мортон сказал мне, что вечером он встретится с женщиной наедине. Мастер работал лихорадочно, быстро, почти не поднимая глаз и что-то бормоча себе под нею. О Мортоне он не говорил.

Несколько дней я был по делам в окрестностях Бейрута. А вернувшись, сразу отправился к ковровщику.

Был вечер. В мастерской горела открытая масляная лампа. Старик работал. Его жены не было. Мерцающий свет лампы освещал ковер.

Краски у основания ковра напоминали языки пламени. Холодные арабески, словно шипы, впивались в болезненно распростертую бледную плоть ковра. Нежное движение в середине замирало по краям ковра; здесь, в абстрактных орнаментах, таилась смерть, она словно раздирала когтями вопящие линии, доводила их до мертвого оцепенения, крепко вцеплялась в каждый оттенок цвета — так руки отчаявшихся пленных сжимают решетку. Ковер жил. Под желтыми торопливыми руками старика возникало бледное лицо. Мне даже казалось, что я вижу глаза Мортона на бледном шелковом черепе.

Мортон вернулся в отель поздно вечером. Я просил его уехать вместе со мной, прежде чем старик что-то заметит и отомстит. Уговорить Мортона было невозможно. Почти полночи он бредил о вечере в гранатовой роще на берегу реки. На следующее утро у него немного болела голова. Он принял хинин и встал, чтобы пойти в колонию.

Я зашел к старику и предложил ему продать мне ковер. Старик отказался, потому что работа еще не закончена. Я

ответил, что хочу как раз незаконченную, и предложил ему тысячу соров. Он посмотрел на меня неожиданно злобно. Тут вошла его жена. Она была бледна и казалась больной. Старик не обращал на нее внимания, он смотрел только на свой ковер. Головы были готовы. Фигуры тянулись в стилизованных позах от края до края ковра.

Днем Мортон вернулся домой. Он жаловался на рвоту и лихорадку, со стонами хватался за голову и громко просил выстрелом согнать с его лба голубые и пурпурные когти. Ночью я привел врача. Когда мы вошли в комнату Мортона, он уже был мертв. Рядом с ним лежал револьвер, в котором не хватало одной пули.

Я сразу же приказал арестовать ковровщика. Но он смог доказать, что точно в то время, о котором его спрашивали, он был в своей мастерской и как раз заканчивал большой ковер. Куда подевалась его жена, он не знал. Предполагал, что у нее была любовная связь с каким-то путешествующим европейцем; может быть, они сбежали вдвоем.

(1924)

Озеро в ночи

Мы сняли поблизости от итальянских озер один из тех небольших домиков, где можно жить в полной изоляции от остального мира. Это было приземистое дряхлое строение с несколькими комнатушками. Штукатурка на стенах облупилась, а меблировка состояла из нескольких примитивных предметов первой необходимости с явными следами длительного использования. Двери не запирались.

— В наших местах не воруют, — сказал нам хозяин домика, когда показывал нам жилище, — да здесь и воровать-то нечего…

Обстановка нас не испугала. Наши большие чемоданы вполне способны были заменить шкафы, простая мебель соответствовала нашим желаниям, а что касается отсутствия замков на дверях… В индийской глуши мы жили в еще менее защищенных бунгало, а кроме всего прочего — при нас ведь были пистолеты.

Хозяин домика пообещал ежедневно присылать нам в помощь свою дочь Мариетту, поскольку жил с семьей неподалеку. Она могла и готовить для нас; кроме того, в нашем распоряжении был небольшой садик.

Из-за этого садика мы тут и поселились. Он был совсем диким и заросшим. Высокий скальный дуб осенял домик в полдень своей тенью; там мы повесили гамаки. Вдоль всех дорожек в густых зарослях вьющихся растений пышно разрослись помидоры, зрелые блестящие плоды висели плотными гроздьями на зеленых ветках. Фикусы огораживали садик с боков. Между ними высилась пиния, словно заколдованная египтянка, окруженная бронзовыми от загара варварами. Ветер не шевелил ее крону; жесткая, почти прямоугольная, изогнутая и устремленная ввысь, она словно обрезалась сверху по прямой линии и была похожа на огромный светильник, в котором подрагивал голубой огонек неба. Виноградные лозы карабкались по южной стене домика и тяжелой волной растекались по крыше. На дорожках грелись под солнцем ярко-зеленые ящерицы. Когда земля вздрагивала от приближающихся шагов, они стремительно ныряли в гущу листвы, цветов и вьющихся растений. Частенько они выглядывали из-под какого-нибудь куста и смотрели своими древними, странно окаменевшими глазами.

Мариетта помогла нам разложить вещи. Она была светловолоса и изящна; лишь разрез глаз выдавал в ней итальянку. На шутки Рэндолфа она отвечала молчанием. Спокойно и серьезно она доделала свою работу и вскоре попрощалась. Вечером мы лежали на берегу озера и глядели на

заходящее солнце. Рэндолф рассказал мне об одной женщине из Каира, которая подарила ему на прощание небольшую фигурку, покрытую синей патиной, и очень просила всегда носить ее с собой, но смотреть на нее только после захода солнца. Теперь ему иногда кажется, будто лицо у этой статуэтки величиной с пряжку похоже на лицо той женщины, и он понимает, почему она сказала, что каждый раз, когда он посмотрит на фигурку, она будет чувствовать нежное прикосновение его рук.

Стемнело. Рэндолф умолк. Словно скрытая дрожь, пробежали по озеру сменяющие друг друга краски. Пурпурное облако как по волшебству нарисовало дорожку на воде и пронизало светом ее верхний слой; однако глубже свет пробиться не смог — его отразил глубинный кобальт. Под ним причудливо извивалась полоса мрачного, черно-зеленого цвета. Быстрые виражи подплывающих рыбок отбрасывали на нее светлые блики; в прозрачной воде было видно, как они всплывают и мгновенно соскальзывают вниз — стремительные водные метеоры.

Вечерний ветерок усилился. Он донес к нам ароматы сада. От озера повеяло прохладой. Свинцово-серая ночь поднялась от озера и раскинулась шатром над нами. Кроны оливковой рощи зашумели. С западного берега послышалось громкое пение лягушек. Среди фикусовых крон внезапно повисла огромная грустная луна. Вскоре она, уже в форме ковчега, появилась над пинией. Потом луна как-то нерешительно соскользнула на свободный кусочек неба, который терпеливо ее дожидался, но все же оставила темным силуэтам деревьев тоскливую светлую кайму.

Через час луна одна царила в небе, изменив все вокруг. Она превратилась в мечту, окруженную серебряным ореолом. Шум приобрел звучание, движение стало жестом, весомость — легкостью. Словно мерцающий опал слабо светилось озеро и фосфоресцировало в матовом блеске. Горизонт обхватил мир размытой кромкой. Нематериальный свет поднимающегося по небосводу созвездия пронизал все вещественное своим космическим ритмом. Ночь запела.

Лишь спустя какое-то время мы поняли, что это пели люди. Голоса доносились с противоположного берега озера. Там пели девушки, их голоса далеко разносились в прозрачном воздухе. Это была народная песня, грустная и прекрасная, — такая старинная, давно забытая песня, которую не найдешь в книгах. Звуки ее ветер донес к нам над водой, словно из какого-то другого мира.

Тут девичьим голосам ответили с другого, более удаленного берега, и пение это звучало уже глуше, словно призрачное эхо с

неба. Другие голоса подхватили песню, мягко вступил альт, сочные басы парней превратили мелодию в некий мистический хор, который громко прозвучал над ночным озером и вскоре умолк.

По озеру, казавшемуся черным в ярком свете луны, двигалась лодка с убранными внутрь веслами. В ней, выпрямившись во весь рост, стояла обнаженная девушка. Вдруг она, держась за края лодки, свесилась вниз и скользнула в воду. Другая девушка последовала за ней. Обе закружились в серебряном вихре брызг, временами воздевая из воды руки, полные света.

Вдруг где-то совсем рядом незнакомый голос вступил в далекий хор. Он был насыщен переполняющей душу пенящейся страстью, только что зародившейся и уже пышно расцветшей. Словно вечерний колокол, звучал этот голос, заглушая более низкие звуки ветра, воды и приглушенного эха, звонкий и вибрирующий, словно кристалл несбывшихся желаний и грез, утонувших в слезах, бешеный и нежный и в то же время печальный, как сама ночь.

Мы удивленно переглянулись.

— Это Мариетта, — прошептал Рэндолф.

Мы прислушались. Наверняка то была она. По голосу можно было понять, что она без одежды, ибо голоса обнаженных женщин по-особому звучат над озером ночью. Она умолкла, и сразу послышался плеск воды. Вскоре мы ее увидели. Она поплыла на самую середину озера. Мерцающая борозда вздымалась за ее плечами.

Когда серьезная и замкнутая Мариетта на следующее утро пришла к нам, она сразу же принялась за работу. Рэндолф, уже успевший порыбачить, влетел в дом с серебристой рыбиной в руках, собираясь поджарить ее на решетке. Он был в прекрасном настроении и пытался разговорить Мариетту; но та едва цедила слова и почти не отвечала на его вопросы.

Однако каждый вечер мы слышали ее пение, — она словно вырывалась из заколдованного дня под действием предательских чар. Рэндолф стал молчалив и погрустнел; с Мариеттой он говорил почти униженно. Ему даже не удалось уговорить ее поглядеть ему в лицо. Она робела и старалась не попадаться ему на глаза. Но он все равно с нетерпением ждал вечера; ведь он был молод.

Днем накануне отъезда Мариетта помогла нам упаковать чемоданы. Поскольку мы собирались выехать утром, а Рэндолф к тому же неважно себя чувствовал, он лег спать в полночь. А я решил еще немного побыть в садике.

Ночь была безветренная и лунная. Звезды буквально усыпали

небо. Словно дым от затонувшего космического корабля, тянулся по зениту Млечный Путь. Озеро было гладкое, как зеркало. С другого берега доносились обрывочные звуки. Грустная пастушья мелодия, исполняемая на волынке. Вперемежку с ней слышалась флейта, а иногда и скрипка. Скрипка звучала довольно невыразительно.

Тут в кустах что-то треснуло. Ящерицы прыснули во все стороны, сверчки умолкли. Чья-то ладонь отвела в сторону вьющиеся стебли, за ней показалась рука до плеча, потом ступня и белое колено — девушка, не заметив меня, медленно шла прямиком к дому. Широкая лунная дорожка протянулась перед дверью. Девушка ступила на нее, и ее осветило, словно прожектором: золотом поблескивали плечи и бедра, матовые фиолетовые тени залегли под мышками и чуть ниже талии. Дверь приоткрылась, и мрак цвета умбры, словно темная ряса, поглотил светлую фигуру девушки.

Она уверенно, как лунатичка, направилась прямо в комнату Рэндолфа. И неожиданно бросилась на спящего, с хриплым воплем обхватив его руками. От прикосновения влажной кожи к глазам Рэндолф проснулся, сел, мгновенно осознал реальность, скорее похожую на сон, и узнал Мариетту.

Еще не совсем освободившийся от сна, перенесенный из безвременья и бесконечности в тепло и радость нежданно свалившегося на него счастья, Рэндолф не выдержал внезапной атаки молодой крови. Она захлестнула его с головой и возбудила до такой степени, что он сам себе показался сказочным великаном. Рэндолф вскочил, не понимая, что произошло и происходит, и схватил девушку в объятья. Она вырвалась, он вновь схватил ее, она удрала в садик. Он бросился следом, задыхаясь от бега и душевного волнения. Она кинулась к озеру. Он очертя голову — за ней, и вода забурлила фонтанчиками, словно приветствуя желанных гостей. Началась захватывающая дух гонка; вода плескалась и хлюпала под ударами ищущих и манящих рук. На миг над водой показалась голова Мариетты, казавшаяся зловещей из-за черных бровей над темными провалами глаз.

Рэндолф хрипел и задыхался, прорываясь сквозь толщу воды. Он бил по ней ладонями, словно наказывая воду за то, что она поддавалась ему недостаточно быстро. Гребешки пены обрушивались на его голову, залепляя ему глаза и лишая его возможности видеть девушку. Упоенный азартом схватки с водой, он входил в озеро все глубже и глубже и чувствовал, как мягко вода встречала его колени, как она обтекала его и смыкалась за ним, ласковая, уступчивая, нежная и ненасытная. Он воспринял

ее игру как проявление какого-то загадочного единения и впадал во все возрастающий экстаз: избыток чувств распирал его, подбрасывал вверх, выражая себя в словах, которые вырвались из глубины души как зов и вскрик: «О… вода…Ты женщина… в тебе… все… все…»

Земля исчезла под его ногами, и он поплыл вдаль, сильно и равномерно разгребая воду толчками. Внезапно из вскрика родилась песня, мощная, опьяненная ночью, водой, звездами и блаженной любовью ко всему сущему. Рэндолф пел и плыл, могучими взмахами рук раздвигая несущую его стихию, пел без слов, без смысла, почти не осознавая, что делает, целиком занятый собой и своим чувством.

Он повернул обратно, оборвал пение и поплыл к берегу. Когда он вылезал из воды, с него текло, он весь был покрыт водяными жемчужинами, стройный и прекрасный. На миг он вдруг замер на месте — в такой позе, будто вода все еще захлестывала его шею и плечи. Потом с поникшей головой зашагал к дому.

У двери его ждала Мариетта, смиренная и готовая на все. Но Рэндолф ее не заметил; он совсем забыл, зачем выбежал во мрак ночи, и прошел мимо девушки. Она за ним не последовала. Может быть, догадывалась, что ему надо побыть одному и поразмыслить о причине, толкающей женщину к мужчине?

Она за ним не последовала.

Когда я зашел в его комнату, он крепко спал, рухнув поперек своего ложа. Утром мы уехали. Нас никто не провожал.

(1924)

Гроза в степи

Жара, словно ленивое животное, опустилась на ферму. Собаки спали в тени, у колодца кричали метиски, два креола спорили в подворотне за грязными картами, и монотонно кричал в своей клетке синий какаду.

Цепь коричневых холмов раскинулась за гасиендой, словно сброшенная монашеская ряса. По холмам взбирались гнущиеся от ветра кусты ежевики. Вокруг холмов были песчаные лагуны, в которых поблескивала серая соль. Потом начиналась степь, покрытая травой и дрожащей раскаленной дымкой.

Через окно, занавешенное от комаров марлей, пробивался молочный свет; несмотря на открытые окна, было душно и тяжело. Ру лежала на кушетке и не двигалась. Многое вокруг было ей непонятно, тут кипела жизнь, которой она не знала. Всего неделю назад она приехала с Норманом из Рио-де-Жанейро на его ферму. И теперь ей так не хватало моря и побережья, что она чувствовала робость даже перед мужем.

Переодеваясь, она услышала, как открылась дверь. Девочка-китаянка принесла полотенца и охлажденную воду. Ру взяла у нее и то, и другое, но девочка осталась в комнате. Она взяла блюдо и положила в него сильно пахнущие цветы. Когда Ру погладила ее по руке, та улыбнулась раскосыми глазами, но не произнесла ни слова.

Вошел Норман и склонился над Ру. Мимо лесов, в которых охотился Норман, прошел караван мулов из Сьерра-Кордова. Начальник каравана хотел обменять шкуру ягуара на необработанные агаты. При этом он показал индейскую нитку из оправленных в золото карнеолов и аметистов. Норман купил ее и принес Ру. Она надела нитку на пояс, но все равно оставалась грустной.

Когда вечерний ветер прогнал духоту, она покормила черепаху, жившую в саду. Каждый раз, когда животное подползало к ней, у Ру появлялась одна и та же ассоциация: камень ожил. Это сразу вырывало ее из ограниченного круга дневных мыслей. Жизнь словно приобретала многообразие и призывно пробивалась из кустов и камней. Ей казалось, что нужно только вспомнить какое-то забытое слово, чтобы и неподвижный мир очнулся от своего тупого зачарованного сна и присоединился к миру органической жизни. Может быть, камни скрывали плененную жизнь, которая в свете заходящего солнца сильнее стучала в неподвижную земную кору.

Черепаха отзывалась, когда Ру звала ее: «Н-ма». Странно

приковывающим был ее вечный взгляд из-под морщинистых век. Казалось, вокруг них должны расти хвощи и стрелолисты, которые некогда сотрясали ихтиозавры и гигантские ящеры. Но когда животное неуклюже тыкалось в кусочки мяса, оно было похоже на бедную, старую женщину, которая, погрузившись в свои мысли, торопливо поглощает обед.

Жара не спадала. Лениво бродили собаки. Сумерки окружали каждый шорох неестественным покоем. Между крышами и деревьями начали тревожно шуметь летучие мыши, кричали ночные птицы, акации пахли резко, как необработанная шкура, и в свинцовом блеске неясного света печально плыла красная луна; степь превратилась в коричневое серебро.

Ру подставила руки под жемчужные струи фонтана. Она чувствовала ритм тяжелого вечера, который был зачарованно-медленным, как пульс глубоко и спокойно спящего человека. Плечистый, Норман молча стоял перед степью, словно порт в море скользящего света.

— Давай проедемся верхом, — предложила Ру.

Когда они выехали, была ночь. Перед ними раскрывался простор, словно гигантские ворота, за которыми рокотало ожидание. Степь вдруг оглушительно зазвенела от топота. Откуда-то появились фыркающие мустанги, их окружили гаучо, и на тяжело вздымающиеся бока со свистом пали лассо. Когда ковбои узнали Нормана, защелкали револьверы, в яме затеплился огонь, гаучо спешились и подали Ру поводья.

Они рассказывали о гевеях у реки, о сборе каучука, о пумах и рыжих волках, которых они убили, о таинственных индейцах, которые, говорят, прячутся в лесах, и о странном свете, который иногда безлунными ночами появляется в пампе, как неясная угроза. Потом они сказали, что Мак должен поиграть им. Он был самым молодым. Но Мак посмотрел на Ру и запинаясь сказал, что струны на его гитаре порвались. Все замолчали.

Норман вытащил из седельной сумки табак, угостил всех и спросил о погоде. Гаучо сказали, что ветер принесет дождь; может быть, даже грозу. Норман свистом подозвал лошадей.

Некоторое время мужчины сопровождали их; потом одновременно повернули коней назад, помахали большими шляпами, прокричали несколько резких непонятных слов и галопом умчались прочь.

Тяжелая завеса темноты сомкнулась за ними, словно они торопливо тащили за собой ночь, как украденное добро. Глухо звучало эхо копыт быстро несущихся животных, словно отстающие на такт подземные кастаньеты. Через час Норман остановил лошадей; они спешились, легли в траву и

прислушались. Степь говорила; невидимые стада торопливо неслись в ночи, и их топот доносился по земле до прислушивающихся людей.

Когда они пошли дальше, держа коней под уздцы, им в лицо с такой силой ударила духота, будто раньше она притаилась, уцепившись когтями, на земле, а теперь попыталась набросить на людей предательские сети, чтобы утянуть их вниз. Животные заволновались и начали пританцовывать. Жара еще усилилась, она была клейкой, как трясина, она затрудняла дыхание, заползала в легкие, противная и тягучая. Над горизонтом выросли облака и поглотили луну. Небо над степью стало сернисто-желтым. Потом засверкали зарницы, и сквозь внезапную тишину пробился грохот. Стадо мустангов, подобно призрачной погоне, приблизилось к ним, развернулось, распалось и, потеряв вожака, нерешительно начало собираться снова. Ру почувствовала на затылке горячее дыхание. Жеребенок боязливо прижался влажными ноздрями к ее коже. Его шея дрожала, он дышал быстро и взволнованно. Лошадь Ру сделала резкое движение; жеребенок испугался, отпрянул, неподвижно застыл, а потом, фыркая, отошел. Животные начали подниматься на дыбы и кусать поводья. Они вскидывали головы, их было трудно удержать.

Тут молния разорвала тяжелые облака. Следом загрохотал гром.

— В седло! — крикнул Норман.

Лошади заржали и помчались прочь. Низко, по самой траве промчался ветер, закружил смерч, бросая людям в лица пыль и мелкие камни. Потом он погнался за лошадьми, убегавшими бешеным галопом, — сплошь вытянутые спины, воплощенное бегство от гибели. Ярко вспыхивали на небе молнии. Языками пламени светились широкие отвесные скалы, между ними струились ручьи синего блеска. Под грохочущими ударами огромного топора раскололся небесный котел, молнии разорвали огромные вены бесконечности в мифической битве с ночью, которая снова и снова накидывала бархат тьмы на открывающиеся раны.

Мустанги теснились, вставая на дыбы вокруг дерева, белки их вытаращенных глаз таинственно светились в темноте. Самые сильные жеребцы были впереди, они били копытами и кусали воздух, чтобы защититься от опасности. Взрослые животные окружили жеребят.

Лошадь Ру помчалась к стаду. В следующее мгновение ее окружили взволнованные животные. В свете молний рядом с ней виднелись блестящие спины беспокойных мустангов, похожие на волны в бушующем море. Ру подняла ноги на седло, чтобы ее не

раздавили, и натянула поводья.

Но кобыла больше не слушалась. Запах обезумевших сородичей опьянил ее, она громко заржала и встала на дыбы, чтобы сбросить наездницу.

Норман видел Ру среди мечущихся животных. Он ударил свою лошадь хлыстом по шее и начал пробиваться к Ру. Какой-то жеребец укусил его за руку, Норман ударил мустанга револьвером по голове и развернул лошадь, чтобы обогнуть табун с другой стороны.

По земле застучали первые капли дождя. От спин вспотевших животных поднимался пар. В воздухе стоял их запах, горячий, мощный, сильный, запах безумной гонки, от которой перехватывало дух, сумасшедший и пьянящий, — горячка течки и смертельного страха, проникающая в кровь и прогоняющая все мысли.

Вдруг степь всколыхнулась и загорелась, небо обратилось в бесконечно яркую вспышку, зигзаги молнии рвали мир на части, и он, полыхая, раскалывался в бездне света. Молния ударила в дерево. Почти все мустанги разбежались, а некоторые упали на землю и уже не встали. Дерево-факел возвышалось над гибнущим миром.

Когда захлестал дождь, Ру пришла в себя; ее волосы и одежда были в белой пене с крупа лошади. Она вдруг взбесилась. Отпустив поводья, Ру обняла шею лошади, пустившейся вскачь от обуявшего ее ужаса. Ру прижалась лицом к гриве, сама стала животным и стихией, скачкой, ужасом и порывом.

Кобылу спугнула вновь вспыхнувшая молния. Она помчалась назад. Норман попытался перерезать ей путь. Но лошадь шарахнулась в сторону, не узнав его. Началась погоня. Кони мчались почти вплотную друг к другу, едва дыша, люди кричали друг другу неразборчивые слова, которые уносил ветер. Хлопья пены попадали на их лица, под глазами Ру на побледневшем лице залегли фиолетовые тени, гроза возбуждала ее, порождая в ней экстаз, неукротимое желание, естественность и инстинкты.

Мощным прыжком Норман преградил путь взбесившейся кобыле, схватил ее за поводья, на полном скаку снял с седла Ру и пересадил жену к себе, он прижал ее к груди и, переполненный эмоциями, огласил ночь неистовым криком; он пришпоривал своего разгоряченного коня, пока тот не обессилел и не опустился на землю под потоками ливня. Всадники, вцепившись друг в друга, скатились к его ногам…

Когда дождь прекратился и луна снова осветила землю, Норман осторожно положил спящую жену на седло перед собой и поскакал домой; она даже не проснулась…

(1924)

Мальчик-тамил

Стэнтон давно понял, что очарование жизни заключается не в ее смысле, а в случайностях и приключениях, из которых она состоит. Поэтому он любил разнообразить логичную размеренность своего существования маленькими неожиданностями и позволял внезапным порывам овладевать собою, потому что это придавало выразительность монотонным будням и сохраняло остроту переживаний. Самоуверенность позволяла ему исполнять самые причудливые капризы.

Однажды после обеда, когда скрип повозок и звон трамваев в Мадрасе окончательно наскучили ему, он внезапно решил поехать через Вишакхапатнам в Пури, чтобы купить там храмовую утварь и сфотографировать запрещенные для продажи святыни. Он решил сразу же отправиться в путь и переночевать в бунгало.

Бой, мальчик-тамил, который вот уже несколько месяцев сопровождал его, уложил в машину ружья, фотоаппараты и провиант, забрался на сидение рядом с господином и по-детски счастливо пялился из окна на проносящиеся мимо дома, а машина, напоминавшая гигантского жужжащего шершня, неслась вперед.

Через несколько часов сквозь деревья стал виден Бенгальский залив. Солнце стояло над хрустально-прозрачным морем, казалось, будто синюю воду подсвечивает, нежно мерцая, неведомое подводное светило. Сады коричника тянулись почти до берега, источая сильный аромат.

Очертания берега, напоминавшие чей-то мечтательный жест, пропадали на горизонте в потоках света.

Пейзаж был таким захватывающим, что Стэнтону показалось пошлым продолжать поездку по привычным обкатанным дорогам, и он решил углубиться по девственным тропинкам в чащу. Он свернул с дороги и повел машину сквозь джунгли, пока не достиг поляны, сплошь усеянной белыми орхидеями.

Здесь он остановился и, прихватив по привычке охотничье ружье, пошел вперед. Тишина вокруг восхищала его. Кроны деревьев, словно мистические купола церквей, источали приглушенный зеленый свет. Листья на них не шевелились. Время словно замерло под прикрытием мощных деревьев.

Внезапно какая-то светло-песочная тень скользнула с ветки на ветку. Почти не задумываясь, Стэнтон вскинул ружье, чтобы устранить назойливого нарушителя спокойствия, но сам испугался, когда прогремел выстрел. Испуганно взметнулась в небо шумная стая попугаев; где-то в глубине джунглей что-то

засвистело, зашуршало; пробежало, тяжело ступая, какое-то крупное животное; и с дерева на землю, кувыркаясь, свалилось, глухо шлепнув, коричневое тельце. Бой побежал за добычей.

Он вернулся расстроенный. Труп обезьяны лежал в его руках, словно спящий ребенок. Он молча протянул его господину, а затем осторожно положил на землю. Стэнтон знал о суеверии индусов, знал, что «хозяин леса» — это табу, что убить обезьяну — значит накликать смерть. Ему самому стало неспокойно на душе, когда он увидел лежащего на земле зверька. По-детски неуклюжая голова покоилась среди орхидей, в полуоткрытых глазах блестел странный желтый огонек, тонкие лапки распластались на земле, а в маленьких лысых ладонях было что-то трогательно человеческое.

Стэнтон молча отправился к машине, желая как можно быстрее умчаться прочь; но мотор, несколько раз вздохнув, заглох. Пока Стэнтон копался в машине, к нему подкрался слуга-индус и спросил, можно ли похоронить труп. Стэнтон кивнул. Скоро тамил вернулся. Он то и дело озирался по сторонам, глаза его были полны ужаса. Он сказал, что видел кого-то в джунглях, кто-то стоял среди деревьев и махал рукой. Вдруг тамил вздрогнул и спрятался за машину:

— Вон… вон…

На краю опушки появилась обезьяна, она замерла в нерешительности, словно что-то искала. Когда Стэнтон подошел ближе, обезьяна скрылась в чаще. Бой тихонько притащил несколько камней, Чтобы завалить ими могилу. Устранив поломку, Стэнтон проехал небольшое расстояние, затем прокрался назад и стал наблюдать за поляной. Тамил последовал за хозяином. Длинными прыжками обезьяна подбежала к могиле и начала отодвигать камни. Когда Тамил увидел, что животное пытается раскопать могилу, он прошептал:

— Сахиб… он искать… другого…

Внезапно Стэнтон вспомнил: застреленная обезьяна была самкой.

Они ехали около четверти часа, когда Стэнтон понял, что заплутал. Он решил поехать по ослиной тропе, надеясь, что она выведет его на шоссе. Наконец заросли пальм, хлебных деревьев и бамбука уступили место низким кустам, дорога стала шире.

Бой положил ему руку на плечо. Оказалось, они сделали круг и снова вернулись на поляну. Между деревьями показалась маленькая согнутая фигура.

— Сахиб… он угрожать, — испуганно пролепетал тамил и забился в угол.

Стэнтон прикрикнул на него. Но непонятное волнение

заставило его остановить машину и подойти к животному. Зверек не убежал, продолжая окровавленными пальцами отдирать тяжелые камни, под которыми лежала его подруга.

Потрясенный, Стэнтон вскочил в машину и рванул прочь. Так и не достигнув шоссе, машина остановилась: мотор зачихал, застучал и заглох во второй раз. Пока Стэнтон чинил его, наступила темнота.

Лес ожил. Черные ветви отбрасывали безмолвные тени. Попугаи кудахтали и хохотали на ветках деревьев. В кустах что-то сопело и чавкало, большая птица пролетела низко над дорогой, ночные бабочки танцевали в лучах фар. Раздался протяжный крик, еще раз, ему ответил другой, эхо повторило эти крики, пронзительно и грустно жаловались в ночи стаи обезьян.

Бой задрожал и отодвинулся от хозяина.

— Хозяева леса зовут тебя, сахиб, — жалобно сказал он.

Ужас суеверного индуса настолько взволновал Стэнтона, что он забыл свернуть на нужную дорогу и снова поехал но той же тропе. Поняв свою ошибку, Стэнтон разразился проклятиями, когда снова выехал на поляну.

Едва узнав место, индус широко раскинул руки и закричал от ужаса, а увидев промелькнувшую между призрачно светящимися орхидеями тень, начал биться головой о борт машины. Ничего не соображая от злости, Стэнтон схватил ружье, чтобы выстрелом в воздух напугать и прогнать животное и успокоить индуса.

Тамил подумал, что его господин хочет застрелить и вторую обезьяну. Широко раскрыв глаза, он ухватился за ружье. В ярости от сопротивления цветного мальчишки Стэнтон Потянул ружье к себе; но бой навалился на ствол всем телом. Обхватив оружие обеими руками, он умолял:

— Сахиб… не стрелять…

Бой терпеливо снес все удары и пинки, которыми осыпал его рассерженный Стэнтон, пока хозяин не вытащил его из машины и не освободил ружье. Но прежде чем Стэнтон успел поднять оружие и спустить курок, за его спиной раздался крик, такой мучительный и пронзительный, на который способны только лошади в предсмертном страхе, он почувствовал тупую боль в спине, зашатался и упал.

Когда ружье выскользнуло из судорожно сжатых пальцев хозяина, бой застонал, уронил нож и, рыдая, опустился на землю рядом со Стэнтоном.

— Сахиб… сахиб…

Так он просидел всю ночь.

Когда забрезжило утро, он перевязал хозяина и потащил его на дорогу. Проезжавший мимо автомобиль довез обоих до

Мадраса. Прошло много времени, прежде чем Стэнтон поправился.

Бой служил у него еще много лет, но Стэнтон никогда не говорил с ним о той ночи…

(1925)

Трофей Вандервельде

Мы сидели на пляже и долго слушали прибой, который рокотал, грозно ворча во тьме, словно подземное божество, пока поднявшийся ночной ветер не успокоил его, и тогда он постепенно превратился в ритмичный шум. Сквозь перистые листья пальм у нас над головами было видно огромное и величественное ночное небо, с которого лился свет звезд, будто золотистое вино из чаши черного алебастра, выплеснутое спьяну в хмельное море на пиршестве бессмертных. Пенистые барашки, отбрасывали фосфоресцирующий свет на беспокойную воду, так что казалось, будто небо и море, играя, бесконечно перекидывают его друг другу.

Ничто так не волнует кровь и не приводит дух в мятежное и тоскующее состояние, как шум ветра и морской прибой. Поэтому мы молча поднимались по эспланаде, занятый каждый своими мыслями, к гостинице «Лицо Галле», чтобы вместе провести вечер в холле.

Тут почти никого не было. Английская семья, которая что-то выписывала из путеводителей; усердно перешептывающаяся молодая пара, — наверно, у них был медовый месяц; и один голландец с покрасневшей лысиной, широкий и массивный, который сидел за столом и то и дело выкрикивал:

— Boy, one whisky more![7]

Оле Хансен помешивал ложкой воду со льдом. Последнее время по вечерам он часто впадал в меланхолию и рассказывал сентиментальные истории о белых фьордах и утреннем тумане над горными озерами. Мы терпеливо слушали его потому что самое лучшее — рассказать о том, что тебя тревожит, тогда все это скорей пройдет. Несколько недель назад Оле Хансен узнал о смерти женщины, которая была частью его юношеских воспоминаний, — а как раз такие простые, давнишние образы и происшествия иногда странно волнуют, если случайно снова наталкиваешься на них.

Мы были немногословны. И тут сквозь шум вентиляторов прорезался голос управляющего, сопровождавшего двух гостей. Вероятно, они прибыли на теплоходе, который после обеда причалил в гавани. Из слов управляющего можно было понять, что они вернулись из окрестных садов.

У мужчины было обветренное, рябое от оспы лицо, на котором по-особому выделялись волевые, глубоко посаженные глаза. Упругими шагами он шел рядом с женщиной, лица которой почти не было видно; мы могли оценить только изящный изгиб

шеи, когда она поднимала голову, чтобы что-то сказать мужчине.

Когда двое проходили мимо нашего стола, мужчина повернул голову; широкий шрам наискось пересекал его лоб и упирался в угол левого глаза. На мгновение он подал женщине руку, она почти незаметно оперлась на нее, но в ее позе была такая интимность, что Мортон сразу же поставил диагноз: молодожены.

Оле Хансен покачал головой:

— Не думаю. Этот мужчина — Вандервельде, два года назад он получил приз Ниццы. Женщина сопровождает его уже год. Я видел ее с ним на кубке в Марселе, на трибунах в Церде во время «Тарго Флориа» и на гонках в Индианаполисе; но я ее не знаю…

Кинсли заявил:

— Это Лилиан Дюнкерк!

Мортон вскочил:

— Не может быть! Лилиан Дюнкерк невозможно удержать целый год. Я знаю Д'Астэна, в которого она стреляла, когда увидела его во время корсо[8] с графиней Риччи; и несмотря на это, она бросила его через три недели.

Кинсли сделал Мортону знак, чтобы тот сел.

— Я понимаю, юность всегда категорична. Ты прав: эта Дюнкерк — самая красивая и беззаботная искательница приключений на континенте, и ее liaisons[9] почти всегда очень быстротечны. Поэтому о ней можно сказать «поверхностна и легкомысленна» и попытаться завоевать ее, делая ставку на эти качества. Но то, что из этого ничего не получается, доказывают напрасные усилия князя Штолля, которому принадлежит половина Батавии и который даже был готов жениться. Возможно, она ищет недостижимый идеал, но не может найти его, а потому бросает всех. А может быть, в ней есть и то и другое.

Но вот уже год она принадлежит Вандервельде. Вы удивлены, так как он не особенно умен, не особенно богат и не особенно интересен; но зов крови, как ничто другое, имеет свои законы. А так как я знаю подробные обстоятельства возникновения этой удивительной верности, я вам их объясню. Не бойтесь, трактата по психологии не последует. В такой задумчивый вечер это было бы настоящей безвкусицей.

Примерно год назад Вандервельде сидел в углу этого зала. Он только что проехал на своем автомобиле по гоночной дистанции, где старался как можно четче проходить повороты, отрабатывал управление и делал записи, чтобы закончить подготовку к гонкам. Он просматривал свои записи, стараясь запомнить их к следующему дню, и был так погружен в них, что не заметил, как мимо прошла Лилиан Дюнкерк.

Да он ее, вероятно, и не знал. Следом за ней шел какой-то

подозрительно торопившийся мулат, который задел стул Вандервельде и неловко толкнул его. Извинения прервали размышления Вандервельде, и он решил выйти из отеля на вечерний моцион.

Приглушенный крик заставил его замедлить шаги. В неясном свете он увидел женщину, которая защищалась от какого-то мужчины. В мгновение ока он оказался рядом и свалил мулата апперкотом; тот упал, как мешок.

Потом, не обращая ни малейшего внимания на лежащего плашмя, захлебывающегося кровью мулата, Вандервельде поклонился и сказал:

— Простите, миледи, что я вмешался в ваши дела, не назвав предварительно своего имени и не получив вашего разрешения. Могу я проводить вас в отель или вы предпочитаете другую диспозицию?

Вы знаете, что на женщин всегда производит впечатление, когда о необычной ситуации говорят как о само собой разумеющемся и почти повседневном; потому что настоящему светскому человеку несложно оказаться на высоте в нормальной ситуации. Но Лилиан Дюнкерк привыкла к подобному поведению. После нескольких слов благодарности она собралась идти дальше — ее гордость была задета тем, что на нее напал мужчина. Но вдруг она увидела, что мулат поднялся с земли и тянет руки к шее Вандервельде. Она не могла говорить, но внезапно отразившийся в ее глазах ужас указал Вандервельде на опасность.

Он быстро сделал шаг в сторону, чтобы противник, нападая, промахнулся, наткнувшись на его плечо, быстро взглянул на Дюнкерк, сказал: «Pardon», обернулся и со сжатыми кулаками и такими страшными глазами пошел на мулата, что тот зашатался, хотя еще не получил удара, и во внезапном страхе бежал.

Успокойся, Мортон, я знаю, что ты хочешь сказать; это тоже не было для Лилиан Дюнкерк чем-то настолько необычным, чтобы она из-за этого так сильно привязалась к Вандервельде. Но в тот момент этого было достаточно, чтобы вызвать интерес; и она разрешила даже сопровождать ее на пляж.

Только теперь он увидел, кого защищал. Волнение от случившегося, которое он чувствовал, несмотря на все свое самообладание, — а уже одного этого достаточно для возникновения напряжения, превращающего ситуацию в событие, а ее преодоление в глубочайшее удовлетворение, — смешалось с сознанием, что, благодаря неожиданному приключению, он оказался наедине с прекрасной незнакомкой в тропической ночи, и превратилось в таинственный соблазн и фантастическое опьянение, которые дали ему внутреннюю уверенность,

необходимую для продолжения этого приключения и доведения его до той силы выразительности, которую Оле Хансен как-то окрестил «бешеной кровью».

В такой ситуации замечание Вандервельде, что у него завтра гонки, по-особому заинтересовало Дюнкерк. В ту ветреную ночь слова легко слетали с уст обоих собеседников; в игру вступили желания и волнующие намеки, и в сознании женщины все так переплелось с замечанием Вандервельде, которое он сделал безо всякого умысла, что оно вдруг приобрело судьбоносный оттенок и стало вроде немого соглашения: если завтра Вандервельде завоюет приз, то он завоюет и Лилиан Дюнкерк.

На следующий день после беспокойной ночи Вандервельде, преисполненный твердой решимости, отправился на своем автомобиле на весы. Он тщательно его осмотрел, завел для проверки мотор и потом усадил рядом с собой свою собаку. Как и многие другие искатели счастья, он был суеверен, как дикарь, и никогда не стал бы участвовать в гонках, не посадив рядом с собой любимую собаку.

Вандервельде стартовал двенадцатым. На первом круге он отстал, потому что у него было несколько мелких поломок. Потом он начал нагонять других и пробиваться вперед. Скоро он был уже девятым. Машина, шедшая перед ним, потеряла управление на повороте, получила поломку поршневой группы, ее оттащили. Вскоре после этого у Вандервельде опять полетело колесо, и ему пришлось десять минут ехать до станции со спущенной задней шиной. Там он быстро поменял колесо и заправился. Потом поехал дальше.

Тем временем американец Эллан и итальянец Мартони обошли его на круг. Вандервельде лишь медленно догонял их, хотя мчался как никогда. Он на полном ходу вошел в поворот, правда, машина встала почти поперек трассы, но тут же помчалась дальше. Вдруг он вырвался вперед и сел на хвост синему автомобилю Эллана. Теперь соревновались только три машины. Недалеко от трибун Вандервельде под аплодисменты зрителей обошел американца. Полчаса он держался вплотную за Мартони. Наступил последний круг. Все с невероятным напряжением ждали, удастся ли Вандервельде побить итальянца. Лилиан Дюнкерк в какой-то лихорадочной уверенности ожидала конца гонок.

Внезапно зажужжал мотор, все ринулись к барьерам, вытянули шеи, вскочили на сиденья, зрители неистовствовали: Вандервельде на страшной скорости шел впереди с большим отрывом.

Тысячи голосов слились в единый крик. За двести метров до

цели из автомобиля Вандервельде выбился язык пламени, загорелся карбюратор. Публика застыла, затаив дыханье. В абсолютной тишине мчался Вандервельде на горящей машине к цели.

И тут произошло нечто неожиданное. Вероятно, при торопливой дозаправке немного бензина разлилось на кузове, и теперь языки пламени перекинулись туда. Это было не особенно опасно, и Вандервельде наверняка мог довести машину до финиша; но собаку рядом с ним, кажется, обожгли летящие в стороны искры, потому что она вдруг пронзительно завыла.

В следующее мгновение, когда победа была у него практически в руках, за пятьдесят метров до цели, Вандервельде остановился, выхватил собаку из машины и стал проверять, не случилось ли с ней чего серьезного. В тот же момент мимо промчался итальянец и первым оказался у финиша.

Вандервельде ни на что не обращал внимания. Он гладил свою собаку и равнодушно шел сквозь толпу, которая кинулась на него с вопросами. Люди качали головами, удивляясь его странному капризу: упустить победу из-за жалобного воя собаки.

Лилиан Дюнкерк стояла, побледнев, перед Вандервельде. Они молча поехали в отель. Здесь Вандервельде сам перебинтовал собаку, у которой был лишь незначительный ожог. Он выпрямился и сказал:

— Ерунда, через несколько дней заживет. Я мог бы ехать дальше, но ведь я не знал — вдруг рана оказалась бы более тяжелой и мучительной.

В эту минуту Вандервельде завоевал Лилиан Дюнкерк. Если бы он победил, вероятно, она очень скоро оставила бы его, как и многих других. Но то, что страдания животного значили для него больше, чем желание обладать женщиной, что он не раздумывая пожертвовал ею ради обожженной лапы собаки, так потрясло Лилиан Дюнкерк, было таким непривычно новым в ее жизни, окружило образ Вандервельде в ее воображении таким ореолом человечности, показало, насколько он выше инстинктов, что, уже было потеряв Лилиан, Вандервельде вновь с удвоенной силой завоевал ее. По поспешному замечанию Мортона вы и сами можете судить, насколько она верна Вандервельде.

Я — скептик и не знаю, было ли поведение Вандервельде искренним и импульсивным, или то был чертовски точно рассчитанный трюк, пришедший ему в голову в последний момент, чтобы наверняка удержать Дюнкерк. Но в конечном счете это ведь все равно; потому что любовь — одна из самых странных вещей: даже если ты пользуешься обманом, чтобы завоевать ее, — она остается, пусть даже обман потом выйдет наружу.

(1924)

Межпланетный автомобиль

Доктор Хуберт Дрешер, инженер, хотел сначала устроить вечеринку с пуншем в честь своего тридцативосьмилетия. Но так как зимний ветер бессовестно свистел и бился в окна, он решил сварить своим гостям настоящий крепкий грог. Вскоре появилось соответствующее настроение, синий сигарный дым клубами поплыл по комнате, горячий напиток ударил в головы, гости произносили речи и тосты, в промежутках пили для разнообразия коньяк и бенедиктин, под конец даже откупорили бутылку шампанского, так что, когда после полуночи гости неторопливо и шумно начали прощаться, некоторые уже подозрительно опирались на своих соседей.

Доктор Дрешер проводил последнего гостя и со вздохом удовлетворения вернулся в приятно прогретую комнату. Он налил себе еще бокал грога и залпом опустошил его. Потом, довольный, уселся в мягкое кресло и собрался закурить сигарету.

Тут сквозняком задуло горящую спичку. Дверь рывком открылась, впустив зимнюю стужу. Доктор Дрешер обернулся, подумав, что кто-то из друзей решил остаться на ночь. Но в проеме двери стоял неизвестный.

Дрешер пристально изучал его. Незнакомец был в автомобильном костюме, даже еще не снял очки. Высоким голосом он спросил:

— Доктор Дрешер?

Хозяин дома утвердительно кивнул и поинтересовался:

— С кем имею честь?

Незнакомец неразборчиво пробормотал какое-то имя и сразу же пригласил своего визави на автомобильную прогулку, чтобы показать ему некоторые технические новинки. Доктор Дрешер был несколько обескуражен; приглашения прокатиться на автомобиле среди ночи, что ни говори, он получал нечасто. Но ведь, в конце концов, художники и изобретатели часто бывают чудаками, а для этого изобретателя — доктор почему-то решил, что незнакомец изобретатель, — полуночный визит, вероятно, был обычным делом. Кроме того, победило любопытство: что это ему собрался показать незнакомец? После короткого раздумья доктор Дрешер попросил его присесть и поспешил в соседнюю комнату, чтобы переодеться для поездки. Он слышал, как ему вслед крикнули:

— Оденьтесь потеплее, на улице похолодало!

Доктор быстро надел свой шерстяной свитер, выбрал самое плотное пальто и самые теплые перчатки. Потом он вышел вместе

с незнакомцем на улицу и направился к гаражу, чтобы подготовить свой автомобиль. Но спутник положил руку ему на плечо:

— Оставьте… У меня здесь свой автомобиль.

А когда Дрешер начал перечислять преимущества и доказывать надежность своей машины, тот сказал с улыбкой:

— Для этой поездки годится только мой автомобиль, — и направился в сторону шоссе, где стояла машина.

Когда доктор Дрешер увидел автомобиль, он действительно удивился. И хоть машина выглядела вполне привычно, модель явно была разработана любителем обтекаемых форм; от этого, однако, автомобиль не казался неуклюжим. Радиатор был герметически закрыт тяжелыми шлифованными стеклянными плитами, необычно сверкающими и поблескивающими. Колес почти не было видно, насколько глубоко они были утоплены в корпус. Незнакомец сел в этот двухместный диковинный автомобиль и пригласил доктора Дрешера устроиться рядом. Потом нажал на какую-то кнопку на приборной доске. Тотчас стеклянная плита над радиатором вспыхнула фосфоресцирующим блеском. Внезапно доктор Дрешер заметил, что под ней находится разветвленная система стеклянных поршней, в которой переливались жидкости разных цветов: голубовато-зеленая и голубовато-красная. Автомобиль беззвучно вздрогнул и рванул вперед.

В ответ на вопросительный взгляд Дрешера незнакомец улыбнулся:

— Одно из давних изобретений для земного автомобиля. Здесь внизу еще не додумались извлекать электричество из воздуха. Мы создали совсем простое устройство. Вы же знаете, что со времени открытия атомарного принципа атом не рассматривается больше как последняя неделимая частица, он состоит из положительного и отрицательного или электрического и магнитного полей. Мы разделили эти поля, которые обычно находятся рядом, по принципу легочного осмоса и отделили электрическое. Этот маленький, величиной с ладонь, аппарат под стеклянной плитой вон там выполняет всю работу.

Справа и слева мимо них проносились заснеженные поля. Мелькали дома, деревья и столбы электропередач, пролетали призрачные города, навстречу автомобилю промчалась, разрезая воздух, пурга из тысяч снежных кристаллов.

— Почему мы едем так быстро? — спросил доктор Дрешер.

— Быстро? — удивился незнакомец. — С чего вы взяли? Мы едем чрезвычайно медленно, потому что здесь из-за высокого сопротивления воздуха автомобиль может загореться. Вот когда

мы достигнем эфира, тогда поедем быстро…

Доктор Дрешер потряс головой. Эфир? Земной автомобиль? Вероятно, его спутник все-таки был немного со странностями, хотя мотор необычного автомобиля вызывал изумление. Он спросил, сколько километров они делают в час.

— А, немного — всего лишь около тысячи двухсот. — Доктор Дрешер отшатнулся на своем сиденье. Его спутник кивнул, подтверждая свои слова. Дрешер посмотрел на свое пальто. Все оно было усеяно мелкими порезами из-за сильного сквозняка и несущихся навстречу льдинок.

Внезапно он услышал шум, который быстро усиливался и приближался. С холма было видно море, машина мчалась в его направлении.

— Ради бога, — он схватил своего спутника за руку, — мы же едем…

Но тот спокойно оправил рукав и нажал какой-то выключатель. Тотчас откуда-то снизу выползли стенки автомобиля, тоже из толстого шлифованного стекла и черной полированной алюминиевой стали. Они герметично сомкнулись и образовали стеклянный купол на распорках. Сразу стало тепло. Доктор Дрешер снял пальто.

— Еще одно преимущество нашей конструкции, — пояснил водитель. — Этой машине не нужны ни бензин, ни аккумулятор, а кроме того — в ней сразу становится тепло: когда поднимается верх, автоматически загораются лампы, встроенные в двойных стеклянных стенках. Потому что весь корпус — двойной, с герметичным промежуточным пространством, специальные вакуумные насосы разряжают в нем воздух, и создается безвоздушная среда, таким образом в верхних слоях атмосферы и в эфире предотвращается разрушение стенок из-за расширения воздуха в автомобиле. Кроме того, два катода, находящихся впереди на радиаторе, обеспечивают вентиляцию, отсос и обновление воздуха, не нарушая герметичности внутренней части автомобиля.

Доктор Дрешер выглянул в окно. До него доносился глухой шум моря. Сейчас они неслись по длинному причалу, волны жадно вздымались с обеих сторон, Дрешер хотел было закричать, решив, что его спутник сошел с ума и собирается их угробить, но было уже поздно, он почувствовал, как автомобиль перелетел через ограду причала и рванул вверх, в пустоту.

В тот же момент незнакомец нажал две кнопки, послышался короткий щелчок, у них под ногами что-то глухо зазвенело, зашуршало — потом автомобиль плюхнулся в воду, и бурлящие волны сомкнулись над ним, они погружались…

Но что это? Доктор Дрешер прислушался. Эти размеренные звуки похожи на шум корабельного винта, автомобиль слегка покачивало, но он не устремлялся ко дну — он плыл.

Незнакомец улыбнулся:

— Все очень просто. При нажатии на эту кнопку колеса убираются в специальные углубления, которые сразу же герметически закрываются. Эта вторая кнопка за счет чувствительных трансмиссий переключает движение — здесь использованы результаты новейших исследований свойств селеновых клеток, — и автомобиль становится подводной лодкой. Разумеется, у нас есть с собой кислородные аппараты, вы даже не почувствуете разницы, нас будет обдувать чистейший лесной воздух.

Подводный автомобиль погружался все глубже, волны уже не раскачивали его. Он плавно несся вперед. За окнами стояла зеленовато-черная вода, словно они находились в водолазном колоколе. Время от времени мимо беззвучно проплывали рыбы. Стая дельфинов пыталась плыть рядом, то и дело окружая лодку. Белые тела отсвечивали серебром. Но уже через несколько секунд они остались в вихре за кормой.

— Если бы мы не спешили, — сказал водитель, — обязательно бы опустились на дно. И тогда матово-светящиеся, фосфоресцирующие медузы, словно сказочные существа, поплыли бы мимо окон; удивительные глубоководные рыбы со светящимися телами таинственно осветили бы пурпурно-зеленую тьму; в их мерцающем сиянии, переливаясь всеми красками, плыли бы гротескные чудовища, кузовки, разноцветные причудливые морские животные, а в морских водорослях стали бы орудовать каракатицы, крабы, морские коньки, двустворчатые моллюски, странные полипы, мерцающие морские анемоны и колючие актинии с их длинными щупальцами — вам показалось бы, что вы попали в волшебную страну. Но нам надо торопиться; видите, мы уже снова всплываем.

Лодку начало болтать, качка становилась все заметнее, в окнах заструилась белая пена волн, одно нажатие на кнопку — и лодка поплыла по воде. Еще один щелчок — и она поднялась над волнами.

— Сейчас мы плывем, как водный самолет, — объяснил незнакомец, — простым переключением полозья заменяются колесами. На одном валу расположены колеса, водные полозья и снежные полозья, которые по желанию можно менять. А вот этот рычажок выдвигает из верха автомобиля самолетные крылья, видите? И еще из радиатора выталкивается пропеллер. — Машина тут же начала жужжать и, несколько раз покачнувшись,

поднялась вверх. На высоте ста метров она перелетела через пароход, команда которого стояла на освещенной луной палубе и приветственно махала руками. Затем автолодкосамолет развернулся и на страшной скорости помчался дальше.

— То, что вы принимаете за стекло, — сказал незнакомец, — не ваше земное стекло. Оно иначе производится и тверже самой крепкой стали, потому что коэффициент преломления почти сведен к нулю благодаря изобретенной нами дивергенции направления эллипсообразных молекул, основанный на принципах разделения атомов.

От естественного тона его спутника доктору Дрешеру стало не по себе, у него закружилась голова. Он уже ничему не удивлялся. Даже тому, что самолет, приземлившись, тут же превратился в сани — колеса сменились снежными полозьями, а наклонное положение несущих плоскостей под определенным углом предотвращало подъем в воздух.

— Нас не интересуют защита от скольжения, цепи, обледеневшие улицы и тому подобные вещи, — продолжал водитель. — Мы превращаем автомобиль в аэросани, и никакие препятствия нашим автолодкосамолетосаням не страшны.

Спустя некоторое время незнакомец потянул рычаг высоты. Самолет почти вертикально взмыл вверх. Доктор Дрешер поглядел на высотомер. Это было жутко. 4000, 6000, 8000 метров. Может, он сошел с ума?

— Теперь воздушный слой настолько разряжен, что несущие плоскости больше не несут, — сказал его спутник. — Можно запускать гаситель силы тяжести. — Он повернул какой-то рычажок. На мгновение показалось, что из маленьких пор, расположенных повсюду в стекле и в алюминиевой стали, начала разбрызгиваться вода. Окна обрели молочно-белый, цвет, но сразу же снова стали прозрачными.

— Хорошее изобретение, — продолжал водитель. — Основывается также на атомарном принципе. Круг, по которому движутся электроны, нарушается и уничтожается, магнитный принцип снимается кислотой, которая поступает во все поры автомобиля. Одновременно колебания приобретают вертикальное направление, и сила тяжести исчезает: Мы уже мчимся со скоростью звука сквозь эфир.

Чтобы достичь действительно большой скорости, необходимо особое искусство: надо попасть в поле притяжения какой-нибудь планеты или звезды, снова вовремя включить силу тяжести и таким образом использовать силу притяжения небесного тела, если у него нужное направление. Пролетев с ним сколько надо, снова выключают силу тяжести с помощью эфирного

спектрального мотора, который заводится благодаря разложению солнечного света на цвета радуги, тем самым придают аппарату новое направление и летят дальше. Видите, сейчас я включаю силу тяжести: нас сразу же притягивает Луна. Здесь нет сопротивления воздуха, так что невероятную скорость вы можете оценить по тому, как быстро к нам приближаются лунные кратеры… Так, теперь выключим, полетели дальше, к Марсу, пусть нас немного потянет Солнце, и — прямо.

Мы тоже устраиваем гонки. Как и у вас, чтобы победить, надо уметь делать крутые повороты, но у нас хороший гонщик должен знать еще и астрономию, чтобы правильно переключать силы тяжести, как у вас переключают стартер. Вот мы и приехали, Марс уже приветствует нас, вон президент, рядом с ним депутация марсианских девушек, которые собираются достойно встретить первого земного автомобилиста. Хотите в честь такого праздника сами проехать оставшийся отрезок пути? Это совсем просто, нажмите сначала эту кнопку потом вон ту даже ребенок справится. Пожалуйста!

У доктора Дрешера все смешалось в голове. Механически он подвинулся к панели управления, а его спутник уже сворачивал пальто. Он увидел перед собой рад выключателей и наугад нажал на один из них. В следующее мгновение самолет что-то толкнуло, он накренился, перевернулся и стал стремительно приближаться к поверхности Марса, все время переворачиваясь, устремляясь со страшной скоростью к какой-то башне, все быстрее и быстрее, сейчас произойдет авария, крушение…

Доктор Дрешер потер глаза. Разве только что не было грохота? Где он? Что случилось? Тут он обнаружил, что упал на пол вместе со стулом. Перед ним стоял наполовину пустой бокал грога. До него медленно начало доходить, что произошло. Он вовсе и не был на Марсе, он был дома, и ему приснился сон. Доктор Дрешер с трудом поднялся и по дороге в спальню, покачивая головой, пробормотал:

— Эх, алкоголь, алкоголь…

(1924)

Осенняя поездка мечтателя

Целый день конференции, но улицы, но становящиеся разноцветными липы и каштаны на асфальте и брусчатке, но — это уже просто невозможно вынести — это небо, это невероятно синее, ясное небо, натыкающееся и ломающееся о тротуары и крыши домов, — нам хочется видеть, как оно раскидывается куполом от горизонта до горизонта и как его кринолин покоится на краю света поверх лесов. Какое нам дело до концертов и театров, бери одеяла и шубы, выводи машину, жми девяносто километров, а когда разгонимся до ста двадцати, я подброшу в воздух кепку, в честь того, что мы почти вырвались из города.

Ты видишь этот золотистый свет, струящийся над коричневой пашней, видишь, как он тянется вдоль дороги? Это — осенний свет, смотри, как он обтекает блестящие спины лошадей, плуг, крестьянина, будто бы тот несет осень на своих плечах. Даже деревья припудрены этим золотым светом, крестьяне считают, что он придает яблокам аромат и свежесть, этот сон умирающего мира. А теперь тормози так, чтобы мотор заскрежетал, и — на волю, на волю — в поля, к новорожденной земле; прижми ладони к лицу, пусть порвутся и запачкаются чулки, потом я куплю тебе сотню новых — только вдыхай, вдыхай, вдыхай аромат этой только что вспаханной земли, закрой глаза и дыши, дыши; ах, как же я завидую слепому кроту, который проводит в ней всю свою жизнь!

Ты нашла личинку майского жука? Скорей подбрось ее в воздух, может быть, она превратится в бабочку и улетит; в таком воздухе возможны всякие чудеса; посмотри, я и сам посвежел и расцвел, этакий Пан в плотной габардиновой куртке от «Континенталь» и бриджах. Но нет, нас уже поджидают грачи, поблескивая стальным оперением, идем, похороним личинку, спасем ее, это же настоящая мистика. Разве тебя не пронизывает дрожь от ощущения, что ты творец? Сделай ямку и положи ее туда, ты спасла от остроклювой смерти жизнь, на следующий год майский жук трогательно прожужжит тебе в благодарность. Не смейся, майский жук — это очень красиво, ты когда-нибудь разглядывала его мохнатые лапки и коричневую визитку?

Посмотри на этот луг, произнеси, почувствуй само слово «луга», какая ширь и простор заключены в нем; оно все окутано серебристой дымкой свежести. А деревья — на некоторых еще целы все листья, совсем зеленые, только в нескольких местах видны четкие сернисто-желтые пятна, странно выделяющиеся на общем фоне, словно первые признаки туберкулеза.

Ты хочешь, чтобы я поехал по обочине? Тебе нравится слушать шуршание листьев? Ни за что на свете! Однажды я ехал так в Скалистых горах с Томом Ремли, отчаянным парнем, и вдруг из-под колес нам послышались вздохи и рыдания слабых голосов, вдруг нам показалось, что в жухлой листве блестят чьи-то глаза, а из деревьев на обочине к нам потянулись костлявые руки. Мы вынуждены были мчаться, как черти, спасаясь от глухого призрачного шума, а у кромки леса одна костлявая рука сорвала с моей головы кепку от «Бернс Бразерс», которая стоила три с половиной доллара. Если бы до этого мы не выпили много виски, все кончилось бы еще хуже. Ни за что на свете я не поеду больше по желтым листьям на обочине, и, кроме того, так можно и в кювет угодить.

Вот уже появился туман й улегся, как подушка, на землю (как говорят в Вестфалии, «туман-хитрец лукавит»), опасная штука эти болотные ведьмы, проклятые души и заколдованные места. Когда мы сегодня вечером отправимся домой, туман уже опустится на шоссе, и мы смело поедем по нему, автомобиль будет словно подводная лодка в белом море, лишь наши головы будут виднеться сквозь туман, фантастические и одинокие. Может статься, что по дороге мы встретим похищенную принцессу, которую сторожит дракон, и я возьму железный монтировочный рычаг, убью им дракона и женюсь на принцессе. А ты останешься здесь, пока я не разведусь и не закажу тебе в знак примирения автопокрышки из шкуры дракона.

С деревьев падает черная вата, или это газовые платки, один плотнее другого? Минутку, любимая, теперь дело принимает действительно серьезный оборот: нам предстоит сразиться с темнотой, этой скупой дворянкой, живущей в монастырском приюте для престарелых, которая хочет скрыть от нас мир и запереть его в ночи, словно в темном шкафу, чтобы мы не видели ничего, кроме ее черных нижних юбок. Фриц и Будда, фас, фас! Смотри, как наши фары, словно верные псы, вцепились сверкающими зубами в тряпки, что пытались скрыть от нас мир! Почему их так зовут? Не знаю. Живой Будда, представший передо мной в образе официанта Фрица в пивной «У голубого барана» в Юрге, нарек их так. Но они молодцы, они разрывают тьму в клочья, гляди, как пристыженно смотрит на нас шоссе в известковом неглиже и снова темнеет, когда мы проезжаем дальше, можно умереть со смеху. Вон удирает вприпрыжку девица-береза в шелковых чулках, а там причесывается ветла, и с тополями, кажется, тоже не все чисто, какой-то шепот и шелест, заткни уши, не слушай языческий бред.

Но вот уже и снова дома, косые, низкие, склон полон света,

потом — четверть часа по этой проклятой булыжной мостовой, городские ворота, а теперь — тихонько, приглушив мотор, по улочкам. Здесь жизнь иная, здесь иначе дышится, шаги шире, глаза безмятежнее. Здесь говорят «добрый день» и «до свидания», но имеют в виду совсем другое; здесь слово цедят так же скупо, как золотые монеты, которые сначала вертят в руках и только потом с сожалением обменивают на товар. Но эти дома! Или нас заколдовали? Как они стоят, высокие шапки крыш надвинуты глубоко на глаза, посохи-герани и резные ставни — старые, прекрасные, удивительно умиротворяющие. Здесь чувствуешь себя таким защищенным. Завтра же утром купим домик, вот тот, где мелочная лавка, и останемся здесь навсегда; я стану официантом или хозяином трактира «У льва».

Только не говори, что здесь нет центрального отопления и ванной комнаты, я и сам это знаю, но ведь дело в настроении: все равно никто никогда не поступает так, как говорит. Но послушай, как плещется родник, а эта рыночная площадь, а эта луна! Давай окунем руки в воду, давай немного побудем сентиментальными. Я буду изображать странствующего бурша, который собирается в дальний путь, к мастеру в Данию, чтобы через год вернутся.

Если испить лунной ночью этой воды, станешь прекраснее всех женщин на свете, только не выпей весь родник, ведь должно быть полнолуние, а на ограде должна сидеть белая иволга. А теперь давай пройдемся через рыночную площадь, словно хозяин имения и его жена. Как стучат твои каблучки, как блестит мой парик, жизнь упорядочена и устроена, дети спят, ты немного склонна к полноте, а утром в девять — чрезвычайно важное собрание городских старейшин.

Но вот улочки исчезают за нашими спинами, мы возвращаемся из мечты, на горизонте матово мерцают огни города, из которого мы уехали, мы мчимся к нему молча, наш бог — счетчик пробега и часы, потому что, может быть, мы еще успеем послушать концерт или посмотреть последний акт в театре — мы, беспокойные мечтатели.

(1924)

Последний омнибус

Он приходит издалека. Его еще окружает запах лесов и больших озер, а сбоку, на подножке, застряла оторвавшаяся ветка, видимо, где-то на крутом повороте он задел кустарник или заросли ивняка. Ветка болтает своими серебристо-серыми сережками, словно беспутный вагант, радостный и беззаботный, позади ревущего мотора. Ее обдувает горячее дыхание цилиндров, овевает запах работы и бензина, но она, немного кривоватая, немного дерзкая, уже с обеда пристроилась на этом месте и будет сопровождать омнибус в любой поездке — от сутолоки домов большого города до далеких загородных уголков, где так приятно провести выходные, — словно веселый ребенок бесконечно работающих родителей.

Омнибус ездил целый день; как большой корабль, бороздил он асфальтовые просторы, нагруженный шумным, болтливым грузом до самого верха. Вместе с сотнями своих желтых собратьев неустанно несет он службу; на перекрестках они иногда встречаются и даже разговаривают, а к полудню, когда уже становится тепло, они начинают постанывать и стучать чуть громче, потому что сухой воздух не особенно нравится моторам, но потом они все-таки разгоняются и катятся по длинной, широкой дороге из города, один за другим, с одинаковыми интервалами, навстречу соснам и букам, озерам и лесам.

В сумерках они превращаются в маленькие, немного сонные жужжащие островки. Голубовато-золотая пыль вечера припудривает их, окрашивая в кобальтовую синь и нежно-розовый цвет фламинго, косые лучи солнца превращают фары с падающим из них лучами света в сверкающие серебряные фонтаны, и добрые старые трудяги-омнибусы, пыхтя, пробираются по дорогам, словно сказочные тролли, Рюбецали и верные Экарты[10].

Когда наступает ночь, братьев-омнибусов становится меньше. Лишь изредка они встречают друг друга. Работа тоже меняется. Если днем омнибус едет до отказа нагруженный за город и возвращается опустошенный, стуча и радостно звеня, то теперь все наоборот: почти без груза он выезжает из города и, перегруженный, возвращается в него.

Остановки на улице — словно таинственные магниты. Из деревень и садов, с берегов и террас к ним стекаются люди и сбиваются в толпы, которые, жужжа и смеясь, бросаются на желтый омнибус, как пчелы на цветок.

Становится все темнее. Призрачный красный отсвет

беспокойного далекого города все явственней выступает на небе. Крестьянские дома у дороги подмигивают освещенными окнами из-под низко надвинутых чепчиков-крыш, словно сошедшие со страниц стихотворных сборников Маттиаса Клаудиуса[11]. А лес начинает шуметь, будто хочет рассказать новеллу Эйхендорфа[12].

Теперь на остановках омнибус больше не берут штурмом. Люди больше не висят гроздьями на дверях и поручнях. Уже появляются свободные места. Уже не встретишь большие семейные компании, которые бурно переговариваются между собой; не видно отцов семейств, вспоминающих вдруг, что официант обсчитал их на двадцать пфеннигов, и погружающихся в бесплодные, но оттого еще более горькие мысли о мщении, или матерей, решивших именно тут заняться воспитанием своих чад.

Зато появились молодые люди. У некоторых девушек в руках большие букеты, их глаза блестят, словно в них поселилась весна. Они влюблены и молоды, а значит — мир забыт, и счастье делает даже самые простые и заурядные лица прекрасными, полными очарования юности, каким обладают все двадцатилетние. Потом… Но кто думает, что будет потом…

Наконец наступает час, когда водитель вытаскивает часы и после короткой остановки удовлетворенно забирается на свое место: омнибус отравляется в последний рейс из города.

Прохладный ночной воздух усмиряет мотор. Он урчит нежнее, водители, знающие каждый его звук, называют это песней.

Большой черный силуэт движется по улицам. Широко поставленные глаза оглядывают асфальт, и конусы света всматриваются вдаль. Поэт, встреться он по дороге, решил бы, что это добродушный дракон прошуршал когтистыми лапами по шоссе, разыскивая своих разбежавшихся детенышей.

Омнибус подбирает с обочины последних пассажиров, тех, кто не мог раньше расстаться с нежным воздухом и состоянием покоя, кто решил использовать каждую минуту, чтобы глотнуть здесь, за городом, еще немного нежной, дрожащей атмосферы расслабленности мира и унести ее с собой, дабы украсить безотрадные рабочие часы завтрашнего утра. Они и сейчас еще сидят у открытых окон и молча смотрят на дорогу.

Омнибус тихо скользит по ночному ландшафту. От горизонта до горизонта раскинулось звездное небо, откуда-то доносится одинокий собачий лай, а иногда фары на мгновение выхватывают из темноты парочки, возвращающиеся домой.

Словно мерцающие светлячки, со свистом несутся навстречу автомобили, некоторые обгоняют омнибус; иногда за рулем машины можно увидеть стройную женщину, ее руки, бледные и

безучастные, лежат на руле, словно принадлежат совсем не ей.

Потом вдоль шоссе начинают маршировать ряды огней, настоящий парад фонарей, омнибус выключает дальний свет и зажигает кроткие лучи ближнего света, его клаксон рычит; он уже не кажется заколдованным драконом, теперь он похож на слугу, который осторожно крадется на резиновых подошвах своих толстых шин и очень послушен на людях.

Когда он появляется, улица становится оживленнее. Стайка кавалеров приветствует его патетическим пением и поднятыми тростями. Они входят с серьезными лицами, которые часто свидетельствуют о состоянии глубокого, еще не прошедшего опьянения. Они долго и важно переговариваются с кондуктором; для них добраться домой — великое дело; красочный туман в их головах заставляет считать героическими или остроумными самые простые слова, а когда один из них называет кондуктора «официант», омнибус почти взрывается от хохота.

Другой пассажир рассеянно смотрит на свои вытянутые ноги и время от времени бормочет себе под нос волшебное заклинание:

— Этот Карл… Этот Карл… — и всякий раз ударяет себя по колену, смеется, подвывая, потом снова погружается в задумчивость и опять загадочно просыпается.

Трезвый и усталый, стоит между ними кондуктор и с серьезным видом компостирует билеты.

В центре города безумствуют неоновые рекламы. Раскаленные буквы карабкаются по решеткам вверх, как обезьяны в клетке, сменяют друг друга и разбрасывают над пустынными улицами какое-нибудь имя или название. Длинный ряд такси терпеливо стоит под кружащимся вихрем красных светящихся букв на рекламе зонтиков. Высоко в ночном небе, над крышами, неистовствует в длинном прямоугольнике гонка электрических фраз, восхваляющих новый фильм, который обязательно надо посмотреть. На стене дома появляется бокал с шампанским, потом бутылка, затем пузырьки, сверкая, поднимаются из бокала, их приветствует взрыв восторга кавалеров.

Заезженный до белизны асфальт отражает городские огни, словно мутный, темный поток… Проехали.

Девушки, в дешевых платьях, с ярко накрашенными губами, сбились в кучку в углу омнибуса. У них увядшие лица, и даже у самых молоденьких уже появилось выражение той беспощадной жесткости, которую порождает жизнь без иллюзий. Они презирают людей и не доверяют им, потому что знают только их низменные, заслуживающие презрения стороны.

Бледное существо напевает себе под нос какой-то шлягер, но

скоро замолкает и начинает шуршать бумагой, в которую завернуты бутерброды. Она ест и отрешенно разглядывает свои руки. Неужели юные лица могут быть такими серыми и отчужденными!

Тучный мужчина откинулся на сиденье, широко расставив ноги. Он сложил руки на животе и храпит, голова упала на плечо, рот полуоткрыт, его лицо обрело невообразимо детское выражение, круглое, розовое, смешное лицо, такое восхитительное в своей наивности, — подобные физиономии бывают только у лукавых насмешников.

Напряженные и рассерженные, входят и садятся друг напротив друга двое — поссорившиеся супруги, это сразу видно, потому что на их лицах не волнение бурной, быстро забывающейся размолвки, а стойкое раздражение, сгладившееся, вероятно, за долгие годы, но сейчас прорвавшееся наружу из-за новой ссоры. Затем волна духов заполняет салон. Это появились засидевшиеся в гостях люди.

По дороге в город омнибус останавливается везде — но никогда не бывает у него более странного, разнообразного груза, чем во время последнего рейса.

Последний пассажир выходит. Кондуктор смачно зевает и пролистывает блокнот с подсчетами. Омнибус приближается к своему пристанищу. Появляется огромный плоский гараж. Он еще освещен, оттуда доносятся голоса.

Когда въезжает последний омнибус, все желтые братья уже стоят рядком и дремлют. Он медленно останавливается, тормоза вздыхают.

Но вот уже на нем искрятся струи чистой воды, гудят пылесосы, на него нападают тряпки и обрезки замши, его моют, чистят, протирают и устанавливают над ямой. Пока он обсыхает, снизу, из ямы, заботливые руки ласкают его маслом и керосином: уставшие поршни, цилиндры, подшипники, шарниры, — все они расслабляются и успокаиваются от этой дружеской заботы, они впитывают ее и готовятся к заслуженному отдыху.

Последний омнибус ставят рядом с остальными. Уже гаснут огни в большом гараже, и тут водитель обнаруживает на подножке что-то серебристое — ветку ивы с сережками. Он осторожна вытаскивает ее и берет с собой. Дома его ждет молодая жена.

(1925)

Борзая

— Я назвала ее Рат-на-даш, — сказала Баб, капризная молодая дама, помешанная на красоте и утонченности, — потому что в ней всегда есть что-то неуловимо таинственное и чуждое. Она не такая, как все остальные простодушно-привязчивые собаки, всячески демонстрирующие верность, которая так легко объясняется ожиданием еды и дрессировкой, она не слуга человека; она — существо, которое трудно разгадать, по-своему одинокое, как и все благородное… она может часами неподвижно лежать в загадочном молчании, словно индийский факир.

И поэтому я назвала ее Рат-на-даш; мне нравится смотреть, как она лежит там в углу на своей подушке, молча и неподвижно, живописно раскинувшись, в каждом ее изгибе — порода и благородство. Любое ее движение ставит в тупик, и ты в изумлении следишь, за ней, до глубины души пораженный ее грацией; она всегда произведение искусства, что бы она ни делала; ее элегантность захватывает и восхищает: отдыхает ли она, опустив голову, или лениво поднимается, идет ли размеренными шагами или несется длинными прыжками по жнивью, — она всегда произведение искусства, совершенное в движении, будто живой ритм красоты.

Она всегда словно окружена нежной магией, ей можно поклоняться и при этом не казаться себе смешной. У нее есть что-то общее с жирафом, этим самым элегантным животным; она, как и жираф, кажется почти ненастоящей из-за декадентской длинноногости стройного тела. Когда видишь, как она бежит, невольно вспоминаешь необычные прыжки австралийских кенгуру; ее суставы пружинят, словно тело не подчиняется законам притяжения, и ты прямо-таки ждешь, что внезапно в мощном прыжке она исчезнет в голубизне небес.

Вы только посмотрите на нее, на эту узкую, длинную морду русской борзой с маленькими, плотно прилегающими ушами, в которых просвечивают жилки. В золотисто-коричневых глазах такая немая тоска, что кажется, если вглядеться в нее, вот-вот догадаешься, в чем состоит ее загадка.

Я люблю гулять с Рат-на-даш по осеннему лесу. Она идет по опавшей листве между стволами деревьев и кажется фантастическим существом из эпохи барокко, которому удалось вырваться из мистических чар. Надо видеть ее, когда во всем этом красочном умирании природы она одна являет собой пружинистую, концентрированную жизнь, а изогнутая линия спины — словно клинок рапиры.

От нее не требуют ни одной из обычных собачьих добродетелей; она не должна сторожить, ее не учат бросаться на людей, ей не надо быть ни умной, ни забавной, ни ловкой; она — просто роскошное создание; ей не надо ничего, только быть прекрасной, потому что любая красота бесцельна и самодостаточна…

— Но поверите ли вы после этого гимна, Баб, что в бескрайних степях России она хватала в прыжке лис и на бегу перегрызала глотки волкам? Может быть, тайна ее поразительной отчужденности, которой вы посвятили свой восторженный экспромт, заключается именно в том, что теперь она, чьи родители, может быть, еще перегрызали глотку волку, стала всего лишь экстравагантным фоном вашей мальчиковой стройности. А когда она грустно молчит, не исключено, что в ее крови всплывает память предков, принадлежавших, возможно, к охотничьей своре великого князя Николая Николаевича в имении Першино.

Каждую осень в Першино приезжал великий князь, чтобы устроить охоту на волков. Представьте себе такую картину: на рассвете из имения выезжают егеря. Каждый ведет на поводке трех борзых. Они движутся по направлению к лесу и полностью окружают его. Молча застывают они на своих местах в ожидании дичи, которую к ним должны пригнать.

Вот подъезжают верхом подъегеря в красных полукафтанах и подводят парфорсных собак. Эти борзые, наученные загонять дичь, сами ее не хватают, а только поднимают и гонят к ловчим сворам.

С громким лаем несется стая стройных белых тел сквозь чащу. Скоро опушка леса оживляется. Выскакивают испуганные зайцы. Им дают убежать. И лисе, осторожно принюхивающейся и озирающейся, даруют жизнь. Но вдруг лица егерей напрягаются; лай парфорсной своры, гонящей зверя, становится пронзительным и злым. И вот уже на опушке появляется серая тень, скользящая к укрытию одного из егерей. Он тут же спускает своих борзых, начинается гонка не на жизнь, а на смерть. Три борзые кидаются вслед за убегающим волком. И догоняют его. Одна из них так яростно бросается на добычу, что они вместе летят кувырком. В следующее мгновение волк, которого собака держит за горло, уже лежит на земле. К нему бегут слуги, связывают и относят к саням, ожидающим неподалеку.

Но бывает, что слуги не успевают, и сильный волкодав в яростном поединке успевает убить волка. Вот так загоняют зверя за зверем, пока не отловят всю стаю, а затем рожок созывает собак.

Сейчас в Советской России уже не разводят борзых, и не бывает такой охоты. Прошли времена, когда один помещик, какой-нибудь смоленский Самсонов, держал свору в тысячу борзых…

Вы можете себе это представить, Баб? Тысяча Рат-на-дашей, тысяча этих породистых изящных созданий с благородными мордами и светящимися шелковистыми локонами несется звонким ураганом к горизонту по бескрайним степным просторам? Что за зрелище!

А теперь прощайте. Благодарю за чай. Может быть, от меня вы узнали что-то новое, что пригодится вам для иронических раздумий о Рат-на-даш, вашей борзой, которым вы посвящаете часы досуга!

(1925)

От Кнолля до Миньон

Вот так и ходишь годами мимо своих соседей, вначале только сухо и вежливо здороваясь, а потом однажды вечером, столкнувшись с кем-нибудь из них перед входной дверью и узнав, что сосед забыл свой ключ, внезапно заговариваешь с ним, потом вы периодически встречаетесь, и из всех этих незначительных встреч со временем возникает шаткое, поверхностное знакомство, ни к чему не обязывающее и ни о чем не позволяющее судить; вы и знакомы, и не знакомы одновременно — и вдруг ясное небо разрежет психоаналитическая молния и обнаружит в твоем знакомом глубины души и духовные цветники, о которых ты и не подозревал, на которые никогда не обращал внимания, даже не догадывался об их существовании.

Вот, например, господин Кнолль, о котором я годами не знал ничего, кроме того, что его квартира расположена под моей и что у него есть граммофон. Каждое утро он выходил из дома в аккуратно вычищенном пиджаке, с потрепанным коричневым портфелем, и возвращался после обеда всегда в одно и то же время; однажды его прислуга попросила у меня стремянку — так мы и познакомились. Мы даже в определенном смысле подружились, потому что наши взгляды на погоду, на плохие времена и нехватку денег совпадали; короче, этот Карл Кнолль был дружелюбным, солидным, спокойным, скромным, симпатичным господином; немного полноватый, не мечтатель, не пустомеля, не ветреник, а государственный служащий, уверенный в том, что пенсия ему обеспечена, честный, преданный, совестливый, непьющий — верный чиновник жизни.

Упомянутая выше психоаналитическая молния сверкнула над Ваннзе[13]. Я катался там на моторной лодке и вдруг увидел, что совсем недалеко от нас раскачивается байдарка. Ее владелец маневрировал своей деревяшкой с такой отвагой и бесстрашием, что мы чуть не протаранили его лодку. Возмущенные, мы закричали на него, но тут слова застряли у меня в горле — вытаращив глаза, я уставился на полноватого, отчаянно-смелого гребца: это был Карл Кнолль; он тоже увидел меня, улыбнулся и помахал рукой.

Разумеется, совсем не обязательно, чтобы один и тот же человек был и специалистом по сбору налогов, и мастером гребли; нет ничего предосудительного в том, что владелец граммофона захотел услышать, как звучит этот аппарат на воде; против наполовину початой бутылки и стакана на корме лодки я тоже ничего не имею — но сама лодка, элегантная, изящная,

маленькая лодка цвета красного дерева, в которой едва хватало места для двоих, поразила меня до глубины души. Дело в том, что она называлась «Пират».

Это название и выдало сложную двойственную природу Карла Кнолля. Я знал его как человека принципов, как приверженца закона, как профессионального стража порядка. И вот я встречаю его в синем с белыми полосками купальном трико на Ваннзе, на борту лодки, которую он сам назвал «Пират». Неужели он не мог найти другое достойное название, например «Регресс», или «Всего четверть часа», или «Финансовое управление», или какое-нибудь деловое «Подлежит возврату», во всяком случае, что-то из своей сферы деятельности? А может быть, «Стрела», «Чайка» или еще что-нибудь нейтральное? Нет, ему обязательно нужно было назвать байдарку «Пират»! Какое таинственное подводное течение проявилось в этом? Не кажется ли вам, что это название выдает в Кнолле анархистского элемента, не разоблачил ли он этим себя самого?

И при этом он, глубоко удовлетворенный, браво плавал по Ваннзе и продолжал мешать моторкам. Ну, Кнолль, воскресный байдарочный пират-краснодеревщик, вот уж в ком мне и в голову не пришло бы искать морского разбойника!

Кнолль открыл мне глаза. Это озеро Ваннзе одними только названиями лодок дает пищу для сенсационных разоблачений. Вон как раз мимо проплыла яхта, у штурвала — элегантная, стройная дама с короткой стрижкой, рядом — выглядящий очень по-английски деловой человек: квадратная голова, резкие черты, жесткое лицо, прямоугольная трубка, современен до мозга костей, победителен в каждом жесте — и как же называется яхта? «Орел»? «Сокол»? «Лилиан»? Ничего подобного — она называется «Дядюшка Брэзиг»[14]!

Кто мог бы предположить за строгой элегантностью столько чувства, такую склонность к идиллии? Фриц Рейтер, дядюшка Брэзиг?..

А вот там еще одна лодка с уютно устроившимся в ней не в меру тучным существом, которое с удовольствием намазывает сильными, округлыми пальцами полкило взбитых сливок на кусок торга, потом, широко открыв рот, откусывает половину: ну разумеется, лодка называется «Carpe diem»[15]! Какую грациозную вариацию на эту тему представляет собой хозяйка!

Но всего охватить невозможно. Если у вас есть глаза, поезжайте на Ваннзе и посмотрите сами! Каждое воскресенье у вас будет тысяча удобных случаев. И если вы способны чувствовать контрасты, все эти «Ветрогоны», «Мои Любови», «Юльхен», «Бен Гуры», «Фригги»[16], «Милашки», «Миньоны» и Бог

весть как они еще называются могут погрузить вас в пучины философствования!

Пусть в жизни владельцы — хорошие счетоводы, здесь, на воде, они становятся поэтами и, давая названия своим лодкам, дают выход самым нежным чувствам.

(1926)

Трагический разговор

Люси возилась со своим маленьким стетоскопом души из розового кварца и кривила рот.

— Джек думал, не стану ли я его женой; Грегори размышлял сегодня о будущем каких-то аппаратов для усиления тока и необходимом для этого капитале и обдумывал то же самое, что и Джек, только по-деловому… Ты видишь того крупного черного господина, Лиззи? В нем, кажется, есть что-то демоническое. Давай настроимся на его волну.

Она щелчком включила «душескоп» и установила расстояние в метрах. На маленькой сине-зеленой шкале появились желтые полосы. Люси в отчаянии покачала головой:

— Ужасно, ты только посмотри, Лиззи: синий — значит, философский склад ума с романтическим уклоном… зеленовато-желтый — значит, хорошая память; плохой летчик, педантичный супруг, любит поесть — ничего демонического, Лиззи… Вот так всегда…

Мимо, кружась, пропорхнула стайка людей в масках. Люси решительно выключила свой стетоскоп души.

— Всегда одно и то же, одно и то же. Далеко мы продвинулись с нашими аппаратами! Можно за секунду вскрыть душу любого человека и все точно про него узнать. Электричество убило любовь. Как можно кого-то полюбить, если сразу же все про него знаешь?

Лиззи кивнула.

— Неожиданностей больше нет. Все известно заранее. Было бы еще интересно, если бы только ты все знала. Но ведь и все остальные все знают заранее!

На террасе организовывали пасторальные развлечения. Почтенные папаши танцевали лендлер, водили хоровод и с удовольствием хлопали в ладоши.

Люси указала на них.

— Вот до чего мы дошли! В моде буколика! Все потому, что слишком много гармонии! Ведь все всё знают: если кто-то захочет украсть, его мысли отразятся красным цветом на хрустальной панели этого ящичка. Если он решит солгать, на ней появится сетка из черных полосок. Никто больше не сможет совершить дурной поступок или злодеяние, потому что наши аппараты заранее его выдадут. Поэтому все стали такими мирными.

— Говорят, раньше было иначе, Люси! Тогда бывали трагедии, слезы, ненависть, любовь, соблазны, тайны, любопытство…

— Я уже потеряла надежду что-то испытать!

Обе вздохнули и посмотрели на своих отцов, танцующих лендлер.

Вдруг Лиззи решительно сказала:

— Я больше не буду в этом участвовать.

— Что ты собираешься сделать, darling?

— Я положу этому конец!

— Лиззи! Ты хочешь убить себя?..

— Да!

На время наступила тишина. Потом Люси пробормотала:

— Я тоже!

Расцеловавшись на прощанье, они одновременно спрыгнули с балюстрады крыши 113-этажного отеля и со свистом полетели вниз.

Но на высоте одиннадцатого этажа невидимое улавливающее электрическое устройство, автоматически приводимое в действие при прыжке, мягко поймало их и доставило обратно наверх.

В 2500 году все было оборудовано на любой случай; даже самоубийства сделались невозможны, потому что были известны заранее.

Девушки печально переглянулись.

— Я просигнализирую Джеку, чтобы он приехал… — грустно сказала Люси.

(1927)

Приготовление пунша

Кинсли появился на час раньше обычного и сразу же устроился в своем любимом кресле — так парусный корабль, застигнутый бурей, бросает якорь в родном порту. Помолчав минут десять, он глухим голосом потребовал у хозяина рюмку крепкого коньяка. Еще через десять минут — такую же рюмку неразбавленного виски. И только после порции отличной сливовицы Кинсли собрался с духом и заговорил.

— Друзья, — произнес он и оглядел собеседников. — Вы помните, я часто смеялся, когда вы утверждали, что двадцатый век катится в пропасть. Сейчас я вынужден согласиться с вами. Я только что был у одного человека, культурного и образованного, обладающего вкусом и тактом; он пригласил меня на пунш. Ингредиенты были изысканные: роскошные вина, очень хорошее шампанское — но представьте себе, этот человек, водящий дружбу с Томасом Манном и Бернардом Шоу, вдруг высыпал в напиток сахар и размешал поварешкой.

Я схватил его за руку и закричал, что размешивание пунша — уголовное преступление. Торопясь, я объяснил ему, что сахар надо развести в воде, довести воду до кипения, несколько раз снять пену и только потом, в виде чистейшего сиропа, осторожно влить в напиток, но упаси Бог — не размешивать! Потом я схватил пальто и шляпу и бежал, заметив ему на прощанье, что знать такие вещи гораздо важнее, чем читать «Волшебную гору».

Итак, друзья мои, вот что сделал человек, обладающий умом и вкусом. Поскольку на пороге Рождество и Новый год, время горячих напитков, я уже сейчас хочу дать вам несколько советов. Потому что после происшедшего я сомневаюсь даже в вас.

Вам знакома мудрость: «Чем короче дни, тем горячее напитки». Это неплохая мысль. Вы знаете и песнь Шиллера о пунше, воспевающую основные элементы этого напитка: лимон, сахар, воду и ром. Вот четыре кита, на которых опирается целая сказочная радуга многочисленных рецептов.

Проще всего купить бутылку эссенции для пунша, налить немного в горячую воду, добавить сахара и чокаться. Не то чтобы это было грандиозно, но удобно, солидно и — так как сегодня есть очень качественные эссенции — хорошо.

Нормальный *ромовый пунш* делается так: сахар растворяют в хорошем ямайском роме, добавляют немного тертой лимонной цедры и сок четверти, можно половины, лимона. Доливают кипящей воды и размешивают.

Для приготовления *грога* два-три куска сахара заливают

небольшим количеством горячей воды, чтобы сахар растворился, добавляют бокал рома и доливают горячей воды. Ломтики лимона подают отдельно, чтобы каждый мог добавить по вкусу.

Но разве это настоящий новогодний вечер, если он не сопровождается огнем? Хороший стакан крепкого рома воспламеняют и сжигают над огнем толстый кусок сахара. Потом вливают побольше горячего чаю, чтобы погасить огонь, и лимонного сока, можно добавить стаканчик Кюрасао.

Количество ингредиентов возрастает. Очень вкусно, если в небольшое количество сильно подслащенной горячей воды добавить сок половинки лимона, высокий стакан рома, бокал терпкого красного вина, капельку Кюрасао и пять капель бенедиктина — а потом обязательно горячую воду.

Пока что остановимся на *роме*. Возьмите большой бокал рома, добавьте в него три яичных желтка, поставьте на огонь, налейте немного горячего сахарного сиропа и чуть-чуть ванили. Потом добавьте еще один желток и взбивайте, пока смесь не загустеет. Это называется яичный пунш, он хорош для измученных душ.

Нечто похожее получится, если взбить до пены яичный желток с сахаром, влить туда две капли ванильного ликера, по маленькой рюмке коньяка и рома и бокал горячего молока, добавить хорошо взбитый белок и снова долить горячего молока до краев. Знатоки называют этот напиток «пунш для грудничков».

Замечательная вещь — «пунш-жженка», для его приготовления два куска сахара заливают двумя ликерными бокалами крепкого коньяка и бокалом рома и поджигают. Сюда же нужно добавить чашку очень крепкого кофе и немного горячей воды. Этот напиток хорош для меланхоликов и деловых людей, которым во сне слишком часто является конкурсный управляющий.

Схожим образом можно смешивать напитки с *араком*[17]. Вот примерный состав: белый портвейн, мозель, арак, чуть-чуть коньяку. Или: два взбитых яичных желтка, сахарный сироп, рюдесгеймское, арак; три последних компонента нужно подогреть и только потом добавить яичные желтки!

Простой *пунш с араком* готовят следующим образом: берут по одной части коньяку и Кюрасао, по полчасти арака и рома, немного лимонного сока, сахарного сиропа и соответствующее количество горячей воды.

Существуют также разнообразные *пунши с шампанским*, но, изготовляя их, надо иметь в виду, что небольшое количество шампанского добавляется всегда в самый последний момент. Мне эти рецепты не очень нравятся: нельзя пить шампанское горячим.

Само собой разумеется, любой пунш можно приготовить с *фруктами*. Но при этом следует избегать яиц и молока; можно смешать любое вино или ликер с араком или ромом. Фрукты посыпают сахарной пудрой, чтобы они дали сок, — для этого их надо подготовить заранее — и потом этот сок смешивают с араком, коньяком, мадерой, шерри и так далее. Имеет смысл взять для такого пунша слабый чай хорошего качества.

Дамам нравится, когда вместо сахара используют чистый *мед* или смешанный с сахаром. Попробуйте как-нибудь вот такой рецепт: доведя хороший портвейн почти до кипения, медленно влейте в него немного бенедиктина (а еще лучше пряную домашнюю травяную настойку), коньяк и мараскиновый ликер, добавьте мед, две столовые ложки крепкого чая и влейте все это в чашу для пунша, в которой предварительно смешайте небольшое количество холодного бенедиктина, коньяка и мараскинового ликера. Затем добавьте туда же маленькую рюмку арака или рома и чашечку крепкого кофе. По вкусу можно при варке добавить немного гвоздики или корицы (совсем чуть-чуть). Но лучше сначала попробуйте.

В заключение еще один совет о приготовлении *горячих крюшонов*. На три бутылки хорошего белого вина — а для крюшона всегда надо брать хорошие вина — натирается цедра одного лимона и выжимается сок. Потом, не доводя до кипения, добавляют большой бокал коньяку и два бокала арака и подслащивают густым горячим сахарным сиропом.

Другой вкус достигается, если вместо коньяка или арака медленно вмешать шесть — воешь яичных желтков и несколько натертых миндальных орехов. Вкус можно разнообразить, если в горячее белое вино тонкой струйкой влить подслащенный фруктовый сок (ананасный, клубничный, персиковый) и портвейн, а затем добавить немного арака с коньяком.

Я предоставляю вашим изобретательным умам возможность придумать другие, еще более индивидуальные смеси; я привел только самые известные, но обычно их хватает. Но если у вас нет настроения или навыка смешивания более сложных напитков, готовьте простые: сахар с ромом, сахар с араком, сахар с можжевеловой водкой, сахар с бренди — к ним горячую воду, а в два первых — лимон. Ко всему можно добавить коньяку; он никогда и ничего не испортит.

И помните — у горячих напитков бывает только один большой недостаток: они могут оказаться слишком слабыми!

(1926)

Гимн коктейлю

В тусклом свете бутылки с ликерами казались мерцающими рубинами, опалами и топазами. Свет серебрился на бокалах и пропадал в сумерках углов и в толстых коврах. Женщины в розовых отбликах напоминали стройных фламинго.

Лавалетт улыбнулся: опиум — хорошее средство; он успокаивает и обнажает смысл вещей. Но его можно курить только в Сайгоне и Кантоне, во всех остальных местах его портят. Морфий — для пошлого отчаяния, а кокаин годится только для дилетантов жизни. Они действуют слишком резко, поэтому чувство стиля с ними несоединимо. Значит, для того чтобы усилить ощущение жизни или текущего момента, остается только употребление крепких коктейлей. Вино делает людей поэтами. Оно легко развязывает языки и облегчает общение — а кто болтливее поэтов! Вино — напиток легкости и радости, без него невозможно жить, оно объединяет и сглаживает противоречия, поднимает настроение и сближает одинокие души.

Коктейль — эссенция. Он словно концентрирует, делая тебя молчаливым. Это не напиток, а питье. С ним легко обнаружить истинную градацию ценностей, вскрыть различия и противоречия. Он не сближает людей, он заманивает в очаровательное одиночество. Его лучше пить в узком кругу, а не в многочисленном обществе.

Трудно распознать вехи любви; еще труднее следовать ее законам; но самое трудное — прочувствовать в тончайшем созвучии ускользающее, неизъяснимое в женщине, нечто особенное, светлое, подсознательное, импульсивное. Но разве легче из мараскинового ликера с помощью осветленного апельсинового экстракта и доведенного до кипения бенедиктина, радужной вязи пурпура, движения ножа и припудренного золотом неба, капельки абрикотина и козьих сливок выманить волшебный аромат юга, запах солнца, коричневой травы, бронзовых пастухов, Пана и романтического шума гавани?

Пить ликеры, не смешивая, — примитивно. Правда, еще хуже пить крепкие вина с шампанским. И у вина, и у шампанского есть свой букет, их следует пить отдельно. У ликеров есть душа, но раскрывают они ее только в смеси.

Каждый коктейль — музыкальное произведение. Бывают коктейли в до мажоре; разве можно представить их без коньяка? Или коктейль в ля-бемоль миноре без ананаса? Разве возможен нежный экспромт в ми-бемоль мажоре без ванили и ликера «Кордиаль-Медок»?

Заманчиво создать симфонию момента, сонату настроения. Вступление — светлое аллегро Кюрасао, основные темы состоят из коньяка и водки, за которыми может следовать секвенция из небольшого количества очень старого портвейна. Затем — анданте кон мото а-ля Манхэттен, мелодичное адажио в стиле молочного, кофейного или яичного коктейля, приглушенное крепким кофе, для любителей, может быть, еще гротескное скерцино с тминной водкой и мокко, а потом бодрое рондо мятного абсента.

Можно придумать бесконечное количество комбинаций, множество вариаций на тему джина, мятного ликера и «Николашки»[18]. Когда Шопен играл ноктюрн, он обычно большим пальцем проводил слева направо по клавишам рояля, чтобы этой неожиданной концовкой предотвратить проникновение обыденности в настроение. Тому, кто провел ряд смешиваний, следовало бы подать в заключение устрицы с большим количеством красного перца и острым соусом.

При смешивании коктейлей на одном рассудке далеко не уедешь. Настроение придает особую остроту. Тут начинается современная мифология. На горизонте возникает расплывчатая фигура Кинсли. Он был верным компасом в море коктейлей, инстинктивно находившим верный путь. В мрачный ноябрьский четверг он смешивал одни коктейли, в воскресный майский день — другие; он мог в комнате в стиле бидермайер при помощи фруктов, ликеров и арабского изюма воссоздать серебристые звуки клавесина, он знал, что для темноволосой девушки, сидящей в комнате у высокого готического окна, надо смешать один коктейль, а для белокурой любительницы гольфа на террасе клуба — совсем другой.

Он ничего не спрашивал, он сразу чувствовал тип и реагировал на него с помощью миксера. Он побеждал без слов и разгадывал, не разрушая очарования.

Как неуместно вечером носить светлые костюмы, так неуместно в сумерках смешивать светлые коктейли. Но самое большое таинство — предрассветный коктейль.

В подогретый абрикотин в последний момент добавляют измельченный лед, смешивают со сливовой настойкой, предварительно взболтанным имбирным пивом, померанцевой водкой и капелькой лимонного сока, потом добавляют сливок, и сразу же — две капли Кюрасао. В бокале начинается кристаллизация; примерно три минуты можно наблюдать, как слои расходятся по краям. Постепенно это движение прекращается и появляются лучистые прожилки, тянущиеся из центра к краям. Подобно сотам, наполненным медом, висят в

бокале насыщенные кристаллы. После этого добавляют свежий ананасовый сок, переливают смесь в круглую хрустальную бутылку, герметично запечатывают ее, нагревают и снова охлаждают в ванне в течение часа до температуры льда. Семь ночей при полной луне ее выставляют на лунный свет, а затем хранят в темноте. На нее никогда не должны падать лучи солнца. Через год бутылку откупоривают.

Она-то и служит основной эссенцией для коктейля предрассветного часа. Но к ней добавляют еще одиннадцать других ингредиентов, о которых я умолчу.

Для смешивания коктейлей необходима Особая сноровка, способность соединять различные компоненты. Коктейль разнообразен, как сама жизнь. Он — бриллиант, многочисленные грани которого сверкают тысячами красок; но все-таки это единый бриллиант.

Если знать удельный вес напитков, можно создать игру красок и сделать слоистый коктейль, похожий на разноцветные кварцевые пластины. Зеленые волокна сливовой настойки и красные прожилки шерри образуют в кристально чистой водке странные спирали — с их помощью в низких бокалах можно создать цветовые нюансы, достойные Кандинского, особенно если накапать туда старого рома, арака и черничного сока. Можжевельник и горечавка из прохладных каменных кувшинов образуют изысканный букет с чистейшей сливовой настойкой и вишневкой, к которым дополнительно надо добавить крепкие, маслянистые ликеры, приготовленные по монастырским рецептам, взятым из пожелтевших книг.

Начинать приготовление коктейля можно, только имея не меньше тридцати ингредиентов. Безусловно, необходима тренировка. Коктейль любит руку мастера. Механически слить напитки еще не значит смешать коктейль. Через некоторое время привычка больше не помогает, нужен талант. Мастерами становятся лишь немногие.

Лавалетт замолчал, и со всех сторон посыпались вопросы о рецептах. Он презрительно огляделся:

— Рецепты! Вот сегодняшняя жизнь: рецепты! Практическое освоение для домашнего употребления! Разве я могу знать рецепты… Разве тогда я смог бы так говорить? Такая близость только снимает чары. Лишь расстояние проясняет. Бели вам нужны рецепты, спросите у бармена! Да и что понимаете вы, деятели, в грации и творческом опьянении теории…

(1927)

Превращение Мельхиора Сирра

Волшебная история

Мельхиор Сирр был одной из тех редких натур, в которых неожиданности спят, как будущие вишневые ветки в апрельских почках. Структурой его переживаний был метафизический ромбоид, в котором все нормальное и серьезное, осторожно перевернутое с ног на голову, отражалось самым неожиданным образом в вогнутых стеклах его фантазии.

Необычное его никогда не привлекало, хотя и преследовало, как натасканная овчарка. Когда Пармская принцесса заговорила с ним на бульваре Сан-Мишель и попросила покатать ее часок по утопавшему в сумерках городу — в этих серебристо-серых, цвета голубиного крыла сумерках майского вечера, сумерках, когда весенние аллеи кажутся огромными канделябрами, а воздух источает аромат вин из Прованса, — он, рассеянно улыбаясь, поцеловал самые прекрасные руки Европы и отказался от этой изысканной импровизации, потому что не хотел нарушить обещания прийти на игру в тарок. Однажды вечером после длительной пирушки, гвоздем которой был сотерн высшей марки, Мельхиор сел в своей автомобиль, чтобы поехать на светский танцевальный вечер. Он сам вел машину; ему хотелось побыть наедине со своими мыслями и предаться мечтаниям о новой комбинации для игры в скат, которая возникла в его голове после разглядывания китайских рисунков тушью.

Несколько раз ему пришлось останавливаться на перекрестках. Когда он включил первую скорость, по машине прошло сдержанное дрожание, она стремительно рванулась вперед, празднуя свободу на второй скорости, а потом помчалась, словно на крыльях, на прямой передаче. Мотор вибрировал так, словно золотисто-коричневая виолончель выводила свою партию в адажио для флейты, его звуки сливались с меланхоличными размышлениями Мельхиора о безнадежном большом шлеме с четверками во второй руке и неожиданно находили там ответ и отклик; в загадочном параллелизме слились ритмика несущейся на полной скорости машины и фосфоресцирующее тремоло чувств, вызванное превосходным сотерном; вспыхивали искры, рождавшие ассоциации; подобно северному сиянию, сверкал фантастический поток барочного настроения, и с беззвучным громом сверкнуло соединение: мистический мост между человеком и машиной возник в Мельхиоре Сирре… Машина стала

человеком… Человек стал машиной. Под крышкой капота билось сердце… В карданном валу пульсировала жизнь… Жилы Мельхиора перекачивали бензин… Переключенные на ближний свет фары стали его глазами… Все сильнее становилась взаимосвязь, все больше она захватывала его в плен, так что, прибыв на место, он вышел почти шатаясь.

Здесь его ожидала сенсация. Гигантским кортежем стекались сотни автомобилей к залитому светом вестибюлю; машины равномерно дышали, тихо шурша, невольно пофыркивали, гневно подергивали колесами, урчали, ревели, пели, жужжали — жили!

Неожиданно в голове Мельхиора вырисовалась туманная идея, масштаб которой поразил его. Охваченный ужасом, он инстинктивно поднял ладони, растопырил пальцы, взмахнул руками и глубоко задышал: он почувствовал, как действуют его превратившиеся в карбюратор легкие, почувствовал механику своего тела-машины, он был автомобилем.

Резким движением обернулся он к своим собратьям, стоявшим на асфальте, и заговорил.

— Вы, четырехколесые, вы, динозавры двадцатого века… вы… — но язык не слушался его: тело оказалось не в состоянии следовать за высоким полетом духа. Тронутый до глубины кузова-души, Мельхиор вступил в освещенный холл. Здесь впечатление от волнующего, романтического происшествия значительно усилилось, потому что в хаосе расположенного выше танцзала он видел только пол и мелькающие ноги, которые показались ему рядом суетливых, поднимающихся и опускающихся поршней и шатунов. И здесь ритм грохочущего под землей мотора определял движение. Мельхиор деловито констатировал, что машинам не хватает масла, потому что в своем состоянии он принял жалобы саксофона за жужжание перегретого цилиндра.

И тут перед ним забрезжила цель. В прекрасном крутом вираже он пересек зал и резко затормозил перед баром, чтобы заправиться горючим. Широко раскрыв глаза, он осматривал разноцветную лабораторию, в которой дистиллировали напитки, синтезировали молочные коктейли, разные сорта рома и крепкие коктейли. Но сосредоточился он только тогда, когда увидел марширующий мимо него парад вин. Бутылка к бутылке, с отпечатанными руническими буквами, обозначающими содержимое. Это было то место, где стоило припарковаться, идеальное место для подготовки к дальнему путешествию.

Мельхиор тщательно выбирал горючее. Его пристрастие к белому бордо заставило его снова остановиться на бензине «сотерн». Но так как его одного Мельхиору показалось недостаточно, он добавил еще крепкого бургундского бензола и

полностью посвятил себя заливке бака. Будучи достаточно мудрым, он знал, что масло — душа каждой машины, и принял после этого всего еще немного тягучего бенедиктина.

Потом легким движением руки включил первую скорость. Ноги медленно пришли в движение. Мельхиор коротко посигналил и перешел на вторую скорость. Делая в среднем пятнадцать километров в час, он объехал зал и направился по проезду, появившемуся между удивленными танцующими, к лестнице. Здесь он потянул свой четырехколесный тормоз и заскользил в долину, по направлению к выезду, вцепившись для лучшего торможения руками в жилетку. Он резко свернул налево, но вынужден был тут же остановиться, потому что перед ним вспыхнули фары. Он попытался проехать справа, но и там угрожающе засветились фары, — казалось, они были повсюду, куда бы он ни взглянул. Потсдамская площадь, решил он, и подъехал к уличному фонарю, потому что ему не оставалось ничего другого, как остановиться и переждать, пока все остальные автомобили проедут и освободят путь.

Он выключил зажигание и стал ждать. Он ждал. Ждал… Автомобили и фары начали кружиться перед ним, все быстрее и быстрее, загадочные магические огни начали дробиться, а ветровое стекло раскололось, раздвоилось, рас-троилось, и все закружилось, словно какая-то спиритическая карусель.

Через некоторое время портье нашел осевшего на асфальт Мельхиора Сирра, который спокойно спал с широко открытыми глазами, прислонившись к фонарю. Перед ним, одинокий и такой же спокойный, стоял его автомобиль, освещенный, как положено…

(1926)

Маленький автомобильный роман

Он — двухместный спортивный автомобиль, вытянутый, восхитительной формы и сказочно благородных линий; высокоскоростной, породистый, как борзые першинских кровей, с мотором, прошедшим долгую селекцию. Шасси — единый ровный сплошной рисунок, с неслыханной дерзостью уничтожающий все, что называется дугой, кривой и изгибом, освобожденный от банальности подножек и тривиального параллелизма крыльев и линии колес. Зато малогабаритный и нахально приземистый, горизонтальный, как брови рыбаков и охотников — людей, которым приходится много вглядываться в море и простор; узкие прямые полоски на кожухе радиатора, над передними колесами и позади них, отталкивающие грязь залитых дождем шоссе. И только *одна* над задним колесом, чтобы защитить спину. А так — все колесо свободно, и когда автомобиль, подобно призрачной тени, несется по туманному шоссе, за ним, словно серый ураган и далекая гроза, бушует вихрь отбрасываемой назад влажной земли и кусочков щебня.

Низкое ветровое стекло; низкий руль; низкие сиденья, расположенные в единственной углубленной плоскости автомобиля. Обивка из красной кожи; кузов — совсем светлый, блестящий никель, сверкающие стекла…

Гонщик, обгоняющий время и пространство.

Она — двухместный кабриолет, мягких форм, лишенная резкости линий. Доминирует не мотор, а кузов с двумя дверцами. Все технические части бесшумны; восемь цилиндров расположены в два ряда, коленчатый вал, скользя без малейшего шороха, поворачивается вокруг своей оси мягко, как ручной леопард. Никогда нельзя было сказать, работают поршни или нет, настолько беззвучно двигались они вдоль гладких маслянистых стенок своих цилиндров.

Рессоры смягчали все удары и неровности дороги, надежные сторожа, которые никого не впускали с улицы, даже если кому-то удалось бы проскользнуть мимо толстых шин низкого давления… Сиденья казались бесконечными, так глубоко ты в них погружался. Словно одежды, облегали они спину и поднимались немного наискосок, чтобы удобно поддерживать колени. В углах множество подушек, пуфов, одеял.

Даже если сильно хлопнуть дверцей — все равно она закроется нежно и тихо, поддерживаемая чудо-шарнирами, смягчающими удар.

Прекраснее всего было солнцезащитное стекло цвета старой

бронзы, установленное наискось перед лобовым стеклом. Потребовалось много дней, чтобы найти стекло такого оттенка. Но зато оно давало салону парящее, смешанное, плавающее освещение, при котором кожа приобретала тот оттенок золотисто-коричневого цвета, что отражает определенный стиль жизни.

В первый раз они встретились перед светофором. Увидев изысканный профиль ее радиатора и взглянув в ее фары, Он потерял самообладание. На мгновение бензин в его жилах остановился, а потом закипел от любви.

Она тоже его заметила и почувствовала в своих цилиндрах сладкую слабость. Стало слышно, как от волнения застучали ее поршни, а кровь взволновала стартер, так что Она немного поперхнулась…

Во второй раз они встретились в гараже южного отеля. Целую итальянскую ночь, наполненную звуками колоколов, простояли они рядом и — нет, не говорили, как люди, а молчали о своей любви.

Только на следующее утро, во время заправки, они решились чуть-чуть качнуть друг другу колесами.

Жизнью одних автомобилей управляют демоны; она жестока и полна поломок, трудна, болезненна, коротка — и заканчивается чаще всего внезапной смертью. А подсознательным бытием других руководят боги, которые нежно ведут их к долгим годам счастья.

Он и Она тоже жили под счастливыми звездами. Правда, до этого вдруг наступили сумрачные дни страданий. Каждое утро их грубо отрывали друг от друга. Его гнали в рассвет занимающегося дня, а Она, одинокая, оставалась во тьме гаража. Только поздно вечером снова открывались ворота, и, овеянный вечерней зарей и женским смехом, Он возвращался к Ней из необъятной дали.

Наконец Он нашел способ больше не покидать Ее. Гордый, хотя и парализованный, Он вскоре после отъезда вернулся с поломанной осью. Теперь они долго стояли рядом, пока не прибыли запасные части.

Потом они ездили друг за другом по длинным шоссе вдоль пурпурных и синих морей; вместе взбирались на обрывистые перевалы в горах, а потом, как на крыльях, неслись домой.

Боги любили их, поэтому послали им такую благополучную судьбу, какая только возможна для автомобилей, жизнь которых всегда наполнена бескомпромиссным мужеством и безумной скоростью: теперь они оставались вместе в своем гараже-рае с видом на сад, заботливыми шоферами и центральным отоплением, где с них сметали пыль страусовыми перьями и

протирали мягкими тряпками.

(1926)

Вращение вокруг Феликса

Мортон не мог в своей жизни похвастаться ничем другим, кроме как тем, что он прожил тридцать пять лет и сделал это с определенной легкостью. Он и в дальнейшем не собирался отягощаться какой-либо целью и волей к ее достижению. При этом его ни в коем случае нельзя было упрекнуть в инертности; напротив, он чрезвычайно живо участвовал в событиях этой жизни. Но остерегался слишком активного участия. Целеустремленный родственник с зарплатой двенадцатого разряда снова и снова живописал ему преимущества ежеквартального жалования, выплачиваемого вперед, и пожизненной пенсии в дальнейшем — Мортон только равнодушно пожимал плечами. В ответ на призывы не упустить возможности сделать карьеру, исходившие из уст активных мастеров устраивать свою жизнь, он начал разводить голубых королевских пуделей, которые очень скоро стали считаться первоклассными. Но если случайно за хорошей бутылкой вина (урожая не позднее 1921 года) завязывался разговор, то иногда он любил рассказать историю про Нелл.

Нелл удачно соединяла в себе американские и европейские качества. От американской «гёрл» у нее было глубокое убеждение, что иметь красивые ноги гораздо важнее, чем прочитать «Волшебную гору» Томаса Манна; но дар одеваться с неизменным вкусом, чувствовать меру в макияже и носить украшения скромно и к месту был вполне европейским.

Так она противостояла жизни, не стесненная культурными традициями и хорошо обеспеченная очень приличным ежемесячным векселем от папочки, который тот переводил ей в «Лионский кредит», полная ожиданий и любопытства, и можно было поставить десять к одному, что в жизни у нее все будет спортивно и с хеппи-эндом. Она была фаворитом.

Получилось иначе. Судьба всегда имеет подлость прятаться за мелочами и подстерегать в самых неожиданных местах. Идешь себе, ничего не подозревая, и вдруг попадаешь ногой в капкан, спрятанный под гиацинтами, кротовыми кучками, детским бельем и прочими буколически душевными приметами жизни. Это как история с турком, единственным уцелевшим во время кораблекрушения пассажиром, который приехал домой, решил принять ванну, потерял сознание и утонул.

Капканом Нелл оказался автомобиль. Прогуливаясь по бульварам, она остановилась перед огромной витриной, в которой стояли два автомобиля. Она уже собралась пойти

дальше, но заметила в торговом зале прекрасно сложенного мужчину. Это заставило ее войти.

Один автомобиль, бежевый, по оттенку напоминавший осенние листья клена, больше всего понравился Нелл. Второй был оливково-зеленым, с отделкой в нефритовых тонах. Посмотрев на него, Нелл неожиданно для самой себя произнесла:

— Его зовут Феликс.

И она купила его только из-за этой необъяснимой идеи, почему-то решив, что обязана сделать это. Ведь она спонтанно выделила его из разряда безымянных предметов и четко индивидуализировала.

Так он и остался Феликсом. Нелл любила его, потому что считала свою идею остроумной (не забывайте все-таки, что она была американкой). Она поехала на нем по Ривьере, которую вообще-то не очень высоко ценила — Флориду она находила намного роскошнее, потому что там были отели в мавританском стиле. Собственно, она поехала только ради того, чтобы покататься на Феликсе, и попала в Ниццу.

Однако на набережной Соединенных Штатов Феликс остановился, выдохнув последнюю каплю бензина. Проезжавший мимо спортсмен-велосипедист помог ей. Они договорились выпить мартини на террасе «Амбассадора». Перед тем как им подали «Негреско», из-за пальм показалась луна, — а две недели спустя «Нью-Йорк таймс» опубликовала меню и список гостей на свадьбе Нелл.

Через четыре недели Нелл почувствовала разочарование, через три месяца — скуку, а через полгода супруг изменил ей, и ее чувству собственного достоинства был нанесен удар. Вскоре после этого Нелл развелась, отправилась в санаторий и в приступе депрессии продала Феликса.

Ровно год спустя она снова шла по бульварам. И вдруг увидела за зеркальными стеклами Феликса, оливково-зеленого, с отделкой в нефритовых тонах, а рядом с ним его бежевого конкурента. Сзади стоял хорошо сложенный продавец. То есть вся ситуация была точно такой же, как раньше, круг замкнулся. Но год был потерян.

Нелл ограничилась рассуждениями о том, что могло бы произойти, если бы она купила автомобиль цвета осенних кленовых листьев. Его бак вмещал на шесть литров больше бензина, и он не остановился бы на набережной Соединенных Штатов.

— Но я, — заключил Мортон, — так и не смог освободиться от Феликса. Он оказывался в конце любого пути. Я начал острее видеть событий этой жизни и вскоре обнаружил, что все и всегда

было вращением вокруг Феликса. Тогда я начал заранее отдаляться от них и ограничился созерцанием… Однако бутылка пуста; давайте смешаем коктейль, который я назвал Феликсом: одна столовая ложка тягучего сиропа, две полных столовых ложки красного Кюрасао и бокал хорошо охлажденного шампанского; сверху — долька лимона… Но на дне — пять капель ангостурской горечи.

(1926)

Билли

История Билли Смита абсолютно проста и тривиальна. От этого она кажется почти трагичной; только люди, ничего не смыслящие в страданиях, полагают, что трагедию могут повлечь за собой только необычные обстоятельства. Наоборот: будничные конфликты, повседневные пошлости гораздо вредоносней, опасней и заразней: они происходят много чаще и, что самое ужасное, — совсем рядом с нами; они могут случиться с каждым в любой момент.

События, благодаря которым владелец птицефермы в Кентукки превратился в специалиста по приготовлению спагетти, были самыми рядовыми. Простая сила обстоятельств неодолимо и не без иронии повлекла его по новому пути; все это случилось из-за автомобилей и женщин — самое неудачное и неизбежное сочетание, какое только можно себе представить.

Птицеферма Билли Смита достигла поразительного благосостояния благодаря неожиданному взлету цен на яйца серебристо-белых виандотских кур; серебристо-белые виандоты были тогда в Кентукки примерно тем же, чем в дебрях немецкой литературы является Герхард Гауптман — практичный «Гете» для хозяйственных нужд. У каждого было по несколько штук.

Билли уговорили купить автомобиль. Он поразмыслил о преимуществах, посоветовался с женой и на следующий день заказал автомобиль, соответствующий его состоянию: со встроенным радио, паркетным полом и новомодным водяным насосом, который позволял использовать радиатор также в качестве фонтанчика. Хитроумное изобретение американской индустрии для жарких уик-эндов.

Во время третьей поездки жена попросила Билли, чтобы он наконец-то пустил ее за руль. Всего на сто ярдов, ведь дорога совершенно прямая.

Билли отказался. Его жена ничего не сказала, но вечером уронила корзину, в которой было семьдесят виандотских яиц знаменитого дорогого крупнопористого сорта.

Через два дня она завоевала право сесть на водительское место. В течение последующих недель Билли заплатил восемьсот долларов в качестве возмещения ущерба и дважды отдавал машину в капитальный ремонт. Крылья пришлось чинить двенадцать раз.

В день рождения Билли его жене удалось остановить автомобиль, ехавший со скоростью сто десять километров в час, в десяти метрах от мебельного фургона. У автомобиля были

действительно феноменальные тормоза…

Правда, голова Билли во время этого маневра пробила лобовое стекло и потом торчала над патентованным фонтанчиком из радиатора в венчике из осколков, сильно кровоточащая и с несколько удивленным выражением.

Шесть недель интенсивного лечения в больнице настолько восстановили его силы, что он смог подать на развод. Он был признан виновным, уплатил отступные и с облегчением продал свой автомобиль.

Билли был чувствительным человеком и не мог жить без женщины. Умудренный опытом общения с энергичной независимой дамочкой в течение последних месяцев, он выбрал одно из тех нежных, прелестных существ, с виду чрезвычайно чувствительных, какие Нью-Йорк производит в изрядном количестве — их очень много на Бродвее и киноэкране.

Прежде чем подписать брачный контракт, он спросил ее, что она думает о вождении автомобиля.

Она затряслась так, что с лица посыпалась пудра: о, нет, никогда, она даже рядом с водителем сидеть не любит, в такой ужас приводит ее мотор!

Билли радостно подписал бумаги.

Само собой разумеется, снова был куплен автомобиль, потому что как же иначе жить, при таких-то расстояниях.

И Мэйбл всегда сидела сзади, ей было страшно впереди. Билли ликовал…

Несчастный радовался слишком рано. Через неделю Мэйбл привыкла. Она по-прежнему оставалась на заднем сиденье, но начала руководить.

Если Билли, будучи в хорошем настроении, вдруг прибавлял скорость, она в ужасе так трясла его за плечо, что он чудом избегал столкновения с другим автомобилем, и вопила:

— Помедленнее, ты что, убить меня хочешь?!

Если Билли ехал медленно, она жаловалась, что он специально едва тащится, чтобы ее позлить, — почему бы ему не поехать немного быстрее? Если он делал резкий поворот, она кричала так, что он вздрагивал; если он поворачивал осторожно, она называла его неуклюжим. Если он делал ошибку, жена возмущалась, если не делал — тоже возмущалась.

Из-за этого голоса за спиной Билли стал нервным и неуверенным. Случалось, что он задевал борт тротуара, наезжал на повозку с овощами, не замечал знака. На него градом посыпались штрафы, пока однажды он не оставил автомобиль с очаровательным существом на заднем сиденье прямо перед светофором, убежал прочь и поручил все остальное Джону Ф.

Майерсу, самому ответственному адвокату по то сторону Гудзона, который все и уладил к полному удовлетворению Билли.

Три месяца он продержался, потом судьба снова подловила его. Результатом психологических изысканий Билли стала красавица с марципановой кожей и голливудской улыбкой; он думал, что она настолько безразлична ко всему, кроме цвета лица, что сквозняк при скорости выше пятидесяти километров в час будет для нее трагедией.

Здесь история Билли начинает приобретать форму баллады.

Марципановая душечка вначале была от всего в восторге. Потом она стала придираться к шляпе Билли. Да и костюм ей оказался недостаточно спортивным, а уж о цвете она и говорить не хотела.

Билли тоже ничего не сказал, но на следующий день появился в бриджах цвета резеды и галстуке цвета голубиной крови, с персидским рисунком.

Итак, с ним теперь все было all right — но автомобиль! Началось с цвета — естественно, пришлось поменять и бриджи, но покупкой нового автомобиля дело не ограничилось.

Сегодня автомобиль казался ей спортивным; завтра — слишком буржуазным; с утра не годилось пальто, вечером — костюм. Лимузины скучны, в открытом автомобиле дует, кабриолеты — банальны…

Друзья, к чему перечислять страдания Билли! Это ведь страдания каждого из нас, это — страшная трагедия мужчин-автовладельцев: чужой автомобиль всегда удобнее, элегантнее и лучше, другой водитель всегда смелее, ловчее, опытнее, но — между нами — от этого есть только одно средство: никогда не ездить с одной и той же женщиной больше одного раза. Уже во второй поездке начинаются сравнения.

Ведь согласитесь: мужчина за рулем всегда в проигрыше.

Во время поездки в горы от Билли категорически потребовали обогнать едущий впереди автомобиль. При этом у него загорелась электропроводка, машина заглохла, ее занесло, она оказалась прямо над обрывом. И тут отказал стартер.

Сконфуженный Билли вышел из машины и начал заводить мотор ручкой. Но он забыл, что в последний момент включил задний ход. И теперь прямо перед ним — у него волосы встали дыбом — автомобиль покатился назад, вниз по склону, и упал в тридцатиметровую пропасть.

Билли услышал глухой грохот падения. Он опустился на колени и вознес немую молитву об усопшей марципановой красавице.

Он еще не закончил молитвы, как она, совершенно

невредимая, вскарабкалась вверх по склону. В руке у нее был отломившийся руль, и она без слов обрушила его мужу на затылок.

Билли придумал кое-что новое. Избегать женщин ему не удавалось, поэтому он решил избегать автомобилей. На борту «Энн Лейн» он отплыл в направлении мрачной Новой Гвинеи, мечтая об идиллии среди зеленых кокосовых пальм и каннибалов.

Он прибыл как раз вовремя, к началу гонок на чемпионате пляжа, которые выиграл вождь Ки-ау-хеха. При виде тростниковых гаражей и взглядов, какими молодые каннибалки пожирали автомобиль Ки-ау-хехи, Билли поплелся обратно на корабль.

Билли побывал и в других местах: на Огненной Земле, на Тибете, в Целендорфе[19], в Гренландии, но ничего не вышло — всюду были автомобили.

Он впал в отчаяние, он читал книги Карин Микаэлис[20] и был близок к смерти.

И тут наконец подвернулся случай, обеспечивший ему достойное место среди изготовителей спагетти: Билли обрел Венецию, город без автомобилей…

Здесь нет мучительных звуков клаксона. Однотонное «Гондола, гондола» — сладчайшая музыка для его измученных ушей. Местные женщины ему нравятся. Особенно он любит в них консервативность, то, что в других местах принято называть инертностью.

У Нинетты, его жены, есть только одно желание: никогда не уезжать из Венеции. Билли с ней согласен. Они открыли ресторан и заработали много денег. У Билли честолюбивые планы. Он хочет скупить все палаццо, превратить их в отели, а потом издать мемуары. Они будут заканчиваться фразой: водители всех стран, объединяйтесь в домах отдыха Билли Смита!

Билли полон оптимизма. Он полагает, что вскоре ему придется расширять дело.

(1927)

Бла и сельский стражник

В этой истории есть особая изюминка, поскольку речь в ней идет о молодой даме, которую для краткости зовут просто Бла.

Ей рассказали, что в самой глуши Нижней Саксонии в крестьянских домах часто попадается особая разновидность кошек, которых тамошние жители называют между собой словом «триколер». «Триколер» на довольно своеобразном местном диалекте французского означает всего лишь «трехцветная» — эти кошки имеют бело-рыже-черный окрас, они не вырастают до ужасающих размеров мини-пантер, а остаются маленькими и изящными, но с великолепной крупной головой, умеют принимать восхитительные позы и мурлыкать.

Бла давно знает, что сиамские и персидские кошки существуют для банкиров и других изысканных господ, тем более что берлинские портье уже не промышляют чистопородными ангорскими, а шикарно лишь то, чего нет у других, поэтому сразу же после сообщения о трехцветных кошках, услышанного Бла от партнера по танцам, она в полном восторге решила совершить поездку на машине в страну трехцветных кошек, чтобы привезти домой одну из них в качестве трофея.

Общеизвестно, что отрезок пути от Берлина до Ганновера — самое скучное, что только может быть на свете. Едешь несколько часов, а местность вокруг все та же, начинаешь дремать за рулем и то и дело останавливаешься, чтобы выпить кофе и заглушить в себе ощущение безысходной душевной тоски в этой ровной, как тарелка, и совершенно пустынной местности.

Поэтому мы страшно обрадовались, когда в одной из деревушек попали на праздник — состязания по стрельбе, — и немедля приняли в нем участие с более чем приметной радостью. Для знакомства мы поставили хозяевам праздника несколько бутылок весьма полезного для здоровья ржаного шнапса, которые были встречены с полным восторгом. Мы с Бла были на высоте, и один прыткий местный стражник тут же пригласил Бла на танец. Они исчезли из виду, странно раскачиваясь из стороны в сторону, на манер кекуока, а мною тем временем завладели руководители праздника и настоятельно порекомендовали мне принять участие в состязаниях по стрельбе. При этом для них, как мне показалось, главным было, чтобы я прежде стал членом их клуба, для чего требовалось немедленно уплатить годовой взнос.

Люди они были до того приветливые, что я не сопротивлялся и тут же вступил в их клуб. По-видимому, они сочли меня человеком совсем не опасным. После осмотра призов — главным

среди них была автоматическая маслобойка, — по новой распивая за мой счет у стойки тот самый шнапс, многие предлагали мне выпить на брудершафт и перейти на ты. Потом кому-то пришла в голову мысль предложить мне пострелять.

Меня подвели к довольно-таки потрепанному чучелу орла, у которого уже не было ни крыльев, ни лап, ни головы. Дружески похлопывая меня по плечу, мне вручили какую-то железяку, слегка смахивающую на ружье, и всячески подбадривали, торопя нажать на курок.

Я выстрелил наудачу, и в помещении тут же воцарилась мучительная тишина. Тело орла медленно наклонилось и рухнуло на пол. Я не верил своим глазам — я попал в цель, более того, я победил в состязании и, следовательно, выиграл главный приз — автоматическую маслобойку.

Лица моих новых друзей-собутыльников вытянулись; настроение заметно упало. Руководители праздника залились краской до корней волос. Мое наивное восклицание: «Надо же — случайно попал!» — было встречено ледяным молчанием. А кое-кто уже ворчливо высказывался по адресу понаехавших чужаков, желающих захапать у них приз, пусть, мол, убираются ко всем чертям.

Когда я направился к маслобойке, несколько коренастых деревенских парней с угрожающим видом стали стеной вокруг дорогостоящей машины. Непохоже было, чтобы они горели желанием составить почетный караул для победителя состязаний. Кулаки у них были слишком большого размера.

Даже прокурору пришлось бы признать, что меня ожидали побои, а вовсе не приз. Поэтому я поступил хитро: гордо вышел вперед и в тот момент, когда они уже хотели схватить меня, громко заявил, что отказываюсь от приза и желаю пожертвовать его в фонд лотереи для сбора средств на мощение деревенской улицы.

Ситуация моментально разрядилась. Ведь у наших селян такой золотой характер, они не могут долго сердиться. Однако от нового приглашения выпить я поспешно отказался, дабы отправиться на поиски Бла.

Сельский стражник был стройный парень, на котором прекрасно сидела форма. Он энергично втолковывал что-то девушке и был явно недоволен, когда я к ним подошел. Тем не менее стражник дружелюбно осведомился, куда мы держим путь, и радостно воскликнул, что ему надо в ту же сторону, не могли бы мы захватить и его, ведь тут недалеко, каких-нибудь тридцать километров, иначе он опоздает. Бла попросила за него, а поскольку в нашей машине, к сожалению, все три места

расположены рядом, мы тронулись в путь теплой компанией. Мы прекрасно ладили друг с другом, то есть я рулил, а стражник болтал с Бла. Время от времени я обращал внимание на то, как пристально он смотрит в одну точку, но объяснил это его разгорающимся чувством. Простился он с нами чрезвычайно сердечно и, держа руку Бла в своей, пообещал вскоре дать о себе знать.

Что еще рассказать об этой странной поездке? Мы все же доехали до Нижней Саксонии и привезли оттуда огромнейший ржаной пряник весом чуть ли не в полсотни килограммов — тамошнюю достопримечательность — и копченый окорок. А вот легендарных трехцветных кошек почему-то не видели и лишь по чистой случайности все-таки приобрели одну изящную кошечку. Но жрет она непрерывно и теперь уже ростом с леопарда. О прочих событиях я предпочту умолчать.

Лишь один из нас сдержал слово: влюбленный стражник.

Он уже успел дать о себе знать, когда мы вернулись домой. Бла с видом победителя вскрыла несколько официальное с виду письмо. В конверте лежали два извещения о штрафе за превышение скорости в населенных пунктах X и Y. В качестве свидетеля был назван стражник Z, наблюдавший, находясь в машине, за стрелкой спидометра.

Вот почему взгляд у него был такой пристальный.

(1927)

Лисс и комплексный тест на пленэре

Лисс, как все женщины, не очень разбиралась в людях. А так как она была крайне общительна, то непременно попадала бы в неприятные положения и не смогла бы избежать разочарований, не обладай она очаровательной способностью почти всегда выпутываться из неприятных ситуаций.

Мы живем в эпоху всеобщей развращенности, и современному хлыщу, скрывающемуся под маской дружеского расположения, представляются довольно обширные возможности, чтобы втереться в доверие и завязать с виду безопасную дружбу, потом немного утонченности и ловкости — и вы уже одурачены.

Лисс знала это, и еще она знала, что от этого удара трудно увернуться, если он нанесен элегантно. В качестве контрмеры у нее был комплексный тест на пленэре.

Каждый раз, когда она замечала, что кому-то из ее знакомых удалось заинтересовать ее больше, чем она планировала, она приглашала его провести с ней день на природе. Утром она заезжала за обрадованным, ничего не подозревающим беднягой на своем двухместном автомобиле и уже через два часа поездки находила идиллическое место, отдаленное и безлюдное, где можно было остановиться и отдохнуть.

Лисс исходила из того, что современная жизнь редко дает передышку, а потому очень трудно как следует кого-то узнать. Всегда одно событие теснит другое, есть танцы, ревю и театры; есть книги, приглашения и так много знакомых, о которых можно посплетничать и таким образом заполнить паузу, что любой собеседник даже при средних способностях может найти способ использовать всю эту мишуру, чтобы прикрыть ею внутреннюю пустоту и не быть разоблаченным.

Но здесь все менялось. Конечно, нетрудно поразвлекать очаровательную женщину часок на полянке — но Лисс этого и не надо было. Она оставалась там не один часок, а шесть или восемь.

И тут начиналось то, что она называла комплексным тестом на пленэре. Уже на втором часу было обговорены все возможные актуальные темы и начинались паузы.

Третий час приносил с собой философию, обобщения, а также более длительные паузы и настоятельные предложения поехать куда-нибудь пообедать, с молчаливой надеждой найти в новой обстановке новые темы.

В этот момент Лисс всегда доставала с запасного сиденья сюрприз — хорошо продуманную корзинку для пикника, в

которой, к горькому разочарованию молодого человека, было все, ну абсолютно все. Так что не нужно было куда-то ехать, можно было остаться на этой восхитительной лесной поляне.

Представьте себе: два часа деревья, четыре часа деревья, шесть часов деревья и необходимость развлекать немного ироничную, но очень любезную женщину. Природы в качестве темы для разговора хватало на десять минут; если бы это было светское место, где много людей, можно было бы спастись остроумными замечаниями. Но что остроумного можно сказать о чирикании зяблика!

Этот фон разоблачал безжалостно, он отличал болтуна от хорошего собеседника, он обнаруживал все тщательно скрываемое, иначе было просто нельзя — здесь блефовать было невозможно, приходилось показывать нутро, в эти беспощадные часы без особого труда обнажалась душа.

В чем бы это ни выражалось: в медленно проступающей, всегда производящей дурацкое впечатление навязчивости, в постепенно становящейся бессмысленной болтовне, в отказывающей выдержке, — Лисс всегда с радостью отвозила своих кандидатов домой; некоторых через три, некоторых через четыре часа, более сильных пациентов иногда даже только через восемь. Выдерживали лишь немногие.

Но был один, который первые полчаса наслаждался природой, а потом, блаженно растянувшись, заснул и проснулся лишь десять часов спустя. За это время Лисс хорошо поразмыслила обо всем и о нем тоже.

Сейчас она его жена.

(1927)

Рекорд Йозефа

Человек, весящий сто килограммов, не должен носить имя Йозеф. Для такого веса лучше подходят американские имена: Тэд или Джек или, может быть, Билл. А если к этому еще добавить голову, напоминающую шар для кегельбана, лицо младенца и всегда прекрасное настроение, то можно понять жену Йозефа, которая нуждалась в развлечениях и поэтому рассматривала его только как некоторое подобие сенбернара, которому требуется много корма и сна. Правда, Йозеф во сне выглядел не так красиво.

Он любил хороший завтрак и быстрый автомобиль — это были две его страсти. Как почти все толстяки, он прекрасно водил. И благодаря этому однажды ему удалось добиться серьезного рекорда, который на несколько дней заставил всех окружающих сильно задуматься.

В полдень его жена пожаловалась на мигрень. Он достал чековую книжку, чтобы выписать «рецепт», но, к его удивлению, это не помогло. Головокружение и боли усиливались; пришлось отказаться от теннисного матча, а вечером даже от концерта знакомого пианиста. Вызвали врача, через час — второго. Ближе к полуночи оба заявили, что речь идет, очевидно, об очень сложном случае, и указали на одного берлинского доктора и эксперта. Разумеется, необходимо поторопиться.

Йозеф жил примерно в 220 километрах от Берлина. Он попытался дозвониться. Не получилось. Профессора не удалось застать дома. Йозеф побежал в комнату к больной, где отметил откровенную беспомощность врачей. Он ненадолго задумался и спросил, не будет ли поздно, если специалист прибудет через пять часов. Ему ответили, что это — крайний срок.

Йозеф прокричал, чтобы ему написали несколько строк для врача, крикнул что-то прислуге на кухне и помчался к гаражу. Через несколько минут он уехал, положив в карман письмо, залив 150 литров бензина в бак и поставив рядом с собой корзинку с сандвичами.

Он ехал по часам. Автомобиль шел с максимальной скоростью в 130 километров в час. За сто километров до Берлина начался дождь, дорога стала скользкой. Несмотря на это ровно через два часа десять минут после отъезда Йозеф мчался по Моммзенштрассе в Шарлоттенбурге.

Профессора не было дома. Йозеф понесся в клинику. Профессор уехал десять минут назад, наверное, на ужин. Йозефу назвали несколько ресторанов, где тот любил бывать.

В ту ночь полицейским между Виттембергплац и Галлензе показалось, что они страдают галлюцинациями. Серый автомобиль-призрак носился по улицам, обгонял омнибусы и трамваи, проезжал на все запрещающие знаки и издавал воющие, пронзительные сигналы. За рулем сидел колосс, от которого шел пар, он был без шляпы, огни отражались в его лысине, и, говорят, кто-то видел, будто этот колосс с глазами полными ужаса поглощал сандвичи.

Йозеф нашел профессора в ресторанчике около зоопарка и больше не выпускал его из вида. Они помчались в клинику, собрали чемоданчик и рванули прочь. Но поиски заняли полчаса.

На вопрос профессора, где он живет, Йозеф назвал Ваннзе, потому что для него было важно заманить профессора в автомобиль. Все остальное получится само собой.

В Ваннзе профессор потянулся к своему чемоданчику. Йозеф не обращал на него внимания, хотя тот и кричал что-то ему в ухо. В Потсдаме специалист занервничал. Йозеф увеличил скорость. Профессор бросал на него косые взгляды. Йозеф засунул в рот сандвич и жевал. Профессор решил, что он попал в руки сумасшедшего, и попробовал ласково уговорить его.

Этим он добился только того, что Йозеф на мгновение оторвал глаза от дороги. В следующий момент автомобиль резко мотнуло в сторону, потому что они чуть было не налетели на неосвещенную телегу с сеном. До ужаса испуганный врач хотел было выпрыгнуть из автомобиля, но получил такой удар локтем в живот, что со стоном согнулся. Теперь он отдался судьбе и только судорожно схватился за ручку двери, уже готовый ко всему.

Когда дорога стала свободной, Йозеф заметил, что им осталось проехать всего 180 километров, которые он надеется преодолеть за три четверти часа. Врач побледнел. Йозеф подтолкнул к нему корзинку с сандвичами и попытался улыбнуться пухлыми младенческими губами, но в глазах его стоял такой страх, что врач все понял.

Йозеф все еще улыбался:

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь! Мы должны успеть! — сказав это, он перестал улыбаться.

Клаксон сигналил без перерыва. Йозеф время от времени смотрел на часы. В деревнях он не мог снизить скорости, он потерял бы слишком много времени. За грохочущим эхом двигателя, работавшего на максимуме, ряды домов сливались воедино, как призрачные декорации, автомобиль проносился между ними, вырывая их из тьмы светом трех фар и, словно сумасшедший демон, мчался дальше сквозь ночь, неся перед собой луч света.

Шины начали скрипеть — 110 километров в час, визжать — 120 километров в час, свистеть — 130 километров в час. Все толстое тело Йозефа превратилось в одно гигантское ухо, в фильтр, который просеивал звуки, в прибор, вслушивающийся в любой ничтожный писк, в каждое шипение, в каждое подозрительное урчание шин, которое могло сигнализировать об аварии и смерти.

Дорога все еще была влажной. На глинистом участке машину занесло. Йозефу пришлось сбросить скорость. Зато потом он не снижал ее даже на поворотах.

Для беззаботного путешественника повороты — увлекательное приключение. Но для того, кто совершает их ночью на скорости почти в 100 километров в час, даже если он делает это очень умело, они — попытка самоубийства. А Йозеф иногда выжимал и больше ста километров.

Врач сидел, забившись в угол, и молчал. Он давно отказался от попыток протестовать. Йозеф механически опускал руку в корзинку с сандвичами. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Он жевал и ехал. Его лицо имело странное выражение страха и сосредоточенного внимания, оно напоминало лицо ребенка, который собирается зареветь.

Воздух перед фарами мерцал, он светился, словно бледное серебро в облачном шлейфе. Только однажды врачу показалось, что Йозеф стонет. Минутой позднее они оказались в густом тумане.

Йозеф переключил фары на ближний свет. Они словно застряли в вате. Мимо беззвучно проносились тени, деревья, неясные фигуры в молочном море, больше не было улиц, только случайность и приблизительность, тени, которые появлялись и пропадали.

Эти десять минут на полной скорости в тумане изменили цвет кожи Йозефа, розовая круглая голова стала белой, глаза запали, губы исчезли. Его шансы при этой безумной скорости вслепую были меньше, чем один к ста.

Остальное было вопросом нескольких мгновений. До оговоренных пяти часов оставались еще четыре минуты, когда автомобиль остановился перед домом Йозефа. Через полчаса операция была закончена, через три дня опасность миновала, появилась уверенность в выздоровлении.

Когда жена Йозефа узнала про его рекордную поездку, она целых два дня не принимала никого из своих друзей, а в большой задумчивости рассматривала своего стокилограммового сенбернара, который так неожиданно стал намного достойнее всех пианистов, поэтов и адвокатов. Но потом благодаря кухарке

стал известен и второй, менее заметный рекорд: корзинку, в которой было ровно 23 сандвича, Йозеф вернул совершенно пустой.

И вот что странно: этот второй рекорд, который, учитывая конституцию Йозефа, был совершенно необходим для совершения первого, оставил по себе гораздо более долгую память, он даже затмил память о первом… Снова начали принимать друзей, а через несколько дней вся эта история стала казаться немного комичной. Йозеф вернулся к спокойному существованию в качестве тени своей жены, и единственное, что изменилось, — он стал еще смешнее, чем раньше.

(1927)

Враг [21]

Когда я спросил своего школьного друга лейтенанта Людвига Брайера, какие военные события лучше всего ему запомнились, то ожидал услышать про Верден, про битву на Сомме или про Фландрию, потому что в самые страшные месяцы он был на всех трех фронтах. Но вместо этого он рассказал мне вот что.

Не самая богатая событиями, но самая запомнившаяся история началась с того, что мы расположились на отдых в маленькой французской деревушке далеко за линией фронта. До этого мы были на одном из самых мерзких участков фронта с очень сильным артиллерийским огнем, а потом отступили дальше, чем обычно, потому что понесли крупные потери и вынуждены были идти за пополнением.

Это была замечательная неделя: август, чудесное библейское лето, ударявшее в голову, как крепкое золотое вино, которое мы однажды нашли в погребе в Шампани. Мы прошли санитарную обработку для удаления вшей; некоторым из нас даже удалось получить новое белье, остальные основательно выварили свои формы на маленьких костерках; повсюду царила атмосфера чистоты, волшебство которой понятно только покрытому коркой грязи солдату, — все было таким же мирным, как субботний вечер в те далекие довоенные времена, когда мы, еще мальчишки, купались в большой ванне, а мать доставала из шкафа чистое белье, пахнущее крахмалом, воскресеньем и пирогами.

Ты ведь поймешь, что это не выдумка, если я скажу, что ощущение клонящегося к закату августовского вечера рождало во мне пронзительную сладость. У солдата совсем другое отношение к природе, чем у обычного человека. Все эти тысячи запретов, препятствий, обязанностей жестокой, ужасной жизни на краю гибели спадают с тебя; и в минуты и часы передышки, в дни отдыха иногда мысль о *жизни*, о том простом факте, что ты еще существуешь, выжил, превращается в чистую радость, просто потому что ты еще можешь видеть, дышать и свободно передвигаться.

Поле в вечернем солнце, синие тени леса, шум тополей, звонкое журчание текущей воды были неописуемым счастьем; но глубоко внутри, как заноза, сидела острая боль от сознания, что через несколько часов, несколько дней все это минет, и на смену снова придет иссушенный пейзаж смерти. И это чувство, так странно смешанное из счастья, боли, меланхолии, грусти и безнадежности, было обычным состоянием солдата на отдыхе.

После ужина мы с несколькими товарищами вышли

прогуляться за пределы деревни. Мы мало говорили; впервые за несколько недель мы радовались, греясь в косых солнечных лучах, которые светили прямо нам в лицо. Так мы наконец дошли до маленького мрачного фабричного здания посреди большого огороженного участка земли, вокруг которого были выставлены часовые. Двор был полон пленных, ожидавших эшелона в Германию.

Часовые запросто пропустили нас во двор, и мы смогли оглядеться. Тут было размещено несколько сотен французов. Они сидели и лежали, курили, разговаривали, дремали. Я как будто прозрел. До тех пор у меня были только короткие, обрывочные, разрозненные и схематичные воспоминания о мужчинах, оборонявших вражеские окопы. Например, шлем, который на минуту высунулся над бруствером; рука, которая бросила что-то и пропала; кусочек серо-голубой материи; фигура, взлетевшая на воздух, — почти абстрактные вещи, подстерегавшие тебя среди пулеметного огня, ручных гранат и колючей проволоки.

Здесь я впервые увидел пленных, их было много, они сидели, лежали, курили — французы без оружия.

Меня поразил внезапный шок; я даже посмеялся над собой. Меня поразило, что они были такими же людьми, как и мы. Но факт оставался фактом: я — вот ведь странно, ей-богу, — до сих пор никогда над этим не задумывался. Французы? Это были враги, которых следовало убивать, потому-что они хотели разрушить Германию. Но в тот августовский вечер я постиг роковую тайну — магию оружия. Оружие изменяет людей. Ведь эти безобидные ребята — фабричные и подсобные рабочие, коммерсанты, школьники, — которые сидели тут, такие тихие и покорные, сразу превратились бы во врагов, если бы у них появилось оружие.

Они стали врагами, только когда получили оружие. Это заставило меня задуматься, хотя я знал, что моя логика небезупречна. Но мне мерещилось, что именно оружие навязало нам войну. В мире стало столько оружия, что оно одержало верх над людьми и превратило их во врагов…

И много позднее, во Фландрии, я наблюдал то же самое — когда бушевала техническая война, люди практически не были нужны. Орудия в безумной ярости боролись друг с другом. Создавалось ощущение, что даже тогда, когда все люди, находящиеся между орудиями, погибнут, они продолжат воевать до полного уничтожения мира. Но здесь, на фабричном дворе, я видел только людей — таких же, как мы. И в первый раз я осознал, что воюю против *людей*; людей, которые, как и мы, были околдованы громкими словами и оружием; людей, у которых

были жены и дети, родители и профессия и которые, может быть — ведь снизошло же на меня озарение благодаря им, — сейчас тоже очнутся, точно так же посмотрят на нас и спросят:

— Братья, что же это мы делаем? Зачем?

Несколько недель спустя мы снова были на спокойном участке фронта. Французская линия придвинулась довольно близко к нашей, но позиции были хорошо укреплены, а кроме того, скажем так, почти ничего не происходило. Каждое утро ровно в семь артиллерия обменивалась несколькими залпами — утреннее приветствие, в полдень — снова небольшой салют, а ближе к вечеру — обычное благословение. Мы принимали солнечные ванны перед блиндажами и даже решались перед сном стягивать сапоги.

Однажды на другой стороне нейтральной полосы над бруствером появилась табличка с надписью: «Attention!»[22]. Можно себе представить, с каким изумлением мы на нее смотрели. Потом мы решили, что они хотели нас предупредить о каком-то особенном артиллерийском огне, сверх обычной программы; поэтому мы приготовились при первом же выстреле спрятаться в наших блиндажах.

Но все было спокойно. Табличка исчезла. Через несколько секунд появилась совковая лопата, и мы разглядели на ней большую пачку сигарет. Один из наших товарищей, немного знавший язык, начертил на планшете сапожной ваксой слово «Compris»[23]. Мы подняли планшет. Тогда на той стороне стали размахивать лопатой. Мы — планшетом. Потом в воздух взвилась белая тряпка. Мы в спешке схватили с колен обер-ефретора Бюлера, который как раз в этот момент боролся со вшами, его рубаху и замахали в ответ.

Через некоторое время на той стороне поднялась белая тряпка, а за ней появился шлем. Мы начали еще сильнее размахивать своей рубахой, так что с нее посыпались вши. Вытянулась рука, державшая сверток. А потом человек медленно перелез через колючую проволоку и пополз к нам по-пластунски, время от времени размахивая носовым платком и возбужденно смеясь. Примерно на середине нейтральной полосы он остановился и положил сверток. Несколько раз указал на него, рассмеялся, кивнул и пополз назад. Это привело нас в необычайное возбуждение. Почти мальчишеское чувство, что мы делаем что-то запретное, чувство, что мы кого-то перехитрили, и просто естественное желание получить хорошие вещи, лежавшие перед нами, смешалось с чувством свободы, независимости, триумфа над механизмом смерти. То же чувство я испытывал, когда стоял среди пленных, словно в представление о «враге»

победоносно проникла человечность, и мне хотелось внести свой вклад в этот триумф.

Мы торопливо собрали несколько подарков, правда, жалких, потому что у нас всего было меньше, чем у наших товарищей на той стороне. Потом снова помахали рубахой и сразу же получили ответ. Я медленно поднялся; голова и плечи оказались над бруствером. Это была чертовски страшная минута, скажу я тебе, стоять вот так неприкрыто над бруствером.

Потом я пополз — и тут мои мысли полностью изменились, словно в них включили обратный ход. Я был охвачен странным чувством; я ощущал поднимающуюся во мне сильную, бьющую через край радость; со счастливым смехом я почти бежал на четвереньках. И пережил удивительное мгновение мира — маленького, своего личного мира, словно на всей земле он наступил только для меня.

Я положил наши вещи, взял их сверток и пополз назад. И в этот момент мир закончился. Я снова почувствовал, что мне в спину целятся сотни винтовок. Меня охватил ужас, пот лил с меня ручьями. Но я невредимым добрался до наших окопов и, задыхаясь, улегся на землю.

На следующий день я уже как-то привык к этому; постепенно мы упростили процедуру и выползали из своих окопов не по очереди, а одновременно. Как две спущенные с цепи собаки, мы ползли друг к другу и обменивались подарками.

Когда мы впервые посмотрели друг другу в глаза, то лишь смущенно улыбнулись. Французский солдат был молодым парнем, как и я, может быть, двадцатилетним. По его лицу было видно, как ему нравится эта шутка.

— Bonjour, camerade,[24] — сказал он.

Я был так поражен, что смог ответить только:

— Bonjour, bonjour.[25]

Я повторил это два или три раза, кивнул и торопливо пополз назад.

У нас было определенное время для встреч, и все сигналы, которыми мы обменивались вначале, были отменены, потому что обе стороны соблюдали неписаный мирный договор. А часом позже мы снова, как и прежде, стреляли друг в друга. Однажды солдат вражеской армии, немного помедлив, протянул мне руку, и я пожал ее. Это было уже забавно.

Тогда и на других участках фронта происходило, то же самое. Командование пронюхало это, и вышел приказ, что подобные вещи строжайше запрещаются; в некоторых случаях был даже изменен ежедневный график проявлений враждебности. Но нам это не мешало.

Однажды на фронте появился майор и лично прочитал нам доклад. Он был очень рьяным и энергичным и сказал нам, что собирается пробыть на фронте до вечера. К несчастью, он расположился недалеко от места наших вылазок и потребовал себе винтовку. Это был очень молодой майор, жаждавший подвигов.

Мы не знали, что делать. Не было никакой возможности подать сигнал товарищам на той стороне; и кроме того, мы думали, что нас расстреляют на месте за товарообмен с врагом. Минутная стрелка моих часов медленно двигалась по циферблату. Ничего не происходило, и мы почти поверили, что все обойдется.

Без сомнения, майор знал только об общем братании, которое происходило по всему фронту, но ничего не ведал о том, что делалось конкретно у нас. Нам просто не повезло, что он, получив такое задание, оказался здесь.

Я подумывал, не сказать ли ему: «Через пять минут с той стороны приползет солдат. Мы не должны стрелять: он нам доверяет». Но я не решился; да разве бы это помогло? Если бы я сказал такое, он наверняка остался бы и стал ждать, а так оставался шанс, что майор уйдет. Кроме того, Бюлер прошептал мне, что он выполз за бруствер и помахал им винтовкой (как при промахе на стрельбищах) и они просигналили ему в ответ. Они поняли, что им нельзя выползать.

К счастью, был хмурый день, моросил дождик, быстро стемнело. Уже прошло пятнадцать минут после того времени, когда мы обычно встречались. Постепенно мы снова успокоились. Но вдруг — я окаменел от ужаса, язык присох к гортани, сначала я хотел закричать, но не смог; не в силах отвести глаз, я смотрел поверх нейтральной полосы и видел, как медленно показалась рука, а потом туловище. Бюлер помчался за бруствер, отчаянно пытаясь предупредить об опасности. Но было поздно. Майор уже выстрелил. Со слабым криком человек на той стороне исчез.

На мгновение установилась гробовая тишина. Потом мы услышали страшный крик, и начался шквальный огонь.

— Огонь! Они наступают! — вопил майор. Тогда и мы открыли огонь. Мы заряжали и стреляли как сумасшедшие, заряжали и стреляли, только чтобы забыть про ту ужасную минуту. Весь фронт пришел в движение, вступила артиллерия, и это продолжалось всю ночь. К утру у нас было 12 убитых, среди них — майор и Бюлер.

После этого случая проявления враждебности сноба проходили по расписанию; сигаретами мы больше не обменивались, а потери возрастали. С тех пор со мной много чего

случилось. Я видел, как гибли сотни людей; сам убил не одного; я очерствел и стал бесчувственным. Прошли годы. Но все это время я боялся вспоминать тот слабый крик под дождем.

(1930)

Тишина под Верденом

Никто не знает наверняка, когда это происходит, но вдруг спокойные, слегка округлые линии на горизонте меняются; пылающие красные и коричневые краски осенних листьев неожиданно приобретают странный оттенок; поля бледнеют и увядают, окрашиваясь в охру; что-то странное, тихое, бледное появляется в пейзаже, что именно — объяснить невозможно.

Это те же самые горы, те же самые леса, те же самые поля и луга, тот же самый пейзаж, что и час тому назад, — вот уходит вдаль дорога, белая и бесконечная, и золотой свет поздней осени все еще изливается на землю, словно сладкое вино, — и все-таки что-то невидимое и неслышное приблизилось издалека, огромное, торжественное и мощное, оно внезапно возникло где-то рядом и будто бы осматривается кругом.

Дело не в тех крестах на обочине дороги, тонких и темных, что появляются каждую минуту. Кривые и усталые, возвышаются они над травой, иссушенные многими ветрами, утомленные проплывающими облаками, кресты войны 1870 года. Тонкие молодые деревца, которые тогда посадили между ними, давно превратились в деревья с крепкими ветвями, в которых полно чирикающих птиц. Эти старые окопы больше не вызывают страха, они даже почти не напоминают о смерти — они уже словно парк, живописный и прелестный, хорошая земля и хорошая страна.

Дело не в характере этой красивой, но ужасной местности, которая всегда была полем боя, местности, где война веками складывала свои отходы, словно слои в скалах, отложение за отложением, слой за слоем, война за войной, их еще и сегодня можно различить — от боев французских королей до могил Марс-ла-Тур[1][26] и братских могил Дуомона[27].

Дело и не в таинственном, противоречивом настроении этой земли, где мягкие голубые линии на горизонте не просто холмы и леса, а замаскированные форты; гладкие возвышенности перед ними не просто гряда холмов, а мощные, укрепленные высоты; где идиллические долины служат и окопами, и братскими могилами, и сборными пунктами, и стратегическими плацдармами; а маленькие холмы — бетонированными артиллерийскими позициями, пулеметными ячейками, вперемежку со складами боеприпасов и переходами; потому что все здесь превращено в стратегию. В стратегию и могилы.

Дело в тишине. Ужасной тишине под Верденом. Тишине после боя. Тишине, равной которой нет на белом свете; потому что до сих пор во всех сражениях побеждала природа; снова

сквозь умирание прорастала жизнь, снова возводились города, снова росли леса, а через несколько месяцев на полях появлялись молодые всходы. Но в этой последней, самой страшной из всех войн впервые одержало победу уничтожение. Здесь стояли деревни, которые никогда не будут восстановлены; деревни, от которых теперь камня на камне не осталось. Земля под ними еще полна смертельной угрозы, готовности взорваться, она так переполнена снарядами, минами и отравляющими веществами, что любой удар мотыги или лопаты таит опасность. Здесь росли деревья, которые никогда больше не дадут побегов, потому что не только их кроны и стволы, но и самые глубокие корни раздроблены, разрушены и разорваны на куски. Здесь были поля, которые никогда больше не будут вспаханы, потому что на них посеяна только сталь, сталь и еще раз сталь.

Правда, в воронках от снарядов на этой изрешеченной взрывами земле и в самом деле растет растрепанная, вялая дикая трава. На краю бывшего поля боя растут и красные маки, и ромашки, а иногда из-под завалов тут и там робко пробиваются кустики; но эта скудная растительность только усиливает впечатление тишины и безнадежности. Кажется, словно это место — дыра в событийном конвейере, словно время здесь остановилось; словно время, несущее в себе не только прошедшее, но и будущее, из сострадания заглушило здесь мотор. Нигде в мире нет такой земли; даже пустыня живее, потому что ее тишина органична.

Нище в мире нет такой тишины, потому что эта тишина— мощный окаменевший вопль. В ней нет покоя кладбища, потому что там среди многих уставших, изможденных жизней похоронены лишь единицы молодых и восторженных. Здесь же сотни тысяч жизней, полных силы, горевшей в их глазах, мощи, заставлявшей их дышать и видеть, пригибаться и сражаться, вдруг разлетелись на атомы; здесь в судорожном усилии, в отчаянной попытке остаться в живых жаждали жить, обожали жизнь, верили в нее с большей страстностью, остервенением, жаром, чем когда-либо прежде; и в это отчаянное, напряженное желание, в этот бурлящий вихрь движения, муки, надежды, страха, жажды жизни ворвался град пуль и осколков. И тогда самая твердая и самая хрупкая вещь, катая только есть, — жизнь — пролилась кровью, и великая тьма опустилась на восемьсот тысяч мужчин.

Над этими полями, кажется, продолжают существовать непрожитые годы, годы, которых не было, которые не могут найти покоя: крик юности был задушен слишком рано, оборвался слишком внезапно.

С холмов веет серый, свинцовый ветер и сливается с

пылающей осенью, с ее ярким пожаром и золотым светом. С холмов спускается тишина, которая делает солнечные дни вялыми и безжизненными, как в тот вечер на Голгофе, когда тьма опустилась на землю. С холмов веют названия и воспоминания. Во, Тиомон, Белльвилль, Могила, Смертельная Пропасть, высота 304, Мертвец — что за названия! Четыре долгих года жили они под невыносимым воем смерти — сегодня нас охватывает бесконечность этой тишины. Этого не могут изменить никакие пикники, никакие приятные экскурсии по низким ценам с осмотром глубоких блиндажей при романтическом свете карбидной лампы. Эта земля принадлежит мертвым.

Но на этой земле, много раз перерытой снарядами всех калибров, в этом месте застывшего ужаса, в этом полном кратеров ландшафте живут люди. Их почти не видно, так хорошо они научились приспосабливаться, так мало отличаются они от своего окружения. На них желтая и серая грязная одежда, снятая с погибших здесь солдат. Иногда их сотни, иногда даже, может быть, тысячи, но работают они поодиночке и так далеко друг от друга, что всегда кажется, будто их совсем немного; как маленькие прилежные муравьи, копаются они в своих воронках. Они живут своей жизнью, часто остаются целыми месяцами в бараках и редко заходят в деревни. Это — сборщики металлолома.

Поля сражений превратились в объекты спекуляции. Один предприниматель получил от правительства разрешение собрать весь ценный металл. Для этого он нанимает сборщиков. Они охотятся за всем, что сделано из металла: за старыми пулеметами, неразорвавшимися снарядами, бомбами, железнодорожными рельсами, катушками проволоки, лопатами; для них эти поля воспоминаний, тишины и печали — железные, стальные и медные копи. Больше всего они любят медь. За нее лучше всего платят.

Большинство сборщиков — русские. В этой тишине они сделались совсем молчаливыми. Большей частью они держатся своих. Никто не ищет их общества; хотя правительство выдало тысячу разрешений, все равно остается чувство, что то, чем они тут занимаются — нехорошо. Тут, в земле, металла на миллионы франков; но здесь же, в земле — слезы, кровь и страх миллионов.

Это прибыльное дело, и многие из сборщиков вскоре смогут купить себе автомобиль. Годами артиллерия заботилась о том, чтобы теперь у них был заработок. Время первого, торопливого, поверхностного поиска прошло, теперь им приходится копать глубже, до следующего слоя погребенных сокровищ. Земля твердая, и вот уже неделю они копают одну яму площадью в

несколько квадратных метров. Очень важно найти подходящее место. Для этого нужен опыт.

Начинают с втыкания длинных металлических щупов — так выясняют, есть ли тут металл. Можно наткнуться на сапог, не пускающий щуп глубже, потому что сапоги мертвецов там, внизу, хорошо сохранились; но сборщик сразу понимает, что это, ведь у него есть навык. Как правило, он может сразу решить, имеет ли смысл тут копать. Если он наткнется на стальной шлем — замечательно; это ценно, потому что обещает возможную добычу. Есть несколько старых, опытных сборщиков, которые копают только там, где растет какой-нибудь куст. Они считают, что в таких местах находятся засыпанные блиндажи с трупами, иначе куст не рос бы так хорошо. А в блиндажах обычно находят металл всех видов.

Если повезет, можно наткнуться на пулемет или даже на склад боеприпасов. Тогда, естественно, сразу можно заработать несколько тысяч франков. Находкой, о которой говорят до сих пор, был немецкий самолет. На месте пилота еще сидел, скорчившись, скелет, а у него в ногах стоял ящик с пятнадцатью тысячами золотых марок.

Повсюду одно и то же. Землю вначале рыхлят и вскапывают, потом перебирают руками. На свет появляются немецкие ручные гранаты с длинными рукоятками и солдатские котелки с ложками. Они вызывают мало интереса. А вот пулеметный ствол, помятый и покрытый ржавчиной, бросают в кучу ржавого железа, уже выросшую рядом. Шлем — а следом поблекшие, влажные лохмотья, серо-зеленые, рассыпающиеся в руках, череп, еще с волосами, светлыми волосами, череп с дырой от осколка, попавшего в лоб. Сборщик кладет его в маленький ящик у себя за спиной. Он вытряхивает пятнистые коричневые кости из жалких грязно-зеленых тряпок. Последние он вытаскивает из носка Сапога. Все отправляется в ящик, а вечером отсылается для идентификации на главный склад. Истлевший кошелек, в котором сохранилось немного почерневших купюр, остается в земле. Остатки сильно потрепанного портмоне — тоже. Но вот лопата еще раз звякает о металл, появляются железные опоры и катушки проволоки — хорошая находка…

Везде одна и та же картина, встречающаяся и сто, и тысячу раз: в лучах осеннего солнца лежит солдат — несколько истлевших тряпок, ржавая пряжка на поясе, несколько костей, череп, кое-что из вооружения, патронташ. Этот солдат был бы очень счастлив остаться в живых.

Некоторые сборщики уверяют, что по форме подбородка они могут сказать, француз это был или немец. И очень важно, чтобы

вечером кости были доставлены на главный склад, иначе за ночь их сожрут лисы. Странно, но здесь лисы жрут кости. Наверняка они не могут найти ничего другого. И все-таки здесь живет много лис.

Сборщики сидят на корточках в своих бесчисленных мини-окопах и копают, как кроты. Действительно, кости, которые они находят, идентифицируют, собирают на кладбищах, в мавзолеях, в огромных каменных склепах. И все же, может быть, было бы лучше оставить этих солдат в покое, там, где они лежат уже десять или двенадцать лет, в их братских могилах.

Похоже, они сами не хотят, чтобы что-то менялось. Кажется, будто земля сторожит их и охраняет от рук, ищущих возле них металл и деньги. Потому что рядом с мертвыми солдатами спит их оружие. И часто оно еще действует.

Хватает одного удара мотыгой по земле. Достаточно резко опустить лопату, и вот уже земля взлетает с глухим взрывом, летят осколки, и смерть молниеносно протягивает руку за сборщиками. Уже многих разорвало в клочья, многих покалечило, и каждую неделю добавляются новые жертвы. Смерть, которая вначале косила солдат, теперь несет свою вахту над могилами убитых, а земля охраняет их, словно они должны лежать не в роскошных мавзолеях, а там, где пали, — на поле боя.

Над этим саваном, над муками, похороненными здесь, время остановилось, над этим саваном стоят тишина, печаль и воспоминания.

(1930)

Карл Брёгер во Флёри

Машина на полном ходу летит по шоссе, шины гудят; шоссе прямое, как стрела, стекла в окошках тихонько позвякивают; и Страсбург, и Мец остались уже далеко позади. Рядом со мной сидит Карл Брёгер и ест хлеб с маслом, он не полностью вникает в происходящее. Мысли его витают где-то еще.

Прошло два часа после того, как мы с ним пообедали. Передохнув после приятного сюрприза — половины омара под майонезом всего за двадцать пять франков в качестве закуски и огромного блюда с сыром, не говоря уже о других возбуждающих аппетит вещах, составлявших эту достопамятную трапезу, — Карл начинает подробно рассказывать мне о своих планах и шансах в будущем.

Я не улавливаю многого, поскольку там есть множество «если» и «но», каких-то расчетов и незнакомых мне имен. То ли из-за омара и вина, а может быть, из-за немыслимой дешевизны того и другого его перспективы громоздятся друг на друга и теряются где-то в облаках вокруг Эвереста: через десять лет он станет управляющим фирмы, через двадцать — ее директором, потом генеральным директором, президентом и так далее. Но покамест Карл стоит на такой низкой ступеньке этой лестницы, что может спокойно упасть с нее, не причинив себе серьезных увечий. Он — банковский служащий и пышет завидным здоровьем. Поэтому спустя всего два часа после отменного омара он вновь в состоянии есть — и уминает простой ломоть хлеба с маслом. Мысли его заняты мечтами о том, что он станет делать — не забегая далеко вперед — в должности управляющего. Вот что такое Карл.

Машина все мчится и мчится вперед, минуя многочисленные деревни: остроконечные фронтоны, коровы, пестрые женские платья, осенний ветер и навозные кучи проносятся мимо наших окон, поворот за поворотом, холм за холмом, пока не заканчиваются аллеи и деревья. Дороги разветвляются и становятся уже, приближаются неповоротливые, грохочущие на выбоинах автобусы с жирно намалеванными на боках буквами и предвыборными лозунгами, а на табличках с названиями деревень появляются такие, что любой почувствует необходимость здесь остановиться.

Карл укладывает на место содержимое своего бумажника. Наряду с банковскими документами он сует туда вырезки из спортивной газеты, описывающие прославленный футбольный матч между «Рейном» и «Мюнстером» (команда Карла победила с

разгромным счетом 6:0, и Карла там хвалили), но главное место в бумажнике занимают несколько фотографий очаровательных дам, которые он рассматривал за десертом.

Шоссе перед нами кончается. Машина под скрип тормозов замирает на месте. Мы с Карлом выходим и оказываемся на какой-то площади, похожей на рыночную. Тут припарковано несколько машин, вокруг маячат озабоченные водители в высоких шоферских фуражках, всем своим видом выражая надежность и добросовестность, какие-то люди собираются группками и выстраиваются в колонну, а их командиры носятся вокруг, загоняя своих овечек в стадо, и колонна трогается. Вокруг нас суетятся люди, занимающиеся новым в этих местах ремеслом, — они что-то сообщают друг другу торопливым сдавленным шепотом. Вчерашние смертные приговоры сменились бульварами с приличным количеством послевоенных визитеров, и там, где раньше каждый шаг означал кровопролитие и ужасный страх сдавливал горло, нынче проложены дощатые тротуары, дабы не запачкались уличной грязью ботинки туристов; перед каждой группой шествуют хорошо подготовленные переводчики, так что все могут быть уверены — им гарантировано увидеть все. Дуомон.

Вокруг нас тоже крутится некто — возбужденный, торопливый и навязчивый, — он жаждет набросать нам крупными мазками картину здешних мест, ввести нас, так сказать, в курс дела. Карл, плотно подкрепившийся омаром и бутербродом, приветливо улыбается и весь превращается в слух; мы даже позволяем провести нас по крепости при свете карбидных ламп и слушаем рассказ о том, какими практичными показали себя здесь немцы: как только взяли крепость, сразу смонтировали в подвале механизмы, провели электрический свет и поставили подъемные краны, чтобы поднимать наверх боеприпасы, — ничего этого раньше здесь не было.

Карл согласно кивает: да, именно так все и было. Но когда мы оказываемся перед ржавыми касками, искореженными стволами винтовок и неразорвавшимися снарядами и наш экскурсовод опять начинает нести вздор, а рядом с нами еще один мелет ту же чушь, только по-английски, Карл делает мне знак — с него довольно. Мы пробираемся наружу. Перед касками, бронежилетами, осколками гранат там, в подвале, он совсем было притих.

Снаружи, после удушливого воздуха туннеля, на нас вдруг веет таким ласковым и теплым ветерком, что к нему даже хочется прислониться. Еще довольно светло, но уже наступил тот таинственный час, когда ночь и день как бы держат чаши весов в

равновесии, эти чаши на миг прекращают свое вечное колебание вверх-вниз и, кажется, останавливаются; еще один удар сердца — и волшебство исчезает: внезапно забрезжил закат, на лугу раздалось мычанье одинокой коровы, наступил вечер.

Холмы в сиреневых тенях лежат перед нами, словно волны. Наш проводник последовал за нами и вновь завел свою волынку за нашими спинами:

— Вон та перечница была тогда очень важным стратегическим пунктом…

Договорить фразу ему не удается. Карл резко оборачивается и четко произносит:

— Да заткнитесь вы…

Он говорит это не злобно, скорее даже спокойно, и тем самым подводит черту.

Потом он шагает вперед — прочь от стратегического плана битвы, прочь от неразборчивой болтовни туристических групп, прочь от омара, бутерброда, дамских фотографий и банковских документов, прочь от десяти послевоенных лет.

Он шагает, и его лицо становится все мрачнее, глаза сужаются и напряженно вглядываются в землю под ногами. Трава шуршит, камешки скрипят, какая-то табличка предупреждает об опасности неведомо где, но Карл больше не обращает на все это внимания. Он что-то ищет.

Колея ведет через развороченные снарядами поля сквозь остатки проволочных заграждений. Переводчик остается далеко позади, проорав нам вслед кучу предостережений. Нам попадаются засыпанные и вновь откопанные блиндажи, кругом валяются мины со стержневыми взрывателями и совершенно изрешеченные пулями солдатские котелки, из желтой глины торчит жалкая ржавая вилка, а на ее кончике висит половинка ложки.

Еще какое-то время мы шагаем только вперед. Карл часто останавливается и осматривается. Потом кивает и двигается дальше. Направление любой траншеи можно определить. Но только направление — ибо на каждом шагу воронки, между которыми петляют, а потом резко сворачивают колеи.

Еще несколько шагов. Еще один пристальный взгляд. Карл нашел то, что искал.

Немного помолчав, он говорит: «Здесь…», останавливается… и опять идет дальше…

— Здесь это, наверно, было… Здесь мы тогда стояли… Все гремело, несколько залпов, а потом: «В атаку!». — Он еще раз повторил: — «В атаку!».

С этими словами он выскакивает из траншеи и словно вновь

бросается в атаку. Но теперь он вовсе не похож на прежнего Карла Брёгера, человека, интересующегося банковскими делами и футбольными новостями. Это другой человек, на десять лет моложе, это — унтер-офицер Брёгер, которого вновь потянула к себе эта земля, резкий запах тления на поле боя и воспоминания, которые набросились на него как ураган.

Его движения изменились: нет в них нерешительности поиска, нет и той походки, к которой я привык; теперь он словно крадется, пружинисто, бдительно и осторожно — животный инстинкт самосохранения. Он сам не замечает, как втянул голову в плечи, как свободны в суставах его руки, свисающие вдоль тела и готовые к падению, он избегает попадать в поле чужого зрения и поэтому не выставляется напоказ, а все время держится в укрытии.

Так мы движемся вперед. Еще несколько часов назад он был вообще не в состоянии здесь ориентироваться. Теперь же он знает каждую бороздку. Прошлое взяло его в плен. Так мы и идем по колее — двое мужчин в костюмах с иголочки, со шляпами и тросточками, — мы идем по колее, по которой он со своим взводом полз в ту ужасную ночь, когда светящиеся ракеты висели над картиной всеобщего уничтожения, словно огромные дуговые лампы, и вся земля вокруг Тиомон и Флёри поднималась и опускалась под фонтанами взрывов, словно море; мы с ним вновь идем по этому пути, вокруг нас безграничный вечерний покой, но в ушах унтер-офицера Брёгера грохочет бой, он держит свою тросточку так, будто у него в руках граната, он вновь ведет своих солдат по воронкам от снарядов на штурм города.

А города-то и нет больше. Он исчез, сровнен с землей. Не восстановлен, поскольку земля вокруг все еще заминирована, напичкана взрывчатыми веществами, слишком опасна для строительства.

Карл стоит, прислонившись к памятнику, обозначающему то место, где некогда находилась Флёри, деревня ужаса, развалины которой они захватывали и сдавали шесть раз в течение одной ночи.

— У меня был один новобранец, совсем еще молодой, — говорит он. — Все время держался поближе ко мне. И когда нам в очередной раз пришлось отступить, его рядом не оказалось. А позже…

Позже, когда они вновь взяли это место, они нашли только кусок какого-то трупа, но не могли понять, он ли это был. Вот о нем и доложили как о «пропавшем без вести», и его мать, наверное, по сей день надеется, что в одно прекрасное утро он войдет в ее красную плюшевую гостиную, повзрослевший,

сильный и широкоплечий, и усядется рядом с ней на диван.

— А почему бы ему не оказаться живым, — рассуждает Карл и бросает на меня мрачный взгляд. — Как ты думаешь, мог бы он стать музыкантом? Он тогда очень хотел.

Я не могу ничего ответить, и мы уходим. Серые сумерки уступили место ультрамарину. Карл еще раз останавливается и делает рукой странное движение, словно желая отмахнуться от своих слов.

— Послушай-ка, я просто никак не могу взять в толк. Когда-то здесь никто ни о чем больше вообще не мог думать, это был ад, это был настоящий ад, это был последний и окончательный финал, адский котел, безнадежность, и человек, сидя во всем этом, уже и человеком больше не был. А теперь мы с тобой бродим тут и видим, что это просто небольшая долина, а там, где потемнее, — безобидный холмик…

Мавзолей высится в темноте белой глыбой. Туристические автобусы выстроились в ряд, как на гоночном старте. И с шумом отъезжают, увозя в себе ряды мягких кресел.

Вновь мимо машины проносится темный пейзаж. Памятники, множество памятников скользят мимо в свете фар. На них чаще всего попадаются слова «слава» и «победа». Карл отрицательно мотает головой:

— Это ничего не говорит обо всей этой истории, нет, вообще ничего. Но те, кто устанавливает эти памятники, все равно правы, потому что нигде столько не полегло, как там и во всей этой округе. Только одно они упустили: не написали «Больше никогда». Этого здесь не хватает. Ты…

Шоссе расстилается перед нами белой полосой и медленно поднимается в гору. Из-за облаков выглядывает красная, грустная луна. Мало-помалу она становится меньше и светлей, а над американским кладбищем перед Романью она уже сияет серебром. Четырнадцать тысяч крестов смутно виднеются в ее бледном свете. Четырнадцать тысяч крестов стоят рядами друг за другом — глазам становится больно смотреть на них, так загадочно прямо стоят они и по вертикали, и по диагонали. Под каждым крестом могила. На каждом надпись: Герберт С. Вильяме, 1-й лейтенант, химические средства защиты. Коннектикут. 13 сент. 1918… Альберт Петерсон. 137 пех., 35 див. Сев. Дакота. 28 сент. 1918 — четырнадцать тысяч. А было — двадцать пять. Убиты при наступлении на Монфокон. Убиты за несколько недель до конца войны. Только одно кладбище для стольких убитых. Кругом, в сотнях мест, покоятся в земле остальные: под белыми деревянными крестами — французы, под черными — немцы.

Посреди четырнадцати тысяч крестов по широкой главной

дорожке туда и обратно, туда и обратно ходит один-единственный человек, издали кажущийся очень маленьким. Эта фигурка производит более сильное впечатление, чем абсолютное безлюдье. Карл торопит ехать дальше.

В городах дети играют на площадях. Вокруг них магазины, дома, кладбища, газеты, шум, крики, улицы — жизнь. Но они продолжают играть, увлеченные своей незамысловатой игрой, дети играют, как повсюду в мире.

— Дети, — произносит вдруг Карл, но в темноте не видно, что с ним происходит, — дети везде одинаковые, не правда ли, дети еще ничего не знают…

И пока я еще додумываю эту мысль и бросаю на него взгляд, он вдруг оборачивается ко мне:

— А теперь давай жми, чего мы здесь застряли? — Он отворачивается от меня и всю оставшуюся часть пути напряженно глядит в окно.

(1930)

Жена Йозефа

Это случилось в 1919 году; бузина уже цвела, когда унтер-офицер Йозеф Тидеман вернулся домой. С ним была только жена. Она сама его привезла — даже кучера не взяла с собой.

Целый день пути они молча сидели рядом. Блестящие от пота коричневые спины лошадей слегка покачивались перед ними. Они свернули на улицу своей деревни и медленно поехали по ней. В лучах вечернего солнца люди стояли перед своими домами, и кое-кто из жен иногда клал руку на плечо своего мужа. Но Тидеман никого не узнавал — даже свою собственную жену и лошадей.

В июле 1918 года его засыпало землей от взрыва мины, когда он сидел в блиндаже с несколькими однополчанами. Его спасла чистая случайность — часть расщепленного взрывом бревенчатого наката косо поднялась над его головой, иначе его обязательно раздавило бы насмерть. До него добрались только через несколько часов, считая, что он наверняка уже задохнулся. Но два расщепившихся бревна так сцепились друг с другом, что между ними оставалась небольшая щель, через которую поступал воздух.

Тидеман еще был в сознании, когда его вытащили, и, если судить по внешнему виду, практически не был ранен. Некоторое время он апатично просидел на земле у края траншеи, отсутствующим взглядом уставившись на трупы своих товарищей. Санитар потряс его за плечо и попытался влить ему в рот чашку кофе со шнапсом. Тут Тидеман глубоко вздохнул и потерял сознание.

Очевидно, он перенес тяжелый шок, и почти год его переводили из одной неврологической клиники в другую. В конце концов его жене удалось получить разрешение забрать Тидемана домой.

Когда телега свернула на дорогу, ведущую к его усадьбе, и стала подскакивать на ухабах возле сарая, Тидеман выпрямился. Жена побледнела и затаила дыхание. В хлеву хрюкали свиньи, ветерок принес аромат цветущих лип. Тидеман повернул голову в одну сторону, потом в другую, словно ища чего-то. Но потом вновь впал в забытье и ни на что не реагировал — даже на свою мать, которая вошла в комнату, когда он сидел за столом. Он съел все, что ему подали, потом прошелся по дому. Он хорошо в нем ориентировался, точно знал, где держат скотину, а где находится спальня. Но ничего не узнавал. Пес, сначала с большим интересом обнюхавший его, повизгивая, вновь улегся возле печки.

Но не стал лизать Тидеману руки и прыгать вокруг него.

В течение первых недель Тидеман много времени просиживал в одиночестве рядом с амбаром, греясь на солнышке. Он ни на кого не обращал вниманиями ему предоставили свободу — пусть делает что хочет. Ночами у него часто случались приступы удушья. Тогда он вскакивал, бил по всему, что попадало под руку, и вопил. Один раз он чуть не погиб от потери крови, когда разбил окно и сильно поранил запястье. После этого жена велела затянуть окно в спальне проволочной сеткой.

Еще к Тидеману пришло ощущение счастья — это случалось, когда он играл с детьми. Он делал им маленькие бумажные кораблики и вырезал из ивовых веток свистки. Дети его любили и, когда пришло время собирать голубику, взяли его с собой в лес по ягоды. На обратном пути они хотели сократить дорогу и пройти часть пути по открытой местности. Но едва они вышли из-под защиты последних деревьев, как Тидеман забеспокоился. Испуганный и взволнованный, он что-то крикнул детям и плашмя бросился на землю. Они удивленно уставились на него. Он потянул малыша за рукав, заставил сесть рядом с собой на землю и не поддавался уговорам подняться во весь рост и идти дальше по открытой местности. Он все время порывался ползти и то и дело пригибался. Дети не знали, что делать, поэтому побежали вперед, чтобы известить его жену. А когда они убегали от него через поля, Тидеман в крайнем возбуждении кричал что-то им вслед и закрывал глаза, словно ожидая, что вот-вот случится нечто ужасное.

Со временем он растолстел и обрюзг — он ничего не делал, ел все подряд и в больших количествах. Мало-помалу он познакомился со всеми в доме, но не понимал, что он здесь тоже свой. Их лица казались ему чужими — он их не вспомнил. Почти всегда он был приветлив и выглядел довольным. Лишь иногда, случайно увидев свежую, только что отколотую щепку, начинал плакать, и успокоить его было нелегко.

Его жена сама управлялась с хозяйством. Она уволила старшего рабочего за то, что тот за столом посмеялся над каким-то беспомощным жестом Тидемана. Парень этот вернулся через несколько дней, чтобы объяснить, что он не хотел никого обидеть, но она лишь выдала положенные ему деньги, не слушая объяснений, и вышла из комнаты. Однажды вечером, когда сын мельника начал к ней приставать и запер дверь, она схватила висевшее на стене охотничье ружье и так и стояла с ним в руках, пока тот, глупо ухмыляясь, не убрался восвояси. Такие попытки предпринимали и другие, но успеха не имели. Жене Тидемана было тридцать пять лет, и красота ее была строгой и гордой. Она

надрывалась на работе, но никого к себе не подпускала.

В течение первых месяцев на усадьбу частенько приезжали доктора. Тидеман от них прятался, и его всякий раз приходилось искать. Только если его звала жена, он слушался и появлялся. Один из докторов оставался на усадьбе почти целый год, чтобы попытаться вылечить Тидемана. Когда он уезжал, жене пришлось продать несколько голов скота. В тот год урожай зерновых сильно пострадал от обильных летних дождей, картофель тоже плохо удался. Трудный выпал год.

Но состояние Тидемана не изменилось. Жена его равнодушно выслушала заключение доктора, словно оно ее не интересовало. Однако по ночам, когда Тидеман во сне начинал бормотать непонятные слова и метаться по кровати, она прижималась к нему всем телом, словно веря, что ее тепло сможет ему помочь; при этом она прислушивалась к его бормотанью, задавала вопросы и заговаривала с ним. Он не отвечал, но постепенно успокаивался и вскоре засыпал.

Так проходили годы.

Однажды к ним в гости на несколько дней приехал фронтовой товарищ Тидемана. Он привез фотографии, сделанные в те времена, и в последний вечер показал их хозяйке дома. Среди них было и групповое фото взвода, в котором служил Тидеман. На снимке солдаты сидели голые по пояс перед блиндажом и ухмылялись: они искали вшей в нательных рубахах. Улыбающийся Тидеман — второй справа — сидел с поднятой вверх рукой, крепко сжимая большой и указательный пальцы.

Жена Тидемана просмотрела все снимки один за другим. Когда она была занята этим, в комнату вошел Тидеман. Тяжелыми шагами он прошел к печке и сел на стул. Жена взяла групповой снимок и долго держала его перед собой, переводя глаза с поблекшего снимка на апатичную фигуру у печки.

— Значит, там это и случилось? — спросила она.

Товарищ мужа кивнул.

Женщина надолго замолчала. В тишине слышалось только шумное дыхание Тидемана. Какая-то мошка влетела в окно и начала порхать вокруг лампы. Дрожащая тень ее крыльев запрыгала по столу и по фотографиям, придавая им видимость движения и жизни. Женщина показала на снимки траншей и разрушенных деревень.

— Это все и сейчас так?

— Да уж наверняка, — ответил товарищ мужа.

Быстрым движением она протянула ему карандаш и разгладила ладонью пакетик из-под сахара, лежавший рядом с ней на скамье под окном.

— Напишите здесь название этого места. И как туда попасть.

Фронтовой товарищ удивленно поднял на нее глаза:

— Вы хотите туда съездить?

Женщина еще раз взглянула на снимок, на котором Тидеман сидел перед блиндажом еще смеющийся и здоровый. Потом спокойно посмотрела на него.

— Да, — ответила она.

— Мы все очень хотели бы как-нибудь туда съездить, — задумчиво произнес тот, медленно выводя буквы. — Вы должны ехать через Мец.

Прошло довольно много времени, прежде чем все было готово к отъезду. Окружающие не понимали, почему ей захотелось туда поехать, и пытались ее отговорить. Но она не обращала внимания на их возражения. Спокойно сидела и решительно упаковывала все, что считала необходимым для поездки. А когда ее принимались расспрашивать, отвечала односложно. Просто говорила:

— Так надо.

Поездка оказалась трудной. От езды у Тидемана разболелась голова, а жена не знала никого, кто мог бы им помочь. Да она и не понимала языка тамошних жителей. Она просто стояла и смотрела людям в глаза, пока они не догадывались, что она хотела сказать.

К вечеру третьего дня они добрались до того населенного пункта, где стояла рота Тидемана. Оказалось, что это малолюдная унылая деревня с длинными рядами серых домов. Таких развалин, как на фотографии, не было видно. Все было отстроено заново.

Несколько конных повозок с туристами подъехали к трактиру. Их переводчик подошел к жене Тидемана и заговорил с ней. Она спросила, не может ли он что-нибудь сказать ей о том участке фронта, где был контужен ее муж. Он пожал плечами — мол, теперь повсюду опять поля и некоторое время назад их снова засеяли.

— Повсюду? — спросила она.

— О нет! — Переводчик, видимо, начал понимать и объяснил, что неподалеку, не больше километра отсюда, все еще сохранился участок с траншеями и воронками почти в таком же виде, как раньше. — Может, отвести вас туда?

Она кивнула, и, оставив вещи в трактире, они отправились в путь.

День выдался ясный и теплый. Легкий ветерок веял над склонами холмов, маленькие голубые бабочки порхали между траншеями и проволочными заграждениями. По краям воронок

росли маки и ромашки. Луга, появлявшиеся тут и там, мало-помалу отступили, деревня исчезла из виду, и, когда они перевалили через один из холмов, вокруг них внезапно разлилось мертвое молчание поля боя, — нарушаемое только небольшими группами людей, копавшихся в земле между воронками. Это сборщики металлолома, объяснил переводчик, они ищут железо, медь и сталь.

— Здесь? — спросила она.

Переводчик кивнул.

— Земля здесь набита боеприпасами, — сказал он. — Поэтому вся эта местность отдана в аренду одной металлообрабатывающей фирме. Трупы, которые эти люди находят, собирают и хоронят на разных кладбищах в округе.

Он показал направо, где виднелись длинные ряды белых крестов, сверкавших на солнце.

Жена Тидемана пробыла там вместе с мужем до самого вечера. Они прошли по множеству траншей и воронок, постояли возле множества разрушенных и рухнувших блиндажей. Она часто поглядывала на него, потом двигалась дальше. Но он безучастно следовал за ней, и на его потухшем лице так и не появилось проблеска жизни. На следующее утро она снова была там. Теперь она знала, как туда пройти, и день за днем можно было видеть, как они оба медленно бредут по глинистым полям, усеянным воронками, — усталый сутулящийся мужчина и высокая молчаливая женщина. Вечером они возвращались в трактир и уединялись в своей комнате.

Иногда по бывшему полю сражения их сопровождал переводчик. Однажды он привел их на участок, куда редко добирались туристы. Ни одной живой души не было видно вокруг, кроме редких групп сборщиков металлолома, занятых своим делом.

В одном месте лабиринт фронтовых траншей оставался практически нетронутым. Тидеман остановился перед каким-то блиндажом и наклонился ниже. Так он делал уже не раз, но тут жена его замерла на месте и схватила переводчика за плечо. Из входа в блиндаж торчало несколько гнилых досок, которыми раньше были обшиты стены. Тидеман обследовал их, осторожно ощупывая каждую руками.

В этот момент раздался громкий стук молотка по металлу: в нескольких сотнях метров от них начали работать сборщики. Звук этот так нестерпимо резанул слух, что женщина невольно сделала странный жест рукой, словно хотела заставить его умолкнуть, — но уже в следующий миг земля вздрогнула у них под ногами от страшного взрыва, за которым последовали свист, вой, шипенье и

отчаянный, пронзительный вопль сборщиков.

— Взрыв! — воскликнул переводчик и помчался куда-то. — Они откопали мину!

Женщина, сама не зная как, вдруг оказалась на корточках подле одного из сборщиков, ногу которого разорвало в клочья. Она оторвала рукав от чьей-то рабочей куртки и обернула вокруг бедра мужчины. Потом подняла с земли кусочек железа, сунула его в узел и таким образом потуже перевязала рабочего, который потерял сознание, как только приподнялся, опершись о локоть, чтобы взглянуть на рану. Товарищи понесли его к шалашам. Женщина поднялась на ноги. Переводчик засыпал ее рассказами — ведь это был седьмой взрыв за две недели! Она огляделась, ища пучок травы, чтобы вытереть им залитые кровью руки. Потом вдруг вся напряглась и прислушалась. Раненого уже унесли достаточно далеко, но откуда-то все еще доносился какой-то глухой, сдавленный крик. Она бросилась назад…

Это кричал Тидеман. Он лежал, распластавшись на земле, и, обезумев от ужаса, пытался найти укрытие. Плечи его вздымались и опускались, он непрерывно вопил, уткнувшись в землю. Переводчик удивленно посмотрел на него и хотел было помочь ему встать. Но женщина удержала его.

Несколько рабочих прибежали из шалаша. Они думали, что Тидеман ранен, и хотели его унести. Но женщина никого к нему не подпускала. Она вдруг изменилась, движения ее стали порывистыми, но все же она заставила их уйти — столько силы, мольбы и страха было в ее глазах. Наконец они ушли, покачивая головами, ушел даже переводчик, а женщина провожала их взглядом, пока они не скрылись в лабиринте траншей. Тогда она уселась на ступеньки блиндажа и стала ждать.

На землю опустились сумерки, и Тидеман затих. Теперь он лежал на земле, как тогда, и звуки благодарственной молитвы плыли над местом их ночлега. Но женщина сидела не двигаясь.

Наконец Тидеман зашевелился. Он попытался приподняться на локтях, но только беспомощно осел на землю. Спустя какое-то время он предпринял вторую попытку. Жена не пришла ему на помощь. Только отступила поглубже во мрак блиндажа.

Тидеман стал ощупывать землю вокруг себя. Его руки отломили кусок дощатой обшивки. Он попробовал встать, но не смог. Тогда он остался сидеть, то и дело оглаживая руками траву. Потом поднял голову и стал медленно поворачивать ее из стороны в сторону. И бесконечно повторял это движение.

Над их головами запела птичка. Руки Тидемана перестали двигаться.

— Анна, — произнес он вдруг с легким удивлением в голосе.

Жена его не издала ни звука, но, когда она взяла его за локоть, чтобы увести оттуда, ее лицо внезапно дернулось, словно хотело распасться на части, и она покачнулась.

Спустя несколько недель Тидеман уже смог взять на себя заботы по усадьбе. Его жена и без него хорошо управлялась с хозяйством: стадо увеличилось на четырнадцать голов, а кроме того, она смогла прикупить еще несколько лугов и полей.

(1931)

История любви Аннеты

Аннетта Штолль выросла в небольшом университетском городке в центральной части Германии. Это была свежая юная девушка, белолицая и беззаботная хохотушка. Она не слишком усердно училась в школе, но обожала сладости и кинофильмы. Товарища ее детских игр звали Герхард Егер; мальчик был на три года старше ее, тощий и долговязый, предпочитавший книги и серьезные разговоры.

Они были соседями, и их родители тоже дружили между собой. Так и получилось, что Аннетта и Герхард росли вместе, как брат и сестра. События в жизни одного были и событиями в жизни другой — пустующие сады, извилистые переулки, воскресенья с колокольным звоном, летние луга, сумерки, звезды, ароматы и захватывающее дух таинственное волшебство юности — все это было у них общее.

Но позже все изменилось. Хорошенькая и рано созревшая, она приобрела властную самоуверенность кокетливой шестнадцатилетней девушки. Она внезапно попала из светлого, знакомого сада детской дружбы в полумрак завораживающих тайн. Юный Герхард Егер, который еще совсем недавно был старшим товарищем и защитником ее детства, теперь казался ей неуклюжим подростком, намного моложе ее самой, и из-за присущей ему нерешительности и задумчивости чуть ли не смешным. Она любила в жизни все круглое и гладкое, и было нетрудно предсказать, каким будет ее будущее — спокойным и заурядным, с респектабельным супругом и здоровыми детьми.

Когда Герхард закончил первый семестр в университете, они оба почувствовали, что стали чужими друг другу.

А потом началась война. Город охватило всеобщее ликование. Каждый день все больше гимназистов выпускных, классов и студентов начальных семестров меняли свои разноцветные картузы на серые солдатские фуражки добровольцев. Их юные лица выглядели уже почти отрешенно: они казались серьезнее, старше, и были так прекрасны в своей молодой готовности к самопожертвованию; но в то же время слишком жива еще была их связь со школьной партой, лодочным клубом и вечерними проказами — слишком жива еще была связь с мирной жизнью, чтобы они по-настоящему понимали, что это все означало и куда их несет судьба.

Герхард Егер записался в добровольцы в числе первых. Спокойного, нерешительного и задумчивого юношу словно подменили. Казалось, что в его душе горит пламя, пусть еще и

далекое от всепожирающего военного угара профессоров. Он и его товарищи видели в войне нечто большее, чем просто сражения и защиту родины. Для них война была великим ураганом, который сметет обветшавшие идеалы самодовольного упорядоченного существования и омолодит устаревшие нормы жизни.

Все они уехали на фронт в одно и то же воскресное утро. На вокзале толпилось множество плачущих, взволнованных и восторженных друзей и родных. Там собрался чуть ли не весь город. Повсюду были цветы, зеленые ветки торчали из дул винтовок, оркестр гремел не переставая, а над толпой носились восторженные восклицания и выкрики. Как только поезд тронулся, Герхард вдруг увидел перед окном своего купе Аннетту. Она махала рукой кому-то другому в соседнем вагоне. Он схватил ее за руку:

— Аннетта…

Она засмеялась и бросила ему в окно остававшиеся в ее руке цветы.

— Привези мне из Парижа что-нибудь красивое!

Он кивнул, но больше ничего сказать не успел, так как поезд уже прибавил ходу, а на перроне продолжалось столпотворение — громкое пение смешивалось с грохотом духовых оркестров. Развевающееся на ветру белое легкое платье девушки было последним воспоминанием, которое он увез с собой…

В первые месяцы Аннетта мало слышала о Герхарде. Потом письма и открытки со штемпелем полевой почты начали приходить все чаще и чаще. Она пребывала в полном недоумении: никак не могла взять в толк, чем можно объяснить столь внезапную перемену. Но еще более непонятным казалось ей, что эти письма — с каждым месяцем все больше — посвящались только воспоминаниям об их общем детстве. Она-то ожидала подробных описаний храбрых атак и каждый раз вновь разочаровывалась, читая лишь о вещах, которые давно знала и которые ей наскучили.

Войсковая часть Герхарда понесла страшные потери во время битвы во Фландрии. Несколько дней спустя его родители получили лишь коротенькое сообщение, из которого следовало, что из двухсот остались нераненными только их сын и еще двадцать семь человек. В те же дни Аннетта получила длинное письмо от Герхарда, в котором тот с необычайным подъемом напоминал ей о каком-то майском утре и усыпанном белыми цветами вишневом дереве за Крестным ходом у стен собора. Его отец только покачал головой, когда прочел это письмо. Мол, он чувствует свой долг и верность высшим идеалам и был бы

счастлив, если. бы его сын проявил себя более героическим образом. Аннетта отложила густо исписанный листок в сторону и пожала плечами — она уже не помнила то майское утро.

Тем больше удивились они оба, когда вскоре стало известно, что Герхард проявил во время той битвы во Фландрии такую необычайную смелость, что был награжден и повышен по службе прямо на поле боя.

Спустя некоторое время он приехал домой в отпуск, — мускулистый, подтянутый и загорелый — совсем не похожий на того, кого Аннетта представляла себе по его письмам. На фоне болтливого и хвастливого отца Герхард казался вдвое серьезнее, временами он был отрешенным и странно рассеянным. Впервые оставшись наедине с Аннеттой, после странного часа, в течение которого они не сказали друг другу ни слова, лишь беспомощно глядели по сторонам и обменивались внезапными беглыми взглядами, он вдруг ни с того ни с сего взял ее руку в свои и спросил, не могли бы они обвенчаться. Он весьма упорно, хотя и спокойно настаивал на этом, даже несмотря на ее возражение, что они оба еще слишком молоды. Ему было девятнадцать, а ей не исполнилось еще и семнадцати.

В ту пору не было ничего необычного в поспешных военных свадьбах и помолвках — такие события вполне вписывались в настроение всеобщего подъема. После первого минутного потрясения Аннетта быстро привыкла к этой мысли — просто пришла к выводу, что оказаться первой замужней дамой в классе весьма приятно. И ей очень нравился этот молодой офицер с мужественной внешностью, в которого превратился мечтательный Герхард из ее детства, а больше ничего, в сущности, и не требовалось. Ее родители — состоятельные и доброжелательные люди, к тому же большие патриоты, дали свое согласие на свадьбу и даже были рады — ведь свадьба давала повод устроить большой праздник.

Торжество началось в полдень. А во второй половине дня, во время свадебной трапезы, пришел специальный выпуск газеты, сообщавший о новой большой победе на Восточном фронте. Отец Герхарда велел купить и принести в зал все вышедшие газеты и вслух читал собравшимся за столом сообщения с театра боевых действий. Десять тысяч русских взяты в плен! Свадебные гости с жаром выражали восторг. Произносились речи, распевались патриотические песни, и Герхард в своем сером мундире казался олицетворением идеалов, которыми все упивались.

Священник пожал ему руку, учитель потрепал по плечу, отец пожелал ему вновь с такой же целеустремленностью биться с врагами, и все присутствующие столпились вокруг Герхарда,

чтобы чокнуться и выпить с ним за «победу, славу и счастье в бою». Герхард, который стал лишь еще мрачнее и молчаливее, после этого вдруг вскочил со своего места, схватил бокал и, пока все общество сидело вокруг стола в немом ожидании, с такой силой стукнул им по столу, что тот разлетелся вдребезги.

— Вы… — выдавил он, — вы… — И добавил, переводя взгляд темных горящих глаз с одного на другого: — Да что вы об этом знаете?

И вышел.

В тот вечер и всю ночь он взволнованно говорил с Аннеттой, словно хотел удержать нечто, что ускальзывало от него. Он говорил о юности, о цели в жизни, о жизни вообще. И все это время он говорил только о ней — тем не менее ей казалось, что он имел в виду вовсе не ее.

На следующий вечер он возвращался на фронт. Но весь тот день он старался остаться наедине с Аннеттой. Он был как в бреду. Не хотел больше никого видеть, только бродить с ней по площадям и паркам, сидеть с ней на лугу у реки, пока не пришло время ехать. Он казался ей странным, и она даже чуть-чуть его побаивалась. Прощаясь, он крепко обнял ее и говорил что-то так быстро и сбивчиво, словно многое не успел сказать и сделать. Потом на ходу вскочил в уже тронувшийся поезд.

Через четыре недели он погиб, и Аннетта в свои семнадцать лет стала вдовой.

Война продолжалась, и годы становились все более кровожадными, пока наконец в городке не осталось почти ни одного дома, где бы не носили траур, и судьба Аннетты, о которой поначалу жители часто говорили между собой, поблекла по сравнению с еще более тяжкой участью тех семей, где погибли и отец, и сыновья. Да она и сама мало-помалу стала забывать о постигшем ее горе. Она была слишком молода, и тех нескольких дней, которые они с Герхардом прожили вместе, ей не хватило, чтобы почувствовать его своим супругом. Для нее он оставался другом юности, который погиб на войне, — как и многие другие.

Однако было заметно, что теперь в ее характере появилась некоторая замкнутость. С прежними подружками ее теперь, в сущности, ничего больше не связывало — она ощущала себя уже не такой юной. Но, с другой стороны, она считала, что и к взрослым вроде бы не относится — для них она была слишком молода. Так и получилось, что она и сама не очень-то понимала, как ей себя вести. Слишком много всего произошло и слишком быстро миновало.

Но события последних лет войны не оставляли ей времени для раздумий. Она добровольно работала с утра до ночи

младшей сестрой милосердия в одной из больниц. Водоворот времени ворвался в жизнь всех и поглотил каждого в отдельности.

Потом пришло перемирие, за ним революция, ряд путчей, кошмар инфляции — и наконец, когда все это миновало и Аннетта пришла в себя, она даже удивилась, обнаружив, что стала двадцатипятилетней женщиной, причем жизнь ее отнюдь ничем не обогатилась. Ибо о Герхарде она теперь почти не вспоминала.

Вскоре скончались ее родители. Ее благосостояние понизилось до такой степени, что Аннетта возблагодарила судьбу, когда ей удалось получить место сестры милосердия в одном из городов на севере Германии. Спустя несколько месяцев она познакомилась с мужчиной, который начал ухаживать за ней и хотел на ней жениться. Сначала она не решалась, но со временем он ей понравился, и был назначен день свадьбы.

Теперь ей следовало бы почувствовать себя по-настоящему счастливой, но ее точило какое-то беспокойство. Что-то в душе — она сама не понимала, что именно, — пугало ее. Она ловила себя на том, что целиком погружалась в свои мысли и ничего не замечала вокруг, а если с ней заговаривали, она рассеянно слушала, но ничего не слышала. Мысли ее затуманивались, и она погружалась в мрачную отрешенность черной меланхолии. Ночами она просыпалась и беспричинно плакала. Но потом снова и снова пыталась бурными ласками и страстной жаждой любви преодолеть странную преграду, постепенно возникавшую перед ней.

Временами, когда она бывала одна в своей комнате и глядела в окно на голые серые дома напротив, ей чудилось, будто стены их превращаются в прозрачный туман, за ним открываются двери и становятся видны переулки и островерхие крыши, а дальше — летние луга и заброшенные сады, залитые жарким солнечным светом, — тут на нее нападала невыносимая тоска по дому, и в конце концов она пришла к выводу, что все ее трудности от этой тоски. А раз все дело в этом, то нужно просто вернуться домой и увидеть все своими глазами.

Она решила на несколько дней съездить в родной город, жених поехал вместе с ней.

Приехали они вечером. Аннетта была сильно взволнована. Едва успев распаковать вещи в гостинице, она рассталась с женихом и ушла в город одна.

Она подошла к дому, который когда-то был ее родным. Потом заглянула в сад. Ее волнение все росло. Луна светила, и крыши блестели в ее лучах. В воздухе носились ароматы весны, и у

Аннетты возникло ощущение, что перед ней открываются какие-то перспективы, что-то новое уже появляется на горизонте и приближается к ней, напоминая о чем-то, но о чем — она не могла вспомнить.

Она пошла в луга. Трава была тяжелой от росы. Вишневые деревья белели, словно были покрыты свежим снегом. И вдруг, совершенно неожиданно, ей послышался голос: ушедший в небытие, давно забытый, отрешенный голос; ушедшее в небытие, давно забытое, отрешенное лицо. В душе ее что-то прорвалось — нечто затаившееся, нечто бесконечно далекое, немыслимо усталое, тяжкое, печальное — она уже давно забыла и думать о нем. Теперь он возник и завладел ею с большей силой, чем когда-то при жизни, — то был внезапно очень любимый, потерянный и все же никогда ей по-настоящему не принадлежавший Герхард Егер.

Она вернулась в гостиницу, словно оцепенелая, едва держась на ногах. Бросила взгляд на жениха — до чего же он чужой! Она могла бы его возненавидеть, такого, каким он стоял перед ней, — живой и здоровый. Лишь с трудом выдавила она несколько самых необходимых слов. Он хотел поговорить с ней, настаивал все еще раз обдумать, обещал подождать. Она только кивнула в ответ и попросила оставить ее одну.

Те несколько дней, которые она прожила вместе с Герхардом, теперь стали для Аннетты ее мукой и тайной. Она вытащила на свет Божий его письма и читала их, пока глаза не слепли от слез. Она разыскала нескольких его фронтовых товарищей и без конца расспрашивала их обо всем, что они о нем знали. Один из них подолгу беседовал с Герхардом там и даже разговаривал с ним в тот день, когда он погиб. Тут Аннетта впервые услышала, что такое, в сущности, война, впервые поняла, о чем говорил Герхард в ночь перед отъездом, впервые осознала, что требовалось от нее — стать для него прибежищем, тихой гаванью, маленьким огоньком любви посреди моря ненависти, искоркой человечности посреди всеобщего уничтожения, теплом, доверием, почвой, на которой он мог устоять, всей планетой, родиной и мостом, по которому он мог бы вернуться.

Ее охватило раскаяние… и любовь. Она, для которой некогда все это было лишь небольшой данью тщеславию, легкомысленной склонностью ко всему необычному, памятью о детской дружбе и немного девчачьей гордостью, она, так быстро забывшая его и почти никогда о нем не вспоминавшая, теперь вдруг полюбила — полюбила его тень.

Она уединилась от всех и от всего. Знакомые пытались поговорить с Аннеттой, как-то помочь ей вернуться в прежнее

состояние. Но ничего не помогало. Если бы рядом с ней жил кто-то, ему, вероятно, удалось бы освободить ее от гнетущих воспоминаний. А так она оставалась с ними наедине.

Аннетта становилась все более странной. Часто, когда в комнате никого не было, она громко разговаривала сама с собой. Вскоре она потеряла работу. Позже вступила в небольшую секту, проводившую спиритические сеансы. Однажды ей померещилось, что Герхард приближается к ней. Так проходили годы… Однажды ее не стало… Последнее, что она видела, был темный крест оконной рамы, за которым стояло заходящее солнце.

(1931)

Странная судьба Йоханна Бартока

Йоханн Барток, жестянщик и слесарь-сантехник, был женат всего пять месяцев, когда началась война. Его тут же призвали в армию и послали служить в гарнизон австрийского городка на границе. В день отъезда он занимался приведением в порядок своих дел и передачей небольшой мастерской жене и помощнику. Ему даже удалось получить еще два заказа. Их исполнением он занимался вплоть до сумерек, но зато ему было приятно знать, что теперь по меньшей мере до Рождества все будет в порядке. Когда наступил вечер, он надел свой лучший костюм и вместе с женой отправился к фотографу. До тех пор они не собрались фотографироваться — им приходилось вкалывать до седьмого пота, чтобы сводить концы с концами, так что такая затея не могла не показаться им пустой тратой денег. Но теперь это было нечто иное. Фотограф на следующее утро принес снимки прямо к поезду. Хотя они получились немного больше, чем ожидал Барток, он попытался вырезать лица из фотографии, чтобы они поместились в крышке от карманных часов, но из этого ничего не вышло, поэтому он взял нож, отрезал свое лицо и оставил только лицо жены. Теперь фотография поместилась.

Полк, в котором служил Барток, вскоре был переведен на фронт. Зимой 1914 года полк попал в серьезную переделку — в жестоком бою противник произвел фланговое движение и отрезал три роты. Они оборонялись целый день; но когда боеприпасы иссякли, им пришлось сдаться. Среди них находился и Барток. Пленные провели несколько месяцев в сборном лагере. Барток целыми днями сидел в бараке, занятый своими думами. Ему очень хотелось знать, как живется жене и смогла ли она обеспечить мастерской новые заказы, ведь теперь ей приходилось жить только на доходы от мастерской. Но на весь лагерь не пришло ни одного письма, и Барток мог только пытаться посылать домой письма с советами и адресами людей, которым, возможно, потребуется новая ограда из железной решетки или, к примеру, клозет со смывом. К началу апреля был составлен отряд из тысячи восьмисот человек для перемещения на побережье. Барток и его товарищи попали в состав этого отряда. Всех их погрузили на борт парохода, и прошел слух, что их должны морем доставить в какой-то лагерь, расположенный в Восточной Азии.

За несколько первых дней почти всех подкосила морская болезнь. Потом они слонялись без дела или сидели, сбившись в кучу, в духоте темного трюма и курили, пока не кончились

сигареты. Только через несколько узких иллюминаторов им удавалось бросить взгляд на море, так что все по очереди выглядывали наружу. Вода была голубой и прозрачной, иногда удавалось увидеть белые птичьи крылья или даже тень большой рыбины.

Мало-помалу охрана обленилась. Пленные заметили это и задумали напасть на экипаж и завладеть судном. Некоторые из них высмотрели помещения, где хранилось оружие, другие тайком обзавелись нагелями, веревками и ножами.

Потом, в штормовую ночь, они начали операцию. Трое здоровенных унтер-офицеров возглавили группу, в которую входил и Барток. С невинным видом они приблизились к трапу, ведущему к каютам, по-кошачьи неслышно подобрались к часовым и набросились на парней, от растерянности не оказавших никакого сопротивления. Спустя несколько секунд пленные отдраили люки и выскочили на палубу.

Часть экипажа они одолели во сне, остальным пришлось сдаться: Только капитан и двое офицеров забаррикадировались и открыли огонь. Троих пленных они застрелили из револьверов. Но когда подтащили пулемет, тяжело раненый капитан сдался.

Пленные намеревались добраться до нейтрального порта, поскольку оружия и провианта было вдоволь, а некоторые из них и раньше ходили по морю. Один из них, бывший морской офицер, взял на себя командование. Ежедневно проводились занятия военным делом, и Барток научился стрелять из пулемета. Офицер, взявший на себя командование, прикинул, что до ближайшего порта им понадобится целая неделя. Но судьба распорядилась иначе. На четвертый день на горизонте вырос силуэт низкого серого военного корабля. Дымя всеми трубами, он сразу же взял курс на пароход с пленными.

Те попытались было удрать, однако скорости не хватило. Тогда они приготовились к обороне в надежде продержаться до ночи и ускользнуть под покровом тумана и темноты.

Но ничего не получилось. Хоть у них и были винтовки, но их огонь не достигал крейсера. Спустя час многие были убиты, и оставшимся в живых пришлось вывесить белый флаг. Морской офицер, взявший на себя командование, застрелился, как только первая шлюпка с военного корабля причалила к их борту. Капитан крейсера обращался с ними не как с военнопленными, а как с мятежниками; поэтому их поместили в исправительную колонию на каком-то острове. Некоторых зачинщиков расстреляли, в том числе и Михая Хорвата, приятеля Бартока. Он оставил Бартоку свои часы и бумажник.

— Желаю удачи, Йоханн, — сказал он и пожал на прощанье

руку. — Мне все равно, каким способом помереть, в конце концов все там будем. Надеюсь, что ты выберешься! Если моя мать будет еще жива, передай ей эти вещи, ладно?

Остальных пленных обвинили в мятеже. Каждого пятого приговорили к пожизненному заключению, остальных — к пятнадцати годам принудительных работ. Когда пересчитывались, Бартоку повезло — он получил только пятнадцать лет.

«Пятнадцать лет, — думал он вечером первого дня, сидя в углу насквозь прожаренной хижины из волнистой жести, вытянув больные ноги, — пятнадцать лет. Сейчас мне тридцать два года. А тогда стукнет сорок семь». Он вынул из крышечки часов фото жены и долго глядел на него. Потом покачал головой и попытался уснуть.

Работа была адская, а климат убийственный. Сто восемьдесят человек умерли в первый же год. Во второй — сто десять. На четвертый год Барток подружился с Вильчеком, крестьянином из Баната. На шестой год он его похоронил. На седьмой потерял передние зубы. На восьмой узнал, что война давно кончилась. На девятый он поседел. На десятый шестнадцать человек пытались бежать, но их поймали. На двенадцатый больше никто уже не говорил о доме. Весь мир усох до размеров их острова; вся жизнь состояла из адского труда и глубокого сна; тоска по дому улеглась, боль притупилась, память умерла; кроме бесцельно существовавших тварей, каждый вечер молча ложившихся помирать, а утром тем не менее вновь поднимавшихся, были только охранники, крупные и грубые парни, а также лихорадка и отчаяние.

Когда надзиратель сказал им, что они свободны, они сначала не поверили. До последнего дня все считали, что надзиратель когда-нибудь придет и сообщит, что им придется оставаться здесь еще пять лет, — так трудно было им представить себе, что такое свобода. Они собрали свои скудные пожитки и спустились к гавани. Барток один раз обернулся. Там, перед хижинами, сидели его выжившие товарищи, которые получили пожизненное заключение и теперь должны были остаться здесь. Они молча смотрели вслед отбывающим. Перед уходом из лагеря Барток спросил у двоих из их числа, не прислать ли им что-нибудь из дома. «Заткнись!» — сказал один и ушел прочь. Второй уже ничего не понимал. Но первый через несколько шагов снова их догнал. «Мы тоже уйдем!» — крикнул он. Остальные не шелохнулись. Просто стояли и смотрели.

По пути к пароходу Барток вынул из кармана часы. Фото его жены было еще цело, однако так выцвело, что ничего уже нельзя

было разобрать. Но он все же вынул его и попытался думать о прошлом. Он уже давно ничего такого не делал, и голова у него вскоре загудела с непривычки.

Оказавшись вновь на суше, он поехал дальше с несколькими товарищами из той же местности. Они выяснили, что их родной край теперь принадлежал стране, которая раньше воевала с ними. И весь их край отошел к ней на основе мирного договора. Они этого не поняли, но покамест приняли как факт. Ибо для них за эти пятнадцать лет изменился весь мир. Они видели дома, улицы, машины, людей, слышали знакомые названия, и все-таки все было им чуждо. Города стали больше, уличное движение пугало, и им было трудно понять, что вокруг происходит. Все менялось слишком быстро. А они привыкли думать медленно.

В конце концов Барток добрался до родного города. Он шел медленно и опирался на палку — так дрожали у него колени от волнения. Он нашел дом, в котором когда-то жил. Мастерская еще существовала, но о его жене никто ничего не знал. Аренда за последние десять лет часто переходила из рук в руки. А жена, по всей видимости, уже давно съехала. Барток разыскивал ее повсюду. И наконец узнал, что она, вероятно, живет на западе, в городе покрупнее здешнего.

Он отправился в город, который ему назвали. Там он останавливался перед множеством дверей и спрашивал про жену. Когда Барток убедился, что никто ничего о ней не знает, он совсем выбился из сил и утратил надежду настолько, что уже хотел было уехать. И тут его вдруг осенило. Он повернул назад и назвал чиновнику имя своего бывшего помощника. Чиновник еще раз полистал свою книгу и нашел его. Жена Бартока обвенчалась с ним семь лет назад. Барток кивнул. Теперь он понял, почему не получал писем, почему ничего не слышал о доме. Просто они считали, что он умер.

Медленно поднялся он по лестнице и позвонил. Пятилетний ребенок открыл дверь. Потом подошла его жена. Он взглянул на нее и, не будучи уверен, что это она, не мог решиться заговорить.

— Я — Йоханн, — выдавил он наконец.

— Йоханн! — она отступила на шаг и рухнула в кресло. — Пресвятая Богородица! — Она заплакала. — Но ведь мы тогда получили извещение… Извещение… о твоей смерти!

Она выдвинула ящик стола и начала дрожащими руками копаться в нем так судорожно, словно ее жизнь зависела от того, найдет она это извещение или нет.

— Да-да, перестань же плакать! — Барток с отсутствующим взглядом пересек кухню. — Это твой ребенок? — спросил он. Жена кивнула. — А кроме него есть дети?

— Двое…

— Так, двое… — машинально повторил он. Потом сел на диван и уставился в одну точку.

— Что теперь будет, Йоханн? — спросила жена сквозь слезы.

Барток поднял на нее глаза.

Перед ним на низеньком комоде стояла небольшая фотография в позолоченной рамке. Это был тот самый снимок, который они заказали перед его отъездом в армию. Он взял фотографию в руки и долго глядел на нее. Потом опять посмотрел на жену. И провел ладонью по лбу.

— Пять месяцев, верно?

— Да, Йоханн…

— А теперь?

— Семь лет, — мягко ответила она. Он кивнул и поднялся. Жена обняла его. — Ты ведь не уйдешь опять?

— Уйду, — ответил он и взял свою фуражку.

— Останься хотя бы до ужина, — попросила она. — Пока Альфред не придет…

Он покачал головой.

— Нет-нет, лучше так. А потом ты сама все урегулируешь. Так будет правильно.

На улице он постоял какое-то время перед домом. Потом вернулся на вокзал и поехал в свой родной город. Он хотел найти там работу и начать все сначала.

(1931)

Ночью я видел сон…

О вы, декабрьские ночи 1917 года! Ночи в лазарете, полные стонов и сдавленных криков! Что толку вспоминать вас сегодня, в эпоху, которая снова пронизана жаждой войны и непримиримостью! Разве уже не забыто все то, что тогда возникало из грязи и ужаса, разве не канули в Лету те годы, когда земля впитывала крови больше, чем Дождевой воды?

Вы, ночи, когда мука была нашим общим мрачным товарищем — и смерть, и тоска по дому, и безнадежность! Вы, ночи, над которыми слова «мир на земле» мерцали страшной виной и ужасной печалью! Вы никогда не должны быть забыты, не должно исчезнуть ваше предостережение в эти дни смятения, никогда…

Красное кирпичное здание больницы было занесено снегом, ветер сотрясал окна, бледный свет ламп едва освещал коридоры, в трубах отопления булькала вода, а в палате рядом со мной на куче подушек, подложенных под спину, уже несколько недель умирал унтер-офицер Герхарт Брокманн.

Раньше, до войны, он был учителем в маленькой деревушке. Когда он еще мог говорить, он часто рассказывал об этом. Тогда мы лежали вчетвером в нашей палате, и Брокманн еще верил, что через несколько месяцев его вылечат и комиссуют из армии. Он хотел вернуться в низенькую школу рядом со старым деревенским кладбищем, где жужжали пчелы, а бабочки стайками сидели на надгробиях; в березовые аллеи в прохладных сумерках лета; в свой кабинет с пианино и книгами на полках; вернуться во всю эту мирную прошлую жизнь.

— Дети, а еще — уроки пения! — говорил он и усаживался повыше, опираясь на локти, так что серые рукава рубашки спадали с тощих рук. — Это — самое прекрасное! Мы еще пели тогда одну песню… мы даже пели на три голоса, поверите ли, одноклассная народная школа, но на три голоса, как настоящий хор… Не знаю, слышали ли вы ее — «Ночью я видел сон…» Я должен хоть раз услышать ее снова…

Трудно было выдержать настойчивый взгляд его пылающих глаз. Вероятно, эта песня много для него значила, потому что он часто заговаривал о ней; может быть, когда-то ее пела девушка, которую он любил. И потом, когда умерли Петерсен и Фишер, он все время заговаривал об этой песне, тогда я быстро говорил ему:

— Да, я знаю ее, Герхарт, даже все куплеты.

Он дожидался прихода медсестры, чтобы рассказать ей. Иногда он даже пытался напеть ей мелодию своим охрипшим

надтреснутым голосом. Тогда казалось, что это — не голос, а последние мысли, которые, словно уставшие мухи, с жужжанием летают друг за другом в колоколе обтянутого кожей черепа. Ему было тридцать лет, Герхарту Брокманну, пуля застряла у него в легком, и начался туберкулез; он выглядел на все восемьдесят…

О вы, декабрьские ночи 1917 года! В октябре, когда опадали листья, начали умирать наши товарищи; вначале нас было четверо, а теперь остались только мы с Брокманном.

Снег стучал в окно, словно невидимые часы, двери все время отворялись, смерть бродила вокруг дома, из углов выползала лихорадка, а сон никак не приходил. Но когда он все-таки приходил, с тяжелыми сновидениями, я снова резко просыпался от тихого голоса из угла палаты, Брокманн с трудом шептал, захлебываясь от ужаса:

— Света… света… ради Бога… — Потом свет ночника отражался в глазах Брокманна, которые мрачно и странно блестели на ничего не выражавшем лице и медленно, испытующе осматривали комнату, словно кого-то искали. Он никак не хотел засыпать; он думал, что так не умрет.

Наступило рождественское утро, серое и мрачное. Медсестры устроили в большом зале лазарета раздачу рождественских подарков, украсили елку лампочками, шарами и серебряной мишурой, каждый из нас получил в подарок яблоки, печенье, сигареты и даже пару носков. Днем ко мне пришел мой товарищ Людвиг Брайер. Во время наступления во Фландрии мы потеряли друг друга из виду, я даже слышал, что он погиб. И вот он стоял передо мной; он получил две недели отпуска и ехал домой. И все-таки настоящей радости не было; потому что с Сочельника все знали: для Брокманна скоро все будет кончено.

Канцелярия напрасно пыталась разыскать его родных и телеграфировать им, чтобы рядом с ним в последние дни хоть кто-то был. Не удалось. Его родители умерли, братьев и сестер у него не было, а на другие вопросы он уже почти не отвечал. Он целыми днями хрипел.

Людвиг Брайер пробыл у меня, пока не стемнело. Дольше не выдержал. К тому же он хотел домой к матери.

— Не обижайся, — сказал он, — я к этому не привык. При наступлении — куда ни шло, но тогда все происходит быстро, и ты не видишь этого вот так. Но это, это действует на нервы больше, чем если бы мы всем полком шли прямо на автоматы.

Я кивнул и смотрел ему вслед, пока его было видно из окна. Потом я включил свет, хотя знал, что сестры будут меня ругать, потому что свет надо было экономить; к тому же, строго говоря, было еще рано. Правда, мне уже разрешили ходить, и я мог бы

поковылять в другую палату, где лежали легкораненые, однако я не хотел оставлять Брокманна одного. Но и сидеть с ним наедине в темноте я тоже не хотел… Я и без того все время думал об остальных, которые здесь умерли. Поэтому я, не раздеваясь, лег на кровать. Мне казалось, что лежа легче выносить предсмертный хрип. Когда я лежал, мы не так отличались друг от друга.

В этот день медсестра пришла в палату раньше обычного. Я хотел быстро дотянуться до лампы, но она совсем не обратила внимания на свет, а подошла к койке Брокманна и наклонилась над ним. Некоторое время она прислушивалась, потом пожала плечами. Тут в проеме двери появилось бледное, узкое лицо операционной сестры.

Я не понимал, что происходит. Не может же быть, чтобы они собирались оперировать Брокманна! Я быстро сел. Операционная сестра улыбнулась мне. Это вызвало во мне недоверие; потому что, когда она улыбалась, за этим чаще всего следовало что-нибудь опасное. Может, она хотела еще раз уложить меня на разделочный стол?

Но она тоже прошла к Брокманну и отвернулась от меня.

— Мы можем попробовать, — произнесла она.

Я удивленно встал. Перед открытой дверью в полутьме коридора толпилась кучка детей. Среди них была молоденькая девушка.

— Это учительница, — прошептала мне медсестра. — Она уже неделю лежит рядом в женском отделении. Мы рассказали ей про Брокманна. И она сегодня вызвала свой класс… Чтобы порадовать его на Рождество. Хочется надеяться, он услышит…

— Что? — спросил я, и от догадки у меня перехватило дыхание…

Но они уже начали чистыми голосами:

— Ночью я видел сон — какой грустный сон…

Мне показалось, что меня ударили. Меня это просто опрокинуло. Надо же, они подумали об этом! В полуосвещенном помещении, где стоял сладковатый запах смерти, мне казалось, что потерянная Родина еще раз приблизилась, чтобы поприветствовать нас. У меня защекотало в горле. Но потом я взял себя в руки и посмотрел на Брокманна, слышит ли он.

Пока пели первый куплет, он лежал без движения. Сестра сделала знак, и дети подошли немного ближе. Они запели второй куплет.

Ладони Брокманна начали, словно мыши, двигаться кругами по одеялу. Потом они распрямились и легли спокойно, будто отдаваясь неизбежному. Я уже подумал, что это конец, но тут он открыл глаза, они были нежные, большие, с непередаваемым

выражением. Лицо — словно кратер вулкана, неподвижное, измученное, серое, — но глаза были прекраснее глаз девушки, певшей с детьми. В них уже был покой, которого не было на лице.

Песня кончилась. Брокманн не двигался. Он лежал совершенно спокойно. Учительница кивнула, они запели еще раз. Тут Герхарт повернул голову, словно прислушиваясь, и по его лицу пробежало нечто, напоминающее судорожную, слабую улыбку. Я склонился к нему. Вначале я не мог как следует его понять, поэтому немного приподнял его подушки.

— На три голоса, — прошептал он, — на три голоса.

Потом замолчал и посмотрел на девушку. Она была очень молоденькой, я бы и не подумал, что она уже учительница. Мне и самому было только девятнадцать, но по сравнению с ней я был зрелым мужчиной. Она казалась еще ребенком и наверняка не знала, что здесь происходит. Наверное, она только хотела доставить радость больному, и вряд ли думала о том, что человек, жизнь которого заканчивается, еще раз попал в свою юность.

В девять часов вечера Герхарт забеспокоился. В половине десятого стало видно, что его организм бросил в бой последние резервы. В десять он работал, как локомотив: пот струился по его лицу, он дрожал и с трудом дышал, легкие его хрипели, кривящийся рот хватал воздух. Он медленно задыхался, но был в сознании.

— Дайте ему морфия, сестра, чтобы он сразу успокоился, — попросил я.

Она покачала головой и ответила:

— Это противоречит вере.

— Тогда дайте его мне, — сказал я. — Просто из сострадания! Поставьте его здесь. И забудьте, когда будете уходить.

Она посмотрела на меня.

— Смерть только в руках Господа, — произнесла она и добавила: — Если бы это было не так, как можно было бы вынести здесь…

В половине одиннадцатого Брокманну стало так худо, что я не мог больше на это смотреть. Я должен был что-то сделать и внезапно я понял что.

Я не могу вспомнить, как я вышел. И как я узнал, в какой палате лежит девушка. К счастью, мне никто не встретился по дороге. Что я говорил ей, стоя в дверях, я тоже не помню. Но, наверное, она меня поняла, потому что пошла со мной, не задавая лишних вопросов.

Она села на койку Брокманна и взяла его за руки. Я видел,

как она при этом содрогнулась от ужаса, но держалась она мужественно. И произошло то, на что я даже и не надеялся: Герхарт успокоился. Правда, он все еще хрипел, но не так мучительно.

Ночная сестра пришла в двенадцать. Это была толстая медсестра, единственная, которую все не любили. Увидев девушку, она вздрогнула. Я попытался ей все объяснить. Но она только отрицательно покачала головой. Больница была католической, здесь с такими вещами было очень строго. Для сестры было привычно, что каждый день кто-то умирает; намного непривычнее было для нее увидеть ночью в нашей палате девушку.

— Фройляйн не может оставаться здесь, — сказала она и посмотрела на меня.

— Но… — попытался возразить я и показал на койку.

Сестра едва взглянула туда.

— Он ведь успокоился, — заявила она нетерпеливо. — Фройляйн должна уйти! Немедленно! Она же не родственница.

Девушка покраснела. Она отпустила его руки и хотела подняться. Но тут с губ Герхарта сорвался булькающий звук, на его искаженном лице появился ужас, мне показалось, что он крикнул: «Анна».

— Останьтесь, — в бешенстве сказал я и встал между девушкой и сестрой. Мне уже было все равно.

Сестра задрожала от возмущения. Она обратилась прямо к девушке:

— Фройляйн, покиньте палату! Я останусь с больным.

— Этого не нужно, — возразил я грубо. — Он достаточно часто злился из-за вас.

Она понеслась к двери.

— Тогда мне придется доложить! Я немедленно иду к господину директору!

— Иди к черту, старая сова! — выругался я ей вслед.

Весь в напряжении, возбужденный, я ждал, что теперь будет. Я был полон решимости никого больше не пускать в палату. Теперь это касалось только Герхарта и меня. И никого больше.

Но никто больше и не пришел.

Герхарт умер на второе утро после Рождества. Он умирал легко и под конец словно просто заснул. Девушка оставалась рядом с ним, пока все не кончилось. После этого мы молча шли по тускло освещенному коридору. Теперь, когда все было кончено, та история с сестрой меня очень тревожила. Госпиталь не шутил в таких вопросах. Мне-то было все равно, но вполне могло случиться, что девушке пришлось бы покинуть больницу.

— Будем надеяться, что они не очень сильно будут вас ругать, — сказал я подавленно.

Она махнула рукой, глядя прямо перед собой.

— Мне все равно… по сравнению с этим…

Я взглянул на нее. Ее лицо совершенно изменилось. В тот вечер, когда она пела со своим классом, это было лицо еще молоденькой девушки, сейчас — строгое, собранное лицо человека, который многое знает и знаком со страданием.

Пока я возвращался один, я все время думал об этом — и странно: когда за окнами зазвонили колокола к заутрене, я в первый раз с тех пор, как стал солдатом, ощутил покой, почувствовал, что сделал что-то хорошее; теперь я снова знал, что, кроме войны и разрушения, существует и нечто иное и что оно вернется. Спокойный и собранный, вернулся я в свою палату, наполненную серо-золотым светом утра. Там в своей кровати лежал уже не простой солдат Герхарт Брокманн. Там лежал вечный Товарищ, а его смерть не внушала больше ужаса, она была заветом и обещанием. Я снова улегся на соседнюю койку, ощущая покой и безопасность.

Вы, декабрьские ночи 1917 года! Вы, ночи муки и ужаса! В вашей непостижимой тоске просыпались надежда и человечность! Вы никогда не должны быть забыты, никогда не должно исчезнуть ваше предостережение, никогда…

(1930–1932)

В пути

После того как я четыре дня питался только незрелыми сливами, я потерял сознание. Желудок я ощущал как кусок раскаленного железа, полевая дорога рябила в моих глазах. Я знал, что был ясный полдень, и солнце палило вовсю, но мне все казалось серым, как зола, а ноги подкашивались от страха, словно мне предстояло идти вброд через болото. Шатаясь, я спустился с шоссе и махнул на все рукой. Улегшись под сосной, я расстегнул рубашку и почувствовал, что лечу в чёрную пропасть. Я думал, мне крышка.

Когда я пришел в себя, был уже вечер. Рядом стоял ка-кой-то крестьянин и тряс меня за плечо. Я почувствовал, что лицо у меня мокрое. Языком я слизал капли с губ. Губы горели. Это был шнапс. Крестьянин поднес к моим губам бутылку шнапса. Я приподнялся и отхлебнул глоток. Потом помотал головой — не мог выпить больше. Уже первый глоток ударил мне в голову.

Крестьянин возвращался в свою деревню. Его лошадь фыркала и била копытом перед фургоном на обочине. Между колесами покачивался фонарь. Желтый свет фонаря в сумерках, теплый запах лошади, большая темная фигура крестьянина — все это напомнило мне родной дом и лишило сил. Я сцепил зубы и поднялся.

Крестьянин спросил, что со мной стряслось. Я ответил, что потерял работу и что неделю назад, когда я был в пути, у меня украли последние деньги. Он вынул из фургона два сырых яйца, отколупнул скорлупу с одного конца, долил в яйца шнапса и протянул мне эту смесь. Я медленно ее выпил. Потом поел немного хлеба, который он вынул из кармана.

Он хотел, чтобы я пошел с ним. Я спросил, сможет ли он дать мне работу. Он сказал, что нет. Что я могу делать? Все, чему не надо долго учиться. Он подумал примерно с минуту и сказал, что неподалеку на железной дороге работает бригада. Он, дескать, слышал, что бригадир хотел нанять на работу еще несколько человек, — но эта работа, вероятно, будет слишком тяжела для меня. Я заявил, что справлюсь, если немного отдохну. И попытаю счастья на следующий же день, так что он вполне может оставить меня здесь. Он объяснил мне, куда надо идти. До этого места было всего три километра. Потом он положил возле меня еще несколько яиц, целую буханку хлеба и один круг колбасы. Мне нечем было его отблагодарить, кроме маленького перочинного ножичка. Он не хотел его брать, но в конце концов взял — вероятно, понял, почему я на этом настаиваю. Когда он уходил,

то оставил мне вдобавок еще и старую конскую попону.

Я спрятал яйца во мху. Хлеб и колбасу я положил подле себя под попоной. Ночью я много раз просыпался и на ощупь проверял, все ли на месте. Еще я чувствовал, что грубый край попоны царапает мне шею, и чуял запах лошади. Жизнь моя выглядела теперь уже не так плохо.

Как только рассвело, я спустился с обочины шоссе. Меня тревожила сохранность моего имущества. В лесочке я нашел небольшую прогалину, по которой тёк ручеек. Там я и остался.

Голод мучил меня теперь сильнее, чем два последних дня. Но я из осторожности решил растянуть свои запасы. Не мог пойти на риск, чтобы мой желудок отказался принимать хотя бы горстку еды: мне нужна была каждая крошка, ведь я хотел набраться сил для работы. В первый день я ел совсем мало и старался не покидать тени. На второй день я уже хорошо себя чувствовал; я купался и некоторое время лежал на солнышке, причем старался не подставлять под него макушку. Несмотря на боязнь, что работу отдадут кому-то другому раньше, чем я до нее доберусь, я и третий день провел на прогалине, спал и ел, пока еда не кончилась.

На следующее утро я пошел к железной дороге. Бригадир посмотрел на меня с сомнением; но мне повезло: двое рабочих заболели. И он меня нанял.

Нас было примерно двадцать человек, жили мы в бараках из гофрированной жести, рядом с рельсами. В первое утро я работал как безумный, потому что видел — бригадир за мной наблюдает. К полудню я едва мог двигаться и был так измучен, что почти ничего не ел. Я был в отчаянии, зная, что скоро вообще рухну. Жалости ждать мне было неоткуда. Один из рабочих, здоровенный хмурый детина, которого все называли Мек, сразу невзлюбил меня и дал мне это понять. Он так яростно колотил киркой по земле, что камни из-под нее постоянно летели мне прямо по ногам, при этом он постоянно бубнил насчет людишек, жалеющих тратить силы на работу — пусть бы их всех черт побрал.

Жара стояла невыносимая. Бараки из гофрированной жести накалились, и наши голые спины блестели от пота. Рельсы пылали на солнце. Парень, работавший рядом со мной, был силен, как лошадь, а вокруг рта у него росли густые заросли черных волос. Он ничего не говорил, но время от времени посматривал в мою сторону — заметил, видно, как я неловок. В конце концов мне пришлось сдаться. Руки у меня дрожали. Горячий пот на лбу вдруг стал холодным. Тогда он, хмыкнув что-то себе под нос, оттолкнул меня в сторону, взял мою кирку и

показал мне, как надо работать, чтобы и выполнять положенное, и не слишком надрываться. «Спасибо!» — сказал я ему. «Заткнись!» — дружелюбно откликнулся он. Я опять взялся за кирку. День длился бесконечно; но я уже знал, что смогу выдержать.

В тот вечер я пошел к бригадиру и получил две марки аванса. В столовой я купил пачку сигарет. Человек, который помог мне, сидел на пне около бараков. Звали его Генрих Тисс. Я схитрил — сказал, что, мол, случайно шел мимо; потом закурил и предложил ему сигарету. «Нет, спасибо», — сказал он и сплюнул бурую слюну. Табак он предпочитал жевать. Я вернулся к бригадиру и за несколько сигарет выменял щепотку жевательного табака. Через час я принес его Генриху.

— Это такой тонкий, темный сорт, — сказал я ему. — С привкусом рома.

— А ты, значит, в табаке смыслишь? — поинтересовался он и взял табак.

— Немного, — ответил я. — Но жевать не люблю…

— Да, это дело привычки, — заметил Тисс.

С того дня мы с ним ужинали вместе. Иногда ему удавалось поймать рыбу в реке, и мы пекли ее на палке над костром. Он здорово разбирался в таких вещах. Однажды запёк ежа в глине. Он сказал, что цыгане считают это праздничным блюдом. Вкус у ежа был странный, но неплохой. Мне бы он понравился больше, если бы я не знал, что именно я ем. Когда я еще был солдатом, я однажды ел мясо кошки, но этого не знал. Вкус был превосходный.

Вечерами, насытившись, Генрих рассказывал мне о своих странствиях. Он был бродягой и никогда долго не работал на одном месте. Чудесные были вечера. Воздух теплый, с сильным ароматом цветов, — намного сильнее, чем днем. Недалеко от наших бараков был сад, принадлежавший путевому обходчику, — такие умилительно крошечные садики всегда видишь из окна поезда. Садик этот был полон цветущих роз. Их аромат часто доносился до нас. Тогда Генрих вставал, принюхивался и начинал нервно ходить взад-вперед, такой большой и понурый.

А потом долго смотрел в ту сторону. Хворый обходчик жил в этом доме вместе с женой. Обычно она пела, когда по утрам мыла окна. Она была намного моложе мужа. Здоровая и хорошенькая. Генрих Тисс весил девяносто килограммов. На нем не было ни грамма жира.

А тот хмурый парень, Мек, никак не хотел оставить меня в покое. Он так двинул лопатой мне по ноге, что она болела после этого еще два дня. Опрокинул мою кружку; цеплялся ко мне,

когда только мог. Генрих Тисс пару раз рявкнул на него, но Мек и не подумал отстать. Он ненавидел меня, хотя я старался не попадаться ему на глаза.

— Все без толку, — наконец сказал Генрих. — Тебе придется потягаться с ним в драке. Я мог бы сделать это за тебя, но это не помогло бы. Тогда тебе пришлось бы иметь дело со всей бригадой. Пойдем.

Мы пошли в лес, и там Генрих показал мне, что я должен делать.

— Голова у него крепкая, знаю, — сказал он, — зато брюхо как масло. Ты должен так врезать ему в брюхо, чтобы из него весь воздух вышел.

В это время в бараках постоянно возникали кулачные бои — рабочие дрались либо между собой, либо с парнями из близлежащей деревни. Многие из них с ума сходили по бабам; каждое воскресенье кто-нибудь из-за них дрался. Генрих внимательно понаблюдал за Меком.

— Он пригнется и набросится на тебя снизу, — сказал он мне. — Ты должен дать ему пинка ногой, а когда поднимется, напасть на него.

Мы с ним тренировались каждый вечер.

— А ну давай, врежь-ка мне как следует, — сказал однажды Генрих. — Ничего, я выдержу.

Он дал мне пощупать свой живот. Когда он напрягал мышцы, живот был как железный.

Я выждал еще с неделю. А в воскресенье это случилось. В бараке атмосфера напряглась донельзя. Мек был в бешенстве: девица, за которой он ухлестывал, дала ему отставку. Всю вторую половину дня он искал повод подраться. И когда я пришел, он сразу начал ко мне цепляться. Ожидал, видимо, что я, как всегда, проявлю выдержку, но на этот раз я сорвался.

— Заткнись, ты, пес шелудивый! — сказал я ему.

В ту же секунду в бараке повисла мертвая тишина. Мек пошел на меня, слегка набычившись, сведя брови и полуоткрыв рот. Видно было, что он очень рад наконец-то открывшейся возможности меня отдубасить.

— Что такое? — прошипел он и мрачно уставился мне в лицо. — Что ты такое сказал, ты, слизняк?

Я обвел взглядом лица, едва белевшие в полумраке вечернего барака. Некоторые смотрели равнодушно, другие удивленно, но на большинстве лиц читалась холодная, неутоленная жажда поглядеть на жестокую драку. Однако я заметил и лицо Генриха Тисса.

— Я сказал, чтобы ты заткнул свою паршивую глотку! —

рявкнул я.

Наорать на Мека мне посоветовал Генрих. И это сработало. Мек на миг замер, прежде чем прыгнуть на меня. Он врезал мне в плечо, я ему — в шею. Тогда он пригнулся, чтобы схватить мои колени, — все точно, как сказал Генрих. Это произошло так быстро, что мне была бы крышка, если бы я не знал про все это заранее. Я отскочил назад и пнул его ногой. Он выпрямился, слегка покачнувшись, и тогда я вмазал ему в брюхо — раньше, чем он успел защититься руками. Хватая ртом воздух, он рухнул на землю и лежал не двигаясь. «Хватит с него! — крикнул кто-то из угла. — Отвали!»

Я взглянул на Генриха. Он кивнул. Я обвел глазами лица столпившихся вокруг меня людей; взгляд мой упал на серые мешки, набитые соломой, кирки и лопаты у стены… В окно я увидел — словно впервые в жизни — луга в мягком предвечернем свете и вдруг понял, что весь дрожу. В эту минуту Мек вполне мог бы стереть меня в порошок.

Я подошел к Генриху. Вдруг раздался чей-то возглас: «Гляди в оба!» Я отпрыгнул в сторону, а в следующий миг Генрих вскочил на ноги и бросился ко мне. Удар — режущий ухо крик — Мек стоит на коленях с ножом в руке.

— Черт его побери! — крикнул тот же голос, который до этого предостерегал меня. — Поножовщина — это ему с рук не сойдет!

Генрих шагнул к Меку. Он бил его кулаком, как кузнечным молотом. Это было страшное зрелище. Барак застонал. А он продолжал молотить Мека. Тот уже лежал, распластавшись на земле. Я не мог больше спокойно на это смотреть. «Оставь его», — сказал я.

Генрих взглянул на меня, словно не узнавая, и покачал головой.

— Забудь это. Тут есть кое-что, чего ты не понимаешь.

В толпе никто не шевельнулся.

Потом я узнал, что все произошло не из-за меня, а из-за ножа. Генрих был первым силачом в бараках, это давало ему некоторые права, признаваемые всеми, и накладывало определенные обязанности. Точно так же как он не мог прийти мне на помощь при поединке, он не мог допустить и удара ножом в спину.

Наступил август. Мы с Генрихом больше не спали в душном бараке. Вытащили свои мешки с соломой наружу и лежали под открытым небом. Это были незабываемые ночи. Рельсы сверкали в лунном свете. Иногда мимо с шумом пролетал поезд с фарами и зелеными фонариками. В небе мерцали звезды; я никогда в жизни не видел небо таким бесконечным и величественным, как над

этой равниной. Призрачный свет Млечного Пути тянулся над нами, словно дым огромного парохода, исчезнувшего за горизонтом.

Иногда, просыпаясь под утро, я замечал, что звезды переместились, — небо казалось перевернутым: Большая Медведица встала на дыбы, а Орион вообще перебрался на другую сторону. В такие минуты мне казалось, что Земля одиноко летит по Вселенной, бесшумно съеживается подо мной до размеров мячика, по бесконечной кривой мчится к горизонту и падает в пустоту. Это видение было настолько отчетливым, что мне частенько хотелось за что-нибудь ухватиться, дабы не упасть в бездну. А когда потом я стряхивал с себя сон, то замечал, что Генриха рядом нет. Часто я подолгу сидел так, уставившись на темные леса, которые плыли над равниной, словно пасущиеся коровы в тумане. К утру, когда вдруг выпадала обильная роса, от которой я просыпался, я иногда слышал, как возвращается Генрих. Я знал, откуда он приходил, — от домика обходчика, где жила та женщина. Я делал вид, что сплю, когда он укладывался.

Однажды вечером обходчик сам к нам явился. Мы с Генрихом сидели у костра, который сами же и разложили. Он варил пойманную им форель. Обходчик подсел к нам. Его лицо было бледным и блестело от пота. Генрих вел себя так, будто он его не заметил. Обходчик заговорил о погоде, о страшной жаре. Генрих молчал. Я взглянул на него. На вид он был вроде спокоен, но почему-то без всякой надобности то и дело ворошил костер. «Сейчас вернусь», — сказали.

Позже я услышал, что случилось тогда. Обходчик рассказал Генриху, что на войне он был ранен в легкое.

— Где? — спросил Генрих.

— Аррас.

— Я тоже там был, — сказал Генрих.

У обходчика был туберкулез. Он показал Генриху свидетельство от врача, которое принес с собой. Генрих не захотел взглянуть на него. Спокойно, вовсе не из желания вызвать жалость, обходчик сказал, что жить ему осталось недолго. Сказал также, что на земле у него нет никого, кроме жены. Он прекрасно знает, что слишком болен для нее. Но теперь ему осталось совсем немного, и потом — у него же больше никого не было… Может ли Генрих это понять? «Да», — сказал Тисс. После этого обходчик больше не говорил. Он ждал ответа от Генриха.

Какое-то время царило молчание. Генрих не сводил глаз с огня. Потом еще раз спросил:

— Где тебя ранило, приятель? Под Аррасом?

Обходчик кивнул. Генрих продолжал смотреть на костер. Он

как будто не расслышал даже собственного вопроса.

В костре затрещала ветка. Генрих поднял глаза.

— Ах да, — сказал он так, словно забыл обо всем. — Но я сам ей это скажу.

— Хорошо, — ответил обходчик и поднялся.

Следующей ночью Генрих вернулся раньше, чем я ожидал. Мимо как раз грохотал экспресс Варшава — Париж. Паровоз изрыгал фонтаны искр. Генрих упал на траву.

— Завтра я удеру отсюда, Пауль, — сказал он.

Я промолчал. Я знал, что все так закончится. Но меня это так сильно огорчило, что язык не поворачивался что-то сказать.

— Все равно пора уже, — помолчав, добавил Генрих. — Слишком долго проторчал я на одном месте.

— Ты ей это сказал? — спросил я.

— Да.

Я поглядел на луга в тумане.

— Этому бедняге не поможет, если ты уйдешь, Генрих. Она будет сидеть и лить слезы…

— Нет, не будет, — ответил он.

Я взглянул на него. Он резко обернулся ко мне.

— Она уже сыта мной по горло, — сказал он. — Я ей сказал, что женат. И что хочу вернуться домой. К жене…

Я кивнул.

— И она не лила слез, — заметил он. — Она взорвалась. Злость, понимаешь? Злость! Это поможет ей продержаться. А характер у нее, скажу я тебе, — черт знает что!

Мы помолчали.

— А ты и вправду женат? — спросил я через какое-то время.

— Ох, ну ты и скажешь, — выдавил Генрих и сорвал пучок травы.

На следующее утро он ушел.

— Я провожу тебя немного, — предложил я. Он помотал головой.

— Оставь. Так будет лучше…

День был ясный. И видно было далеко-далеко.

— Не упускай из виду Мека, — сказал Генрих. — А лучше всего — займи мое место в углу. Но не думаю, чтобы он устроил тебе еще какую-нибудь подлость.

— Я тоже так не думаю, — кивнул я.

— Ну, тогда всех благ, Пауль.

— Всех благ, Генрих…

Я постоял перед бараком, пока он не скрылся в лесу. Он не обернулся.

Через три недели ушел и я.

(1934)

The Five Years Diary

(Дневник на пять лет)

Все начинается с ласточек. Темным водопадом они внезапно сваливаются с горизонта и рассыпаются роем бледных метеоритов, которые дуга за дугой набрасывают на небо как бы стальную сеть. В тот же миг начинается преображение света. Он уже больше не цепляется безжалостно за каждую мелочь, изолируя ее и приговаривая к одиночеству; теперь свет объединяет и связывает, теперь он освещает, а не сжигает безучастно и безжалостно, он становится отражением самих вещей — они больше уже не прячутся от него, а сами его излучают; отвратительная чуждость бытия становится обманчивым всевластием; каждый держит в своих руках Юпитер и Плеяды, и даже лоб горбуна задевает Млечный Путь, когда он поднимает глаза в жажде увидеть звезды.

Я говорю не о пьяницах, лишенных фантазии, хотя их убогий, темный порыв тоже толкает их хоть на время убежать от своего «я» на черные пастбища безликости; но они не мчатся галопом, они плетутся рысью; страх обступает их, как густой кустарник в тумане; они хотят увильнуть, чтобы не раскрываться и не надрываться сверх меры; они уползают в свое логово и сидят там возле мутного пламени спиртного, словно возле Вечного огня, и песок дурмана медленно засыпает их, пока не заскрипит в жилах и мозгах и не заставит их остановиться.

Вот что такое свет; и когда он становится более мягким и серебристым, рои ласточек превращаются в голубей, которые воркуют в кронах множества деревьев — древние звуки, появившиеся за много поколений до нас. Мы близки к тому, чтобы их узнать, не хватает какой-то малости, и внезапно мы освобождаемся от мрачного гнета своего времени, жизнь становится дароносицей, она излучает свет повсюду; теперь уже нет ничего невозможного, и появляется Великое Изобилие, последнее, объединяющее в себе все остальное, как земной шар объединяет в себе все страны, — но эта малость, этот отсутствующий глоток воздуха, этот жест, способный остановить и кристаллизовать убегающее: они, эти мелочи, никогда не наступают, за миг до этого картина блекнет, звуки глохнут, на всё опускаются сумерки с множеством бабочек-павлиноглазок, и совы-грезы начинают свой беззвучный полет. Исполнение грез нам заказано, покуда мы живы, ибо исполнение и есть смерть. Но

остаются наши мечты, наши метаморфозы и преходящая власть над ними.

Все началось в пивной на 45-й улице. С потолка свисала модель парусника, в углу на высоком табурете у стойки сидела какая-то женщина с собачонкой на коленях, бармен протирал бокалы, а снаружи сонную тишину утра нарушало ровное урчание уличного движения. Над баром был встроен телевизор. Бармен держал его включенным, но без звука. По белому полю бесшумно пролетали одна за другой картинки. Сначала это был молчаливый показ мод: дамы и девицы проплывали по экрану, словно облака, и полная тишина придавала им таинственное очарование. Потом начался фильм. Персонажи его жестикулировали, их рты открывались и закрывались, лица искажались гримасами, а все вместе создавало такое впечатление, будто зимней ночью заглядываешь с улицы в бальный зал, но музыки не слышишь. И танец уже кажется бессмысленным и механическим, будто сумасшедшие исполняют какой-то однообразный ритуал. Точно такое же впечатление производил и беззвучный фильм. Тени на экране волновались, двигались, жестами выражали печаль или радость и оставались непонятыми из-за своей немоты. Невозможно было также посочувствовать им. Люди в фильме не были ни трагическими, ни смешными. Все, что они делали, казалось излишним. В сущности, оставалось лишь ждать, когда они освободят экран. Я поглядел на них и подумал, что так, вероятно, Бог смотрит на землю — немного сонно, терпеливо и слегка изумленно: что же произошло с тем первым образчиком материи, в которую он вдохнул жизнь и привел в движение, более упорядоченное, чем хаотическая пляска электронов; он даже несколько поражен тем, как вульгарно они дергаются, отказываясь вновь раствориться в гармонии лучей.

Вот что такое мое «я» — грубый узел, к которому прилипло немного сознания — так на окладистой бороде после завтрака остается немного желтка, — мое «я», самая грубая совокупность, производившая наибольший шум и сильнее всех сопротивлявшаяся растворению, словно оно означало подлинный конец, а не просто тающий в воздухе аккорд, и, следовательно, довольно-таки ничтожная совокупность, не идущая ни в какое сравнение с экстатической гармонией обыкновенного булыжника или изяществом комара, не говоря уже о кристаллах, бабочках, растениях и мушках-подёнках, этих белых комочках, рождающихся и гибнущих под рокот летних ночей.

Грубо и нахраписто это «я» загадило безответное стекло над лысой головой бармена и, будучи во множественном числе, вело себя тем более беспардонно. Терпимым делала его только немота.

Вот почему, подумалось мне, я и сижу тут. Бармен был рад, что ему не надо ни с кем разговаривать, а второе «я», державшее собачку на коленях, совсем погрузилось в джин. Но снаружи и над головой бармена текло мимо то, что мы почему-то называем жизнью и что является ее прямой противоположностью, — какофония изолгавшегося эгоизма, основанного на самообмане: вере в то, что существование вечно.

Я выпил бутылку «мозельского», отдававшего сланцем, утренним солнцем и колоколами часовни в ближней долине. Этого вина — молодого, без сахара, не пользующегося большим спросом, — я уговорил бармена купить в количестве нескольких бутылок и пообещал, что буду его пить. Я пообещал также пить красное вино, но не шампанское. Шампанское годится для болтунов и мошенников. А «мозельское» мягко стекает из подложечной ямки в солнечное сплетение, этот чудесный, настоящий мозг, по сравнению с которым то, что обычно называется мозгом, не более чем счетная машинка по сравнению с дароносицей. Я пил его и понимал, что никогда больше не стану участвовать в пошлой фальсификации жизни, которую отображает жалкое ее подобие там, наверху, равно как и в самом этом подобии. Когда бармену приходило в голову выключить телевизор, он это делал; взятая напрокат жизнь погасала, и вновь безгранично разливалась торжественная тишина, которую несведущие называют пустотой, ведь пустота существует до нас и после нас и, следовательно, вечна.

Я не сводил глаз с бармена, ожидая, когда же он это сделает. Но телевизор бармену не мешал; он повернулся к нему спиной, и экран мелькал над его головой, словно огонь Святого Эльма над мачтой судна или дергающийся нимб над головой лысого божества, которое тщательно протирает бокалы, словно деловито готовит планеты, уже остывшие до того состояния, чтобы с помощью ила и плесени начать все заново. Второе «я», сидевшее перед баром, наполовину погрузившись в джин, кашлянуло. Собачонка коротко тявкнула.

Джиновое «я» похлопало ее по спине пухлой рукой, украшенной оправленным в золото топазом. Бармен поднял на них глаза. Дама хрипло произнесла:

— Выключите же это дерьмо. У меня от него голова кругом идет.

— Ладно. А я и не знал, что он все еще включен.

Бармен-бог повернул одну из ручек. Мир над его головой померк: какая-то женщина умерла с открытым ртом, а мужчина завис в прыжке, у нескольких машин погасли фары, группа жителей растворилась в серовато-молочном тумане — казалось,

что на экране на секунду повторилась гибель Помпеи, действие захлебнулось в буре пепла и было засыпано им, и только стеклянный экран все еще продолжал беззвучно брезжить, словно квадратный месяц. Одна планета погасла. Лысый бог выключил ее свет. Время остановилось.

Время стоит. Оно перестало быть цепью, за которую нас тянут вперед, как мы думаем, но куда это — вперед? Разве к смерти — это и есть вперед? Цепь становится зеркалом, целой зеркальной галереей — и то, что мы называем памятью, и то, что генералы, государственные деятели, банкиры, священники и другие управляющие духовной жизнью считают прошлым, распахивает черный плащ забвения, смотрится в зеркало и является нам, — полнее, богаче и волшебнее, чем тогда, когда оно было настоящим. Ты — ребенок и старик, ты теряешь и приобретаешь, ты плачешь и ощущаешь свое сердце, не вставая с места и не двигаясь. По сравнению с выкрутасами духа все остальное пресно. Убегая, возвращаешься к самому себе, пределы вселенной — всего лишь садовые изгороди по сравнению с безграничностью мысли; не вставая с места, тут захватывают и теряют целые связки неподвижных звезд, словно нитки жемчуга, здесь не существует небольших ставок, игра всегда идет ва-банк, проигрыш бывает выигрышем, рай и ад всегда рядом, страх — не порок, поражение — не смерть, а только сдача, сдача и бегство в самодовольную сытость стандартных обывательских домиков с собственной ванной и теплым клозетом, кроватью, общепринятыми религией, мировоззрением и этим смехотворным тезисом об успехе, прогрессе, Добре и Зле и победе Добра.

Добро! Разве кто-нибудь заглянул хоть раз в его ужасную харю, разве кто-нибудь еще помнит, что оно-то и есть абсолютное Зло? Разве не Люцифер принес черноту, в которой мы стали говорить «я» и узнали, что смертны? Мы были изгнаны из рая, но из какого и куда? В лучший из миров? Или в худший? Ни в тот, ни в другой — просто в мир. У чёрта нет копыт — но никто еще не заглянул папе римскому под сутану. Зло честнее Добра — но нам нужны законы, ибо только Великое едино, а человеческое общество немыслимо без иллюзий и правил. Мало кто может вынести мысль, что нет ни Добра, ни Зла. Безразлично, красного или черного цвета была завеса, если она в конце концов сгорает. Не воспринимай ничего серьезнее, чем свои грезы. И все остальное так же всерьез. Ведь Бог побеждает всегда. Он играет с тобой, но карты у него крапленые. Кто играет ради выигрыша, всегда проигрывает. Но кто играет ради игры, того любит жизнь; у кого ничего нет, тому принадлежит всё. Нет ничего более великого, чем ва-банк духа.

Все это начинается с того, что ты ломаешь время, как треснувший бокал. Солнце блестит в каждом осколке, а луна отражается в океане лишь один раз, но абсолютно так же она отражается и в любой луже. Для нее лужа — все равно что море, а ты все еще ничего не уразумел? После каждого дождя золотая луна красуется в сотнях мелких луж, в том числе и в лужицах коровьей мочи, да только сможешь ли ты схватить луну? А ты по-прежнему читаешь свои газеты и думаешь, что кто-то там знает побольше тебя, а он ничего и не знает. Пророки и проповедники просто умеют говорить дольше, чем ты. Но ведь ни о чем нельзя говорить дольше, чем о пустоте. У нее тысяча лиц, и она никогда не сопротивляется. Ибо кто действительно поручится, что луна находится на небе, а та, другая, только отражает ее свет в море, а не наоборот — светит та, что в море, а та, что наверху, лишь отражает. А может, вообще существуют два потока лучей, которые и встречаются на твоей сетчатке, а луна-то всего одна: та, что находится у тебя в мозгу?

Женщина у бара сажает собачку на стойку. Это мальтийская болонка — клубок белой шерсти с носиком и розовым язычком. Глаз не видно. Бармен зевает. Дверь открывается. В пивную вместе с потоком солнечных лучей входит пара. Мужчина — тип энергичного делового человека, для которого единственная тайна бытия, которую стоит разгадывать, — это планы конкурентов. Уверенным голосом он заказывает два мартини — сухого, как пустыня, — и требует, чтобы бармен включил последние известия.

Известия ударяют по тишине, словно горох по крыше. Слегка округлившийся, но быстрый в движениях деловой человек их не слушает. Ему достаточно того, что их включили. Он в прекрасном настроении; перед его умственным взором расстилаются цветущие поля двойной бухгалтерии и сверхпремий. Его девушка сидит на высоком табурете у стойки и явно относится к тому сорту женщин, которые сзади выглядят в этой позе так, что очень хочется, чтобы они повернулись лицом.

Эти табуреты — обманщики, и на женский зад они действуют, как сильные линзы. Дама с собачкой выглядит на своем табурете словно мешок, доверху набитый мукой. Тем приятнее вид ее соседки. Господь наверняка пел, когда лепил ее, в особенности удались ему талия и то, что ниже. Но и все остальное тоже недурственно, в особенности при взгляде сзади; однако это не редкость. Сколько раз из-за плеча Дианы вдруг выплывал жуткий нос крючком или подбородок, похожий на скалы Гибралтара, не говоря уж о трезво-расчетливом взгляде василиска. Будем же рады тому, что имеем! Любопытство,

говорят, мать любознательности, — а вот добродетель, к счастью, часто карается.

— Не можете ли выключить эту болтовню? — спрашивает толстуха с собачкой. — Кому охота без конца это слушать?

Деловой человек на миг теряется.

— Мне, — заявляет он.

— Вам? Это из-за двух-то мартини? Столько треску.

— Это не треск, — сдержанно отвечает деловой человек. — Это политические новости нашей страны.

— Ешьте лучше соленый миндаль.

Деловой человек уставился на нее. Он привык мыслить логично и разумно. Наконец он пожимает плечами. Явно нашел устраивающее его объяснение. Просто толстуха пьяна. Жизнь может продолжаться. На миг его коснулось что-то непонятное; белая рыбина всплыла из глубин. Но теперь море вновь, как зеркало. Только упрек насчет двух мартини по-прежнему бесит.

— Еще два мартини, — заказывает он.

— Сухого, как пустыня, — вворачивает толстуха.

Деловой человек чувствует себя осмеянным. Он не знает, как следует реагировать. При конфликте между пьяным и трезвым обычно проигрывает трезвый. Хоть он и ощущает свое превосходство, но не может убедить в нем другого, а чего оно в таком случае стоит? Оба они действуют на разных уровнях, а уровень логики надуманнее. У второго же в резерве вся вселенная.

— Что ж, пожалуй, — роняет деловой человек с явным пренебрежением в голосе.

Толстуха кивает.

— Ну так выключи же эту штуку, — заявляет она бармену. — И дай моему Отто сосиску.

Очевидно, Отто — это и есть мальтийская болонка. Деловой человек поднимается.

— Но я хочу слушать последние известия.

— А я нет.

Бармен колеблется. Толстуха — его постоянная клиентка. Деловой человек обращается ко мне.

— А вы, сударь? Вы-то чего хотите? Пусть решает большинство.

Все оборачиваются ко мне. В том числе и девушка. Она и впрямь великолепна. И спереди она такая, какую обещал зад. Выждав секунду-другую, я говорю:

— Выбирая между шумом и тишиной, следовало бы предпочесть тишину. Она не раздражает. А шум может и раздражать.

— Что? Почему это?

— Попробуем посмотреть на это иначе. Зачем вам слушать последние известия, если рядом с вами сидит сама жизнь?

До знатока двадцатипроцентной прибыли не сразу доходит смысл моей наглой выходки.

— Жизнь? Как это? Мы же все живые.

— А это, — с наслаждением возражаю я, — одно из наиболее распространенных заблуждений.

Толстуха теряет интерес к разговору. Она скармливает Отто сосиску. Внезапно девушка заливается смехом.

— Что тут смешного? — недоуменно спрашивает деловой человек.

— Не лезь в бутылку, Джок, — говорит девушка. — Это была шутка. — И обращаясь к бармену: — Выключите же телевизор.

Тишина действует на Джока, как издевательство. Он ворчит себе под нос и осушает бокал мартини одним махом.

— Пойдем обедать?

Девушка спрыгивает с табурета. Она бросает мне взгляд, который я заслужил, — ведь я выдал ради нее две плоские остроты. В спешке больше ничего не успел. Мне пришлось держаться на низком уровне — от того, кто появляется на людях с Джоком, нельзя ожидать высокого полета. Зато походка у нее, как у манекенщицы. Вероятно, она и есть манекенщица. Я смотрю ей вслед и млею. Я радуюсь ей, всему, что она обещает и наверняка не сможет дать и за что я не несу никакой ответственности. Она принадлежит Джо-ку. Ему в ней и разочаровываться; а я сижу здесь и могу себе позволить верить в то, что этот влекущий соблазн, созданный природой, действительно идеал. Это я обладаю ей, а Джок пусть мучается. Уже сейчас его спина выражает легкую обиду.

— До свиданья, сударь, — выдает в совершенстве владеющая собой толстуха, когда он проходит мимо нее, — и большое спасибо за вашу любезность.

Джок вздрагивает, потом пожимает плечами и, покачивая головой, выходит из двери в желтый поток солнечного света.

— А теперь, — заявляет толстуха бармену, — включите, пожалуйста, опять последние известия.

Бармен ко многому привык, несмотря на это он на миг застывает от изумления.

— Мне хочется услышать бейсбольные новости, — добавляет толстуха.

Бармен сияет. Здесь он чувствует себя в своей сфере.

— Вы за «Джайантс» или за «Доджерс»? — спрашивает он.

— А кто это?

У бармена отваливается нижняя челюсть.

— Вы этого не знаете? Но ведь вы сказали, что интересуетесь бейсболом?

— Нисколько. Просто хочу послушать результаты.

— Но…

Бармен сдается.

— Это меня всегда успокаивает, — говорит толстуха.

Бармен отчаянно крутит тумблер. Толстуха и его доконала. Двух здоровых, разумных мужчин всего за несколько минут! Но спортивные известия уже кончились. Танцевальная группа плоскостопых цирцей тяжело носится по терпеливому экрану. Бармен выключает музыку. Конечно, это был Бах. Беззвучно продолжается зрелище — абсурдное подобие абсурдных фрагментов бытия.

Два дня спустя она опять приходит. Не с Джоком — на этот раз с неким щеголем с Седьмой авеню, темнокожим существом, которое ходит уже на двух конечностях, но разговаривает еще с помощью четырех. Такой же, как Джок, победительный экземпляр, чудом спасшийся от лап смерти и выброшенный приливом на незнакомый остров с одной-единственной мыслью: здесь нечего рассиживаться, надо немедля окунаться в дела. Даже тот факт, что рядом с такими постоянно исчезают люди, еще вчера переваривавшие их ужин, их почти не волнует. Знали бы они, что людей этих схватило гестапо или ГПУ, у них затряслись бы колени и дрогнули перед глазами ряды цифр, но поскольку это всего лишь смерть, они спокойно расположились здесь, словно стадо морских львов, меж которых расхаживают охотники с дубинками в руках. Они немного пугаются, когда удар достается кому-то совсем рядом, но тут же опять бодро принимаются за предательство, выкручивание рук, смертоубийство и злобные требования христианской любви к ближнему со стороны конкурентов.

Оптовик так вещает о своих деяниях, словно он — Ганнибал готового платья. Он ничего не пьет, зато наливает своей чудозадой спутнице три рюмки мартини кряду. И при этом сообщает, что многие годы запросто опрокидывал за воротник бутылку виски — пока доктор не взъелся. Жест, каким он берет в руку бокал, показывает, что он понятия не имеет, что такое виски. А ведь рюмку спиртного поднимают не так, как стакан с газированной минералкой. И виски — иначе, чем вино. Все равно виски — питье для дилетантов. В хороший шнапс не добавляют воду.

Оптовика зовут Джо. По нему видно, что лет через двадцать-тридцать он загнется от гипертонии или склероза — к примеру,

расстроившись из-за какой-нибудь баснословно дешевой распродажи весенних платьев или купальных костюмов конкурентами, — на двадцать лет раньше, чем надо, зато он проживет совершенно ничтожную, но бурную жизнь, торгуя готовым платьем, и сможет сказать: Джо Данцигер всю жизнь прожил с высоко поднятой головой. А почему, он и сам не знает. Он будет точно так же жульничать, как и все остальные, следующие странному западному комплексу — накапливать денежный капитал и отдавать этой цели каждый невозвратимый день их жизненного капитала.

Девушку зовут Глория. Джо назвал ее так не меньше двадцати раз, пока пил свой томатный сок. А мне жаль — безымянную, ее можно было называть всеми именами, а теперь ее чары не так сильны. Зад Глории уже больше не неизвестный зад неизвестной женщины из неизвестных грез; теперь он чувствует себя как дома в этих четырех стенах, его кто-то зачал, у него есть мать, профессия, он уже не безымянный зов природы, не пена из хаоса, которой безумный кондитер придал форму, подбросив вверх и оживив высшим законом всех законов: красотой.

Глория лишь кивает мне по пути к двери. Джо ретиво следует за ней, бурно жестикулируя. Солнечный свет с улицы обрамляет его голову с оттопыренными ушами, словно мерцающими желтым пламенем, — и на какой-то миг я ощущаю сильный удар под ребра. Я вижу желтое пламя крематория, и на железных носилках лежит мертвое тело Менделя Блэя; оно внезапно приподнимается, уши пылают, а железная дверца печи хлопает.

— Ничего, привыкнешь, — сказал капо крематория. — Это всё от жары. У них у всех так. Но это еще пустяки по сравнению с плясками в газовой камере. Здесь-то они уже мертвые. А вот те…

Дверь захлопывается за Джо. Я и не заметил, что бармен опять включил телевизор. Но без звука; он знает, что я люблю тишину. На экране — призрак улыбающегося президента страны ловит рыбу, стоя в высоких резиновых сапогах по колено в воде.

— That guy![28] — говорит бармен. — Хотел бы я иметь половину его отпуска.

Тишина! Было время, когда я ее терпеть не мог. Я тогда обменял кое-какие шмотки, выданные мне при освобождении из лагеря, на маленький радиоприемник. Он гремел день и ночь, даже всю ночь напролет. В ту пору я не мог проспать несколько часов кряду, проваливался в сон, словно в пропасть, но потом вдруг ощущал, что падаю, и вскакивал с диким воплем. Не понимал, где нахожусь, чувствовал только, как страх стекал по мне, словно пот, и задыхался; все это было похоже на смерть. Я несколько раз оказывался на волосок от смерти, но то было в

лагере, и умирал я реальной смертью, а не этой, воображаемой. Я считал идиотством это еженощное многократное беспричинное умирание, но ничего не мог поделать — каждый раз повторялось внезапное падение и вскакивание. Конечно, мне было легче, если я оставлял свет, но все же какое-то время я не мог сообразить, что к чему, й это время казалось мне бесконечным. На практике я познакомился с относительностью времени в лагере. Когда два эсэсовца держали меня под водой, для них это длилось полторы минуты, но не для меня. Есть разница — провисеть час с вывихнутыми руками или посидеть часок на солнышке. Время растянуть легче, чем золото; я слышал, что кусочек золота среднего размера можно истончить молотком до такой степени, что его хватит на покрытие для газовых камер в Бельзене. Какое-то время я пытался спать днем, однако и это не помогало. Дневной сон скорее обострял контрасты и делал их еще непонятнее, и вместо смутного страха возникал явный ужас.

Радио помогало до двух часов ночи. Потом радиостанции отключались. Я спал до двух, затем вставал и отправлялся гулять. Всегда находилось еще несколько освещенных окон, перед которыми я мог стоять, а также бары, позднее — американские клубы — там всегда были свет, шум и смех, который тогда казался мне таким же чуждым и неприличным, как толчея в борделе. Нет, еще неприличнее. Так длилось больше года, пока я не понял, что радио мне больше не нужно. То, что я спал лишь часть ночи, было не очень важно. Три с лишним года жизни я спал только днем.

Два дня Глория не приходила. На третий появилась в обществе мужчины с лысиной, обрамленной венчиком длинных волос, руки у него тоже были слишком длинные. Когда она уходила, я неодобрительно покачал головой. Она оторопела и бросила на меня высокомерный взгляд. Я сразу перестал для нее существовать и вынужден был признаться, что она права. Если мужчина появляется на людях с женщиной на голову выше себя, а сам похож на конского барышника, это еще не делает его смешным.

Я допил свой бокал. Предзакатный ветер был еще далеко, а холодный так и так появляется лишь ночью. И я решил отправиться домой. Полдень набросился на меня своим широким белесым торсом, словно эсэсовец. Свет ослепил. Даже за такой долгий срок глаза мои еще не привыкли к нему. Я закрыл их, и шум улицы навалился на веки, сквозь которые солнце казалось словно затянутым красной завесой. Я был похож на крота или сову, а дневные твари, по-видимому, посмеивались надо мной. На дворе стояло дикое пекло — влажное и жаркое лето Нью-Йорка,

выжимающее пот из пор, как будто давление внутри человеческого тела на одну атмосферу больше внешнего.

Медленно брел я мимо раскаленных зданий. Асфальт плавился: казалось, что ты шагаешь по илу. Вода стекала по витринам цветочных лавок, будто они были покрыты ледяным узором. За их стеклами стояли равнодушные и безучастные изысканные шлюхи: гладиолусы и розы в букетах, словно сделанные из цветного воска. Они стоят безучастно, как человек, который не знает, что такое страдание, которому страдание противопоказано. Только не говорите мне о жалости! Только такой безудержный эгоизм и помогает подкупать судьбу, покуда она не потребует рисковать жизнью ради другого. Только не говорите мне о легковесном сочувствии! Я видел другое! В течение трех лет один человек каждый день рисковал жизнью ради меня. Пока ее не утратил. Он погиб из-за меня. При этом он никогда меня не любил. Я даже не особенно ему нравился. И родственником он мне не доводился Его звали Поль Ренн, он был директором музея в Бельгии. Три года он прятал меня в маленьком закутке музейного подвала. Три года он каждый день приносил мне еду. И выносил мои экскременты в жестяной банке. Удивительно, но именно это производило на меня самое сильное впечатление. Мне было очень стыдно. И я долгое время мучился от жажды, потому что старался меньше пить. Мне казалось наглостью вынуждать Поля Ренна выносить за мной еще и мочу. Без кала не обойтись, ведь есть-то приходится. Но просто пить воду, потому что мучает жажда, а потом отливать в жестяную банку, представлялось мне роскошью, которой мне больше не полагалось. Позже, когда мы с ним осмелели и мне разрешалось ночью покидать мой закуток, я мог уже сам выносить все это наружу. Я и поныне не знаю, не из-за этого ли донесли на Поля Ренна, и немцы схватили нас обоих.

Я купил в писчебумажном магазине такую книжку, какие дарят друг другу девочки-подростки. Это альбом-дневник с 365 страницами. Каждая страница разделена на пять частей и пронумерована по числу дней. То есть это был дневник на пять лет Я его купил — мне показалось странным, что кто-то может быть уверен в том, будто ему удастся в течение пяти лет делать записи в этом дневнике. Какая самоуверенность! Какая вера в будущее! Какая гармония с жизнью! Что это за страна, где такое считается само собой разумеющимся, подумал я и купил этот альбом из-за нахлынувшей на меня волны радости, что я вновь обрел столь благоприятную почву под ногами. В Европе уже дневники на один год сочли бы самонадеянностью в духе Парцифаля.

Потом я долго сидел перед пустыми страницами и часто переворачивал и разглядывал их.

(Около 1965)

Статьи, очерки, эссе

А если ты вдруг очнешься от суеты

А когда ты вдруг очнешься от суеты, заботы о хлебе насущном и погони за наслаждениями, потому что откуда-то до тебя дотянулось нечто удивительное, редкостное, невыразимое, бессловесное; потому что темнота прокралась тебе в сердце тысячей вопросов и сомнений, лишила тебя уверенности, поколебала покой и привычный уклад твоей жизни; если мир, красочный мир, внезапно изменился, превратившись в бледное ухмыляющееся привидение; если нравственные устои зашатались от внезапно возникших вопросов, затрагивающих смысл и цель бытия, и конечные истины; если ветер одиночества завывает в твоих комнатах, а разруха и хаос обрушиваются на голову, — тогда, наверное, ты соберешь изо всех уголков памяти обрывки знаний и начнешь сравнивать и сортировать, склеивать и собирать свой мир…

В кристаллах и камнях начался темный процесс, он расщеплял их, отталкивал, сталкивал, упорядочивал и формировал, заставлял их развиваться, продолжался в листве и цветах, вспыхивал в морских огнях, мириадах инфузорий, в порхании бабочек над солнечным лугом, врывался в заботливо свитые гнезда птиц на цветущих склонах; затихал и начинался снова, достигая совершенства в создающем целые государства интеллекте муравьев и пчел, но и здесь не заканчивался, проходя все новые и новые витки, породив отряд позвоночных животных, и в последнем столкновении молекул завершился человеком, разумом, самопознанием, личностью.

В тебе вибрирует наследственность тысячелетий; в тебе — камни и звезды, пыль комет и ветер, шелест деревьев и шум прибоя, жужжание пчел и пестрота бабочек, девственность леса и торжество разума; в тебе вибрирует космос.

Но ты больше *не являешься* всем этим; просто все это живет в тебе. Зеленый клеточный сок растений и твоя красная кровь наполняют сосуды Вселенной, соединяя всё родственными узами, но ты выделяешься среди всего живого сознанием собственного «Я», оно отделяет тебя от всего сущего, словно стена. Ты больше не принадлежишь к растениям и животным, ты больше не можешь соединиться с ними, ты — одинок… Вероятно, ты — единственное существо, которое может раздумывать о себе самом и осознавать собственное «Я», которое может сказать: «я», «я есть»… Но с этого и начинается твоя трагедия и мировая грусть. Потому что только через это «Я» ты можешь видеть всё остальное; ты уже не видишь мира, только проекцию твоего «Я»; самое

большее, на что ты способен, — относительное самопознание, но никогда ты не сможешь познать Абсолютную Истину. И все-таки ты, глупец, никогда не оставишь попытки найти ее.

Ты можешь вместе с великим регистратором Кантом навести порядок в каждом отсеке своего сознания и снабдить его этикеткой; ты можешь, вооружившись сетью слов и понятий, поставить ловушку непостижимому и безымянному, а потом, передумав, подняться на ледяные вершины вечных вопросов; ты можешь возвыситься до иллюзорной самообъективизации, до последнего уровня познания, который дает высокое переживание мудрых, переживание «Я» в сфере чистого разума; ты можешь пройти часть пути с Конфуцием, другую — с Лао-цзы[29], третью — с Гаутамой2[30]; но в конце концов ты обнаружишь, что остался на месте, потому что ты всегда познаешь только *свой* мир и никогда *мир* вообще. И всегда перед тобой будут маячить великие нерешенные загадки; всегда будет неподвижно смотреть на тебя каменное лицо сфинкса; потому что твой мир заключен в твоем мозгу и ты не можешь сделать даже самого маленького шага за его пределы.

Там, снаружи, — хаос… И от твоих размышлений тебя в конце концов разбудит шорох и прикосновение паучьих лапок: изо всех углов к тебе будет ползти безумие… И ты можешь кричать и драться, таращить глаза л неистовствовать, упрямиться и молчать — все равно там, снаружи, хаос, тайна и ночь.

Но все так же, светясь и пенясь, накатывает волна и размывает и без того рассыпающиеся стены. Все раскачивается и изгибается, все обещает и призывает, все манит — бедра, груди и ноги, и разве волнение в крови уже не перевешивает разум, разве уже не нависает над миром гигантский призрак фаллоса, разве природа издевательски не влечет бледного мечтателя в ловушки женских прелестей, не раздирает на части его жалкий интеллект, не отбрасывает его назад в мрачную бездну инстинктов, затем снова вырывая оттуда и ставя перед вопросом: в чем разгадка тайны мироздания — в дальнейшем самопознании или в порочной сладости женского лона?..

(1920–1921)

Густав Зак

5 декабря 1916 года при наступлении на Бухарест пал от пули, пробившей грудь, лейтенант запаса Густав Зак[31]. С ним сошла в могилу гордая надежда немецкой литературы. Не просто надежда, но и ее осуществление. Собрание сочинений в двух томах, которое выходит сейчас в издательстве Г. Фишера в Берлине, дает полное представление о трудах этого гениального человека.

Три романа: «Беспутный студент», «Безымянный» и фрагмент «Паралич» — составляют основное ядро наследия автора. Они внутренне связаны и изображают муки познания, этого якобы преимущественного права рода человеческого, а тем самым и трагедию человека вообще. Каждая строка этих романов пронизана мукой мысли, той неизбывной мукой, которая началась, когда человек впервые пробудился от бессознательного, почти животного, существования и неосознанно задался вопросом: «Что это означает — я существую? Что такое жизнь?» Зак исследовал эту проблему, насколько было возможно, он штурмовал ее, не признавая компромиссных решений, и закончил тем, чем и должен был закончить, — параличом, безумием. Вечный вопрос о смысле жизни заканчивается безумием. Двойственность этого вечного вопроса порождает неодолимое желание найти единственный ответ. Таким ответом может быть погружение в начальное состояние, в бессознательность животного, возвращение в пурпурно-сумеречное царство инстинктов, к деревьям, облакам и животным. Это особенно ясно выражено в «Безымянном», где описывается стремление к вечному опьянению, разложению и готовности отдаться темным, непостижимым инстинктам, которые свет познания способен выхватить из вечно далекой загадки Абсолюта. Другим ответом может быть стремление вверх, к разуму, где единственное счастье — не цель и даже не стремление к ней (поскольку в конечном счете всякое познание бесцельно), а только сознание, что ты достиг самых далеких морей, покорил самые неприступные вершины, охватил взором самые безграничные просторы. Но даже если конечный пункт был достигнут, все кончится развалом, катастрофой. Такой путь мы прослеживаем в «Параличе».

Зак переживал эту внутреннюю борьбу в условиях ужасающей нужды. Он творил непризнанный и голодный. Наряду с романами он писал совершенные по форме сонеты, которые, несмотря на лаконичность, полны переживаниями, и короткие новеллы, мерцающие, словно темное «божоле» в хрустальных бокалах

самой изысканной и утонченной формы.

Зак был вулканом. Извержением. Самой землей. Его произведения отличает беспредельная поэтическая сила. Каждое слово глубоко прочувствовано. В каждом слове — кровь, сердце, сила, огонь, огромное душевное напряжение, стремление к прорыву на высший уровень бытия, ибо бытие и есть сам человек. Пейзажи так пластичны и так самостоятельны, что с трепетом понимаешь, насколько глубока связь этого человека с природой. Язык настолько выразителен, в нем столько бурления и шторма, что ему можно только безропотно покориться. В новеллах он сверкает как старая венецианская рапира, освещенная вечерними огнями, а в стихах извивается тончайшей филигранью. При этом он не отрицает великой линии, идущей от великого рода, потому что источник его всегда — человеческая первородность.

Зак изобразил в своих произведениях все, что только он мог показать, то есть самого себя. Выше этой вершины забраться уже невозможно. Путь, по которому он мог пойти дальше, вел из одиночества уже созданных произведений на дорогу, по которой идут многие: *все* художники. Но его единственная работа на этом пути, новелла «В сене», показывает, что большой талант уничтожает война.

Из произведений Зака при его жизни печатались лишь отдельные новеллы. Крупные труды отклонялись. В горле застревает ком, когда слышишь об этом. Голод, отказы, непризнанность, самобичевание, насмешки — неужели путь художника всегда будет таким?

(1920)

Геррит Энгельке

За три дня до заключения мира в английском лазарете умер от ранения в бедро Геррит Энгельке, самый сильный поэт, какого дал последнему десятилетию Ганновер, а возможно, и вся наша родина. Перед нами в маленьком томике, собранном другом автора Гансом Кнайпом и носящем название «Ритмы новой Европы», — его наследие (издательство Ойгена Дидериха, Йена). Листая этот томик, читая, удивляясь, читая дальше, поражаясь, сопереживая, увлекаясь и восхищаясь, раскачиваясь вместе с автором в ритме пульсирующей крови, фабрик, горизонтов, погружаясь в его мир, с глубокой болью осознаешь: безумие войны оборвало одну из наших величайших надежд!

Энгельке был маляром, художником, солдатом. Вышел из низов. Должен был сам завоевывать, сам исследовать каждый гран роста своего «Я» в глубину и ширину, познать ритм Вселенной, найти свое мироощущение; он должен был сам пробиваться сквозь нагромождение традиционного, сквозь путаницу привычного, сквозь символику предшественников и неподвижную фалангу слов, — к неповторимому переживанию своего «Я», которое, словно река в море, впадает в неизмеримые просторы космоса. Из каменоломни жизненных тайн его дрожащие от нарастающего экстаза руки выламывали глыбы темных, первородных чувств и под ударами молота мысли и творческой воли превращали их в слова-кубы и картины-здания, поражающие мощью, смелостью и первозданностью. Тобой овладевает стремление творить, с блеском, криком и звоном оно обрушивается на тебя ураганом, круговоротом вселенского «Я». Здесь нет печальной лирики прошлого, нет стремительности экзальтированного экспериментально-экспрессионистского стиха, здесь царит дух нашего времени, в этих стихах слышны свистки сирен, шум заводов, грохот трамваев, звуки прибывающих поездов; здесь присутствуют такие непоэтические вещи, как полицейский, фабрика, девочки, локомотив, гавань, доки, автомобили, небоскребы, казармы, увиденные с непосредственной гениальностью, и можно только удивляться и удивляться: неужели ничего не изменилось?.. Разве все эти вещи внезапно не приобрели мрачную отчужденную красоту, не обратились в мощный танцевальный ритм, который отовсюду обрушивается на нас с бессловесной угрозой, — ритм нашего времени? Вот что бурлит и пенится в этих стихах, признаниях, гимнах, сами названия которых уже о многом говорят: «Творчество», «Город», «Локомотив», «Фабрика», «Почтовая сумка», «Бетховен», «Бог

бушует», «Всемирное колесо», «Мировой дух», «Всеобщая родина», «Всемирная весна», «В потоке и свете», «Любовь во всех ее радужных красках», так что ты снова и снова, болезненно пораженный, замираешь перед тем, что уничтожило безумие войны. Чтобы не быть голословным, привожу одно из его стихотворений, взятое наугад:

НОВАЯ ГОРДОСТЬ ГРАЖДАНИНА ВСЕЛЕННОЙ

Сотни улиц, всюду люди: работяги,
Полицейский, девочки, бродяги.
Поливалки трут асфальт до исступленья.
Товарняк, трамваи, колымаги
Рассекают, грохоча, людей скопленья.
Сотен улиц, звонких улиц сеть,
Им меня не одолеть!
Ведь я — все равно в центре!
Тысячи рельсовых путей,
Тысячи флагов, мачты, век скоростей,
Тысячи лодок и кораблей плывут грациозно,
Тысячи фабричных дымов всех мастей
Клубятся вокруг, надвигаются грозно,
В этом чаду легко угореть,
Задохнуться, уснуть, сомлеть,
Только не мне. Я — все равно в центре!
Океанские волны исполнены стоном.
Ледники ползут по горным склонам,
Словно белые языки.
В джунглях ветры бегут по кронам,
Полюса от тропиков далеки,
Их дыханьем Африки не согреть.
Мир велик, а по мне — как клеть,
Но я — в центре!
Этот могучий шторм земного бытия,
Этот великий гимн-планета-я:
Я — полюс, я — экватор, я — подвал и кров,
Мне тесно, я расту, дыханье затая, —
Я — средоточие, я — средостение миров![32]

(1921)

Ханс Йегер [33]

Его тоже не пощадила судьба. Его жизнь — голод, тюрьма, нужда и презрение. Потому что он хотел правды и говорил ее: жестокую, беспощадную правду. Его произведения — крик из бездны. В них слышен голос человека, у которого все позади, который познал жизнь, для которого ложь человеческого существования стала мукой и он решил бросить ей вызов. Он стал крестоносцем правды, он защищал ее, какой бы ужасной она ни казалась. В своем первом крупном произведении «Из жизни богемы Христиании» он уличал общество во лжи, срывал с него покровы, как бы говоря: «Вот как вы лжете всю жизнь; вот какие вы жалкие; вот каково ваше общество; а вот ваши поэты, которые тоже лгут и тоже виновны! А вот, вот, вот — правда, холодная, голая правда!» Книга была конфискована, а Ханс Йегер приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Друзья уговорили его бежать в Париж. Здесь он голодал, бедствовал, мерз душой и телом, чтобы вернуться и умереть от неизлечимой болезни или жить с единственным, что еще у него оставалось, — с женщиной, которую он любил, любил безумно, болезненно. На борьбу за правду его судно вышло с сотней парусов, а домой вернулось со сломанными мачтами, разорванными парусами и тысячей пробоин. Буржуазное общество подвергло его остракизму. Его произведения не печатались. У него не было денег, чтобы купить самое необходимое. Бездомный, всеми покинутый, вернулся он во тьму вечной лжи. И тогда он понял: необходима опора, чтобы было где преклонить голову. Все свои разбитые мечты, всю потребность в счастье, всю тоску, всё, что разбилось в схватке с миром, он обратил в стремление к единственной цели — завоевать женщину. Ей он вручает все, что еще осталось от его неудавшейся жизни, она становится для него священным Граалем и последним избавлением, родиной и Богом — всем. Ее руки для него — суд Божий, ее губы — жизнь, только ею он живет, только из-за нее он продолжает жить в этом бессмысленном мире, полном мучений. И оказывается обманутым! Снова обманутым. Но свобода не гибнет в столкновении с ложью, она снова оживает, потому что искатель правды благодаря обману узнал правду о ней и о себе. И, умирая, он благодарит ее за обман, благодарит женщину, «единственного истинного, стоящего человека, который встретился ему на земном пути».

Это страстное произведение о женщине, этот дневник, полный беспощадной правды, эта печальная молитва, эта

потрясающая книга, полная слез и страдания, роман «Больная любовь» Ханса Йегера, вышел в издательстве Г. Кипенхойера в Потсдаме. Неумолимо жестоко и честно изображает он в этой книге день за днем два года своей жизни. Ему так важно само произведение и настолько не важен он сам, что он даже не потрудился выбрать другое имя для героя, а назвал его своим. Это не художественная литература в прямом смысле; это произведение не похоже на традиционный роман, что, вероятно, будут отмечать многие. Это — бормотание, трепет, крик, мука, рыдания, это — дрожащая, обнаженная человеческая душа, слабая и страдающая, маленькая и по-настоящему великая. Подлинная история человека, которая несомненно потрясет читателя. Кто еще перенес столько страданий, кто еще так любил, кто еще так беспощадно говорил правду о самом себе! Единственным желанием Йегера была публикация этого главного его труда, чтобы жизнь его не оказалась совершенно бесцельной, существование — совсем бессмысленным, борьба за правду — напрасной. Умирая, он писал: «Мысль о смерти стала моей подругой и утешительницей. Но никто не издаст моего романа, когда меня не станет. И это мучает меня сильнее, чем я могу выразить. Собственно говоря, это единственное желание, какое у меня есть: на исходе жалкой, неудавшейся жизни я хочу сказать всем: прощайте». Он не дожил до этого. Он умер одиноким, в ужасающей нужде. Как подстреленный олень, что уходит умирать в чащу. Нильс Гойер, из чьего предисловия я почерпнул некоторые сведения, называет произведения Йегера «криком распятого, который сам пригвоздил себя к кресту…»

Ханс Йегер отважился сказать всю правду. Это уничтожило его. Внешне. Но он еще найдет соратников. В будущем, которое для нас всегда надежда.

Издательство заслуживает благодарности за то, что оно дало произведениям этого человека увидеть свет. Это — поступок! Это тем более примечательно, что именно немецкое издательство прокладывает путь норвежцу. Потому что он — Человек! И поэтому — наш!

(1921)

Первый концерт музыкального общества

1. Август Рейс: «Летняя идиллия». Мне хотелось бы знать, что общего у этой композиции с напечатанными под названием искаженными стихами Мёрике «Я вступаю в дружелюбный городок». Если бы Мёрике писал так, мы давно уже забыли бы этого тихого глубокого лирика. Это плоская консерваторская работа, в первой части скучная и педантичная, во второй немного лучше и подвижнее, но все равно — это всего лишь легкая салонная кантилена, взявшая у народной музыки только формальные признаки, но не смысл.

2. Ганс Кёсслер: Концерт-Пассакалья для скрипки с оркестром. Произведение, созданное с учетом специфического индивидуального звучания скрипки, вокруг партии которой и строится все сочинение. Оркестр большей частью только сопровождает скрипку, время от времени соперничает с ней, иногда главенствует, но в основном просто создает музыкальный фон. Сочинение обладает настроением и определенной линией, которая в некоторых местах достигает особой гармонии и ритма. Солировал Макс Менге, который благодаря хорошей технике подчеркнул певучесть скрипки и продемонстрировал масштабность трактовки.

3. Густав Малер: Четвертая симфония. Потрясающая человечность трогала до глубины души. Может ли быть ирония серьезнее и печальнее, чем здесь? В муках познания, этого якобы преимущественного права человека, потрясенный великой загадкой бытия, раздираемый необъяснимостью жизни, преследуемый темнотой одиночества, разбитый тупым «нет», которое издевательски смеется в ответ на все вопросы, когда познание натыкается на свои вечные границы; подхлестываемый поисками нераздельной связи с природой и бархатно-пурпурного счастья инстинкта; подобно деревьям и животным, оторванным от своих корней; воздевающий руки в вечной мольбе, — он, человек, Густав Малер, спустился с вершин одиночества и наблюдает со странной улыбкой, как люди едят, пьют, спят, радуются; смотрит, как они плачут и смеются над своими мелкими бедами и радостями, словно и нет никакой загадки и безысходно-печальных вопросов. И этой странной улыбкой пронизана вся Четвертая симфония, в центре которой образ простого человека, бюргера, окруженный туманной дымкой печальной и серьезной авторской иронии. (Ирония не означает издевки!) Но уже в адажио мы слышим его внутренние монологи, голос его души, и вот он, просветленный страданием и болью, находит в неземных

аккордах последнее счастье, собеседника, вселенную. А в крещендо после тихой жалобы скрипок он словно воздевает руки к звездам, и восхождение к самому себе знаменует музыка глубокого звучания, полная страдания и гармонии! А этот добрый человек в заключительной части симфонии словно бы улыбается нам, покоряя наши сердца доброй печалью, как это умеют, кажется, только евреи, народ не знающий покоя, живущий в страдании (не кидайтесь на меня, фашисты!), и дарит удивительно умиротворяющее соло сопрано. Густав Малер, раздвоенный, ты — символ нашего времени! Партию сопрано исполняла Елена Маас-Пеш, ее полнозвучный вокал был в совершенной гармонии с общим замыслом. На низких нотах ее голос приобретал легкий металлический оттенок и становился резковатым, но все-таки звучал гармонично и красиво. Особой похвалы заслуживал на этом вечере Ф. Макс Антон, именно он сделал из малеровской симфонии событие. Он сумел поставить акцент на человечности, сблизить слушателя с автором, так что можно предположить родство душ композитора и исполнителя. Останавливаться на мелочах — лишнее. Здесь было столько понимания, чувства и самоотдачи, что можно от души порадоваться: музыкальный мир Оснабрюка имеет человека, который очень серьезно относится к искусству и обладает большим мастерством.

(1921)

Имярек

(Гуго фон Гофмансталь «Пьеса о смерти богатого человека»)

Пусть даже обязанности, быт, дела и повседневные заботы со всех сторон окружают и словно стеной огораживают жизнь обычного человека, откуда-то все-таки мрачно веет великая загадка, страшная тайна жизни — смерть, полная предчувствий, всё связующая и освобождающая в высоком ужасе своих пределов. Серым и померкшим предстает перед нами многое, что прежде сияло, словно золото. А то, что еле заметно брезжило, вырастает и, сияя, заполняет жизнь. Гофмансталь выразил это общечеловеческое переживание в форме средневековой католической мистерии. Но только тот, кто прикипел душой к подобным вещам, может принять форму за основное содержание, как это, очевидно, делает профессор Гамель, которому не хватает аллегорической фигуры Раскаяния. Это абсолютно неправильно и совершенно извращает то, что хотел сказать Гофмансталь. Если бы он хотел создать христианскую мистерию, то без раскаяния было бы не обойтись, так как оно — основа всего церковного учения. Но он-то хотел гораздо большего: он хотел говорить о величайшей тайне человека, о жизни и смерти и их загадочной роковой взаимосвязи. Оправдание жизни как таковой происходит не благодаря акту раскаяния, а благодаря тому, что внешние явления пробиваются к сущностным, а оттуда — через веру — к согласию с жизнью. Следует ли принять это мучительное существование, полное беспокойства и незнания, откуда и куда мы идем, или, подобно Шопенгауэру, отрицать его? Гофмансталь говорит: да, следует, несмотря на всю ничтожность, которую он так убедительно изображает, да, следует — в последнем озарении, в момент перехода индивидуума в нирвану, из-за осознания бытия как такового, которое выражается в словах: «Верую (в жизнь)» и в этих словах находит свое оправдание.

Постановка Карла Ульрихса была превосходной и в части сценографии и освещения, и в части вневременной, монументальной режиссуры. Она вместе со слаженной ансамблевой игрой придает пьесе особую убедительность. Этому в большой степени способствовал Альфред Крухен с его превосходно продуманной, пронзительной трактовкой роли Имярека, в которую он вложил столько самобытности и чувства, что не было ни одной мертвой реплики, наоборот — страстность соседствовала здесь с чувством меры, что соответствовало форме

и являло собой настоящее достижение. Анни Шэфер придала чудной мелодикой своего выразительного голоса незначительной в сущности роли Деяний Имярека такую религиозную глубину, что благодаря этому даже форма пьесы, сама по себе вторичная, вышла на первый план и стала истиной. Любовница в исполнении Анни Керстен: актриса по-новому трактовала свою роль, и привычные эротические нюансы сублимировались здесь в девическое обаяние; удачный ход, он позволил подчеркнуть место действия — средневековую Германию. Инес Фёлькер создала два прекрасных образа: Жены Должника и Веры, играя в первой роли скорбную взволнованность, во второй — холодную торжественность. Такая же холодность и расчетливость в расстановке акцентов отмечала работу Ганса Райнгардта в роли Смерти, в то время как Вальтер Гайер-Роден прекрасно, в соответствии со средневековыми представлениями, исполнил роль Дьявола, в его трактовке чувствовалось даже влияние Мефистофеля. Меньше всего порадовал Вольдемар Хорст в роли Маммона. Разве превосходство и триумф Маммона над Имяреком нужно выражать посредством повышения голоса? Гофмансталь сам говорил мне однажды, что он представляет себе Маммона высокомерным, ироничным и саркастически-насмешливым. Жозефина Хаке в роли Матери Имярека пыталась сыграть слишком многое. В ее трактовке роль кажется слишком расплывчатой и чувствительной и — поскольку ни одно слово не звучит естественно — мучительно надоедает. Нужно придерживаться основной линии!

(1921)

«Фауст»

Трагедия Гёте, городской театр

Каждое слово — золото. Каждая фраза — кристалл. Все в целом — религия. Не пьеса. Действующие лица: *человек.* Центральная фигура только одна: Фауст-Мефистофель. Они едины — две стороны одной медали, одного и того же человека: Гете. *Человека.* Истинная пружина действий скрыта за видимыми событиями. Фаустовское, мечтательное начало, вечное стремление к познанию и истине. Откуда? Куда? Что есть жизнь? Кардинальный вопрос всякой философии. Вечные вопросы, попытка решить их всегда заканчиваются скепсисом или религиозным самообманом. И как результат этой неразрешимости — настойчивое стремление исследовать жизнь во всех ее проявлениях, чтобы — кто знает — однажды бросить якорь в тихой гавани.

То с неба лучших звезд желает он,
То на земле всех высших наслаждений,
И в нем ничто, — ни близкое, ни даль —
Не может утолить грызущую печаль.

Вечный поиск пути к Богу, к космосу, к началу, к истине, к себе — неважно, как это назвать… Путь остается. Путь, который ни одному человеку не суждено пройти до конца. Вопрос без ответа. Борьба без победы. Вечная борьба. По одну сторону — человек, по другую — жизнь, недостижимый Абсолют. Так боролся Иаков: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня!» Но благословение запаздывает. Борьба остается. Конец: разочарование.

мир другой для нас дороги нет.
Слепец, кто гордо носится с мечтами…

Фауст строит плотины в море. Поиски знания и истины — внутреннее действие трагедии, путеводная нить в пестрой ткани внешнего действия. Погреб Ауэрбаха, сцена с Гретхен, Вальпургиева ночь — эпизоды, проявленное действие, поверхностное действие — не есть действие…

Фауст — это религия, культ, символ. Чтобы сыграть Фауста, не достаточно актерской игры и мастерства; нужно глубоко, по-настоящему пережить это, нужно самому быть Фаустом.

Можно рассматривать «Фауста» и как театральную пьесу. А именно — как историю Гретхен. Трогательную историю девушки, которую соблазнили и покинули. Это зависит от трактовки роли Фауста. Правда, Гете вряд ли хотел, чтобы играли так.

Режиссеру и труппе, которая привыкла неделями играть «Насильно на постой» и тому подобное, нелегко вдруг настроиться на «Фауста». Поэтому я не останавливаюсь на мелких недостатках, как, например, гротескные облака с разноцветными крылатыми ангелами, Архангел Михаил, у которого в дополнение к одеянию древнего германца был кокетливый серебряный браслет (вообще, необходимы ли здесь ангелы?), несколько сальный голос Господа, по-детски наивные народные сцены во время пасхальных гуляний. Все это, строго говоря, не имеет значения, — но: у нас играли театральную пьесу. А именно историю Гретхен.

Радовала роль Мефистофеля в исполнении Ойгена Линденау. Роль была продумана, прожита и потому получилась. В некоторых местах он был патетичен. Мефистофель — князь тьмы. И поэтому образ его должен быть наполнен скепсисом, то есть в нем должно быть достаточно издевки, иронии, даже шутовства, но никак не патетичности. Скепсис отрицателен. Патетика положительна.

Иоганна Мунд в роли Гретхен. Хороша. Естественна. В сцене с Валентином — превосходна. Ведь ее роль эпизодическая и не имеет большого значения в «Фаусте».

На Фаусте все держится! Почему бы в таком случае не пригласить актера из другого театра? Фауст должен быть великим потрясением. Культом. Если ему это не удается, получается — профанация.

«Когда в вас чувства нет, — все труд бесцельный…»

(1921)

Разговоры во время «Фауста»

Театр. Звонок. Зрители толпятся в дверях лож. Пока я ищу свое место, слышу, как немного полноватая дама позади меня спрашивает:

— Музыка Вайнгартнера? А я думала, это Гуно…

Тушат свет. Пролог на небесах. Кажется, за мной сидит чета новобрачных откуда-то из деревни. Он шепчет довольно громко:

— О господи, а это не Железный Карл?

На что она отвечает:

— Да нет, это же древние германцы. — Оба имеют в виду Архангела Михаила, на котором я как раз в этот момент замечаю кокетливый серебряный браслет.

Старый господин, очевидно, большой поклонник искусства, поворачивается к ним:

— Тссс!

— Чего ему надо? — спрашивает Йохен сварливо.

— Сиди тихо, — отвечает молодая, но, когда появляется Мефистофель, сама не может удержаться от восклицания: — Дьявол!

— В красном пламени, — говорит задумчиво Йохен.

Старый театрал снова шипит:

— Шшшш!

— Осел, — бурчит Йохен.

Спустя какое-то время позади нас появляется, шурша платьем, величественная дама, естественно, через полчаса после начала; она вынуждает всех встать и пробирается к своему месту, которое, тоже естественно, оказывается в середине ряда. Йохен не встает, а только немного отодвигает колени в сторону. В следующее мгновение он со страшным криком вскакивает, потому что дама, вероятно, отдавила ему ногу. Сиденье кресла использует этот момент, чтобы коварно захлопнуться у него за спиной, так что когда он, скрипя зубами, бледный от боли, пытается сесть, то оказывается на полу. И подумайте только: дама, которой Йохен обязан этим артистическим падением, та самая дама, которая наступила ему на ногу, имеет наглость возмущенно прошептать ему:

— Тсс!

— Глупая гусыня, — бурчит в ярости Йохен.

Пролог окончен.

Новобрачные оживленно обсуждают последние состязания по стрельбе. Дама рядом со мной беседует с подругой.

— Вы говорите, семьдесят пфеннигов? А я еще вчера

заплатила марку десять.

— Да, семьдесят пфеннигов, если вы сами заберете. Иначе — восемьдесят. Я запасла шестьдесят штук. Так на зиму будет хоть немного яиц.

Первый акт. Фауст в кабинете.

Минхен (так зовут новобрачную), взволнованная фейерверком при появлении Духа Земли, рассказывает историю про привидения. Когда Фауст поднимает хрустальную чашу с ядом, Йохен задушевно произносит:

— Твое здоровье, если это коньяк.

Пожилой господин, очень злобно:

— Шшш!

Смена декораций.

Передо мной разговаривают две дамы.

— Ох уж эта фрау Биммерманн! Вы только посмотрите, сколько на ней бриллиантов. Это же безвкусно!

— А как утянулась-то! А жир со всех сторон выпирает.

Рядом сидят два господина.

— Большой шлем без двух у ходящего первым?

— Выиграл. С шестью козырями и тузом червей.

Справа от меня:

— Недавно он даже привез полкило масла.

— Вы хотите сказать: маргарина.

— Нет, масла, сливочного масла, хорошего, жирного крестьянского масла.

— Говорят, в окрестностях его нет уже три недели.

Погреб Ауэрбаха.

Оба мужчины передо мной с удовольствием и очень бодро отбивают такт.

— Настоящая немецкая атмосфера, — говорит один.

Йохен замечает:

— Гуляют. Сейчас подерутся.

Минхен во время песни про блоху истерически хохочет. Старый господин:

— Тсс!

Снова дают свет.

Прерванные разговоры продолжаются.

— А вы не можете дать мне адрес этого крестьянина?

— Ох, он обслуживает только старых клиентов.

— Но если ему хорошо заплатят…

— Ну вот, я хожу трефовым валетом, потом пиковым, бью даму королем червей и вытаскиваю туза…

— Я точно видела, Йохен, что на ярмарке ты был с Триной.

— Это неправда…

— Правда…

— Неправда…

— Правда.

— Неправда, — и так далее.

— А ее муж, как он усох. Стал совсем хилым и маленьким. Как ребенок.

— А она все толстеет. Все-таки видно, откуда они.

Кухня ведьмы.

Йохен и Минхен развлекаются вовсю.

— Как раньше в Мюнстере, в зоологическом саду, — смеется Минхен в восторге.

— А ведьма выглядит в точности как мамаша Бюшеля, — зло хохочет Йохен.

Старый господин шипит:

— Шшш!

— Верблюд, — говорит Йохен с явным возмущением.

Когда Фауст в первый раз заговариваете Гретхен, Минхен, удовлетворенная триумфом женщины, говорит:

— Не вышло…

Но Йохен, чувствуя, что в его лице оскорбили весь род мужской, возражает:

— Глупая баба, — и делает поистине гениальное философское замечание: — Поначалу они все так. Но это только притворство.

— И что только они о себе воображают! Еще шесть лет назад она была всего лишь простой швеей. А он — помощником продавца. Этот спекулянт, этот индеец с плоскостопием!

— Я не понимаю, почему вы не хотите дать адрес этого крестьянина.

— Господи, да ведь каждый бережет его для себя.

— Это странно.

Закончилась сцена, когда Гретхен находит украшения.

— Йохен, ты ведь хотел подарить мне сережки, что лежат в витрине у Шнайдера…

Йохен, очевидно, ничего не слышит, он внимательно изучает программку.

— Йохен! — Она с силой толкает, его в бок.

— Слышишь, — читает он, делая вид, что ничего не слышал. — Мемфис… Мефи… сто…

— Ах ты! — резко обрывает его Минхен. — Двести!

Потрясающий монолог Гретхен перед статуей Mater dolorosa.

Я смотрел «Фауста» в балаганах и на первоклассных сценах. И всегда эти слова одинаково потрясали меня. А Иоганна Мунд играет так искренне, с такой болью, что продолжаешь сидеть как

завороженный даже после того, как занавес опустился.

— Теперь ему, наверное, придется платить алименты, — говорит Йохен убежденно, как человек, знающий жизнь.

— Бог мой, может, они еще поженятся.

— Никогда! — возражает Йохен уверенно.

— Но тогда закажите мне хотя бы килограмм. Понимаете, я хотела бы испечь пирог на день рождения. Килограмма было бы достаточно…

— Потом я играю шлем с двумя… не набираю очков…

— Ну?

— Дружище, мне не повезло. Я выиграл всего шестьдесят монет.

После очень сильной сцены в соборе, когда Гретхен падает в обморок, зрители начинают штурмовать гардероб. Только когда гардеробщицы объясняют штурмующим, что еще не конец, что будет что-то еще, те снова успокаиваются.

Сцена в тюрьме. Конец. Выходя из зала, еще под впечатлением от трагедии, я слышу:

— И почему она была такой глупой?

— Если он ее все-таки соблазнил…

— Если бы вы сразу вытянули козырного туза, а потом сыграли бы маленькой червовой, то… Одну пику и…

— Вы делаете тесто на дрожжах или с пекарским порошком?

— Смотря какое тесто… Если…

— Посмотрите только на эти надутые рожи. Дочка-то настоящая уродина. Боже, моя дочь намного красивее.

— А видите вон там женщину…

Врать не буду, я видел там и несколько внимательных глаз. Несколько душ, которые очистились от мусора повседневности под влиянием поэзии Гете. Там был белокурый юноша; его глаза блестели, он вышел как пьяный. Не сказав ни слова. Да, да.

(1921)

Зарисовки с ярмарки

I

И вы уже знаете человека, который играет на губной гармошке? Когда он покачивает головой и отводит в сторону правую ногу, все радостно пугаются, потому что вдруг начинает звучать целый оркестр. В руках он держит губную гармошку, локтями бьет в литавры, прикрепленные на спине, ступней (спасибо солдатской выучке!) ударяет по тарелкам, на голове у него шлем кирасира с конским хвостом и трезвонящим металлофоном; и при всем этом у него такое серьезное выражение лица, словно он Наполеон после битвы под Лейпцигом или тот самый кожевник, у которого уплыли кожи; похожее выражение лица было недавно и у меня, когда кто-то сказал мне, что мой роман очень хорош. (Это был господин, явно обделенный интеллектом).

Где бы ни появился этот человек со своим переносным оркестром, везде собирается толпа. Заключаются пари, как долго он может выдержать, учитывая, что литавры, вероятно, тяжелые. Все с восторгом ждут того момента, когда он потрясет головой и покачает ногой, потому что тогда все и начинается. Дети от радости выпускают в воздух воздушные шары, пожилые дамы укоризненно качают головами, гимназисты говорят «замечательно»; из окон у Бланка свешиваются, словно хихикающие гирлянды, девицы, какая-то женщина говорит с состраданием: «Бедняга!», а мой друг, студент Майер, шепчет мне, что он решил поменять профессию и заняться чем-нибудь в этом роде.

Если бы главный дирижер городского оркестра Антон вышел на улицу со своим музыкантами и они сыграли бы великолепный мечтательный медленный пассаж из симфонии си минор Шуберта, или что-нибудь хрустально-чистое из Моцарта, или что-то милое из папаши Гайдна, вряд ли был бы такой аншлаг. А если бы при этом оркестр собирал деньги, то вряд ли бы он собрал столько же, сколько этот человек с губной гармошкой. Ну так ведь оркестр только и умеет играть что Моцарта, Бетховена и Вагнера и всякое такое, а вот одновременно держать в руках губную гармошку, бить локтями в литавры, ногой — по тарелке, головой тренькать на металлофоне да еще собирать деньги и двигать ушами…

II

К восьми утра в среду я уже двенадцать раз слышал «Оковы сброшены, и ты свободен», девять раз «Голубую Адриатику» и восемь раз «Лизхен, Лизхен…»

К десяти утра: уже девяносто шесть раз «Оковы сброшены», восемьдесят три раза «Голубую Адриатику» и семьдесят восемь раз «Лизхен, Лизхен»…

К шеста часам: 487 раз «Оковы…» (216 раз на шарманке на колесиках, 201 раз на шарманке с деревянной подставкой, 36 раз на так называемой «шарманке капиталистов», то есть свежевыкрашенной шарманке на колесиках, на которой стоит клетка с двумя волнистыми попугайчиками). После этого я прекратил считать.

Я объявляю приз для людей, которые еще не знают задушевную народную песню «Оковы сброшены». Для мужчин призом будет старая шляпа (довоенного производства), цвет — серовато-зеленовато-коричневато-желтовато-фиолетовый, модель — мягкая шляпа с широкими полями и элегантными дырочками, проеденными молью и мышами, с большой, красиво обтрепанной лентой. Генеалогическое древо шляпы прилагается. Это шляпа очень хороших кровей, с материнской стороны она происходит от знаменитого головного убора Вильгельма Телля (посмотрите на шляпу там, на столбе, и т. д.). Отец неизвестен. Фридрих Великий был избран в этой шляпе. Музей предлагал за нее четыреста марок как за памятник старины. Очень подходит к черному сюртуку. Если еще надеть красный галстук (завязывается сзади), желтые военные сапоги и воротник а-ля Шиллер (короткий апаш), — получится элегантный кавалер (скорее простофиля, чем Лир, как говорит мой дядя). Кроме того, в придачу я даю «Золотую книгу хороших манер». Правда, я могу дать ее только на время, потому что она мне и самому постоянно нужна.

В качестве приза для дам предлагаю корсет пятьдесят восьмого размера, на шнуровке. С вышитыми фигурками героев легенд и охотничьими сценками. Я гарантирую, что он никому не будет мал. Это — наследство моей покойной тетушки. Кроме него — вязаный ридикюль, который можно использовать еще и как сумку под картошку, и искусственную челюсть в хорошем состоянии (кому рассвет люб, тому злато на зуб, а иногда — фарфор и цемент на пломбы). Призы можно увидеть в моей богемной мансарде. Право на участие в конкурсе получает любой, кто сможет *доказать.* что еще ни разу не слышал «Оковы сброшены»

III

А уж на самой ярмарке! Музыки сколько угодно. Особое впечатление создается, если встать в конце площадки между тремя каруселями. Тогда можно слышать с одной карусели «Отец наш небесный», с другой — «Дочь Сиона, радуйся», а с третьей — «Продадим мы бабушкин домишко»; и всё это одновременно в одном «роскошном» аккорде. Очень рекомендуется будущим музыкантам. Дисгармония еще более гениальная, чем у Арнольда Шёнберга[34] и Франца Шрекера[35]. А еще дневная и ночная карусели. Это — бесспорно воспитательный и развлекательный центр для элегантной молодежи от двенадцати до шестнадцати лет. Господа кавалеры в коротких штанишках гордо, надвинув шапки и вооружившись метлами, несутся по кругу. По ним и не скажешь, что большинство уже третий год сидит в одном классе. А барышни! Они смеются и щебечут, встряхивая косами, они трещат и болтают, стреляют глазами из-под своих гимназических шапочек и уже флиртуют так невинно весело и естественно, что, невольно покачивая головой, вспоминаешь поговорку: «Хочешь достигнуть мастерства — учись с младых ногтей!»

IV

Возле чуть расстроенной шарманки под манящим шатром в красно-белый горошек стоят три человека. Хорошо сохранившаяся, почти молодая женщина лет пятидесяти, вес — около центнера (довоенный товар), радом с ней — сильно иссохший мужчина, которому явно не хватает того, что у нее в избытке, в зеленой (когда-то черной) мягкой шляпе с широкими полями и редкой порослью вокруг широко разинутого рта — по свидетельству очевидцев, это во все не перья испуганной курицы, а вид усов (гибрид грубошерстной и курчавой немецкой охотничьей собаки). Судя по едким замечаниям, которыми женщина время от времени одаривает певца, иссохший мужчина — ее муж. Рядом еще один молодой человек, самая замечательная деталь его туалета — узел на галстуке. И эти трое поют! Поют! В этом шатре муз в красно-белый горошек восторженную публику обучают самым прекрасным старым задушевным немецким песням. Наблюдая за тем, как здесь возрождается и возвеличивается немецкое народное песенное творчество, невольно воодушевляешься. Скоро над площадью разносится пение уже сотни глоток: «В нас течет горячая кровь», и «Сегодня я и моя подружка», и «На карнавале думает каждый:

повеселись хоть раз в году»… Что по сравнению с этим Шуберт и Хуго Вольф[36]? Пустое место! Эти парни не написали даже ни одного приличного вальса-бостона, не говоря уж о настоящем «знай-наших»-фокстроте (мой дядя называет его «трясучкой»),

V

Сегодня идет дождь. Жаль. Из-за дождя настоящий разрисованный индеец, работающий в восточном балагане, не показывается гуляющей публике. Потому что дождь может смыть с него краску. Но вон той энергичного вида даме в зеленой байковой кофте дождь не мешает. Она продолжает говорить. Она продолжает раздавать свои вещи. Это фантастика. Покупаешь тяжелую позолоченную цепочку для часов (настоящая термомагнитоэлектрогальванопластика) за пять марок и получаешь в придачу брошку, лучший подарок для сестры или дочери, а еще — булавку для галстука (можно носить и на блузке), браслет (прекрасный подарок для конфирманток), мундштук, портмоне, кровать, маленький автомат, сонник, дрессированную собаку, а незамужним дамам старше 40 лет предлагается напрокат мужчина для практических занятий по книге «Как правильно целоваться».

VI

Вся жизнь — ярмарка. Со времен Ведекинда[37] подобные речи сильно обесценились. И тем не менее это так. Много трезвона, а в результате оказывается, что ничего и не было. Точно как на ярмарке. Или: жизнь — карусель. Думаешь, что мчишься вперед, а в результате оказываешься на том же самом месте.

В заключение еще две картинки. Бедная работница подала десять марок слепому и сказала:

— Вместо того чтобы попусту транжирить деньги, лучше бы эти ребята раздали их калекам…

А у одного седовласого господина при виде калек возле городского театра по лицу потекли слезы, он отвернулся и сказал своей спутнице:

— Я не могу проходить мимо этих людей на ярмарке. Как можно веселиться, когда видишь такое…

(1921)

Природа и искусство

I

В кристаллах и камнях начался темный процесс, который по неким таинственным законам соединял и разъединял, структурировал и формировал такие образования, которые ныне, когда Геккель[38] сделал всеобщим достоянием чудеса морских известковых отложений древних одноклеточных, глубоководного океанского ила и соляных кристаллов, вызывают изумление и благоговение.

Но темные силы природы рвутся вперед, обнаруживают себя в сказочном мерцании поверхности морей благодаря мириадам инфузорий, проявляются в мягком очаровании распустившихся цветов, порхают бабочками над прогретыми солнцем полянами, резким скачком добиваются появления тяги к родным цветущим склонам у перелетных птиц, вдруг обращаются вспять и вновь движутся по пройденному ранее пути, достигают почти полной прозрачности в удивительной логике муравьиных и пчелиных сообществ, но и здесь не взбираются на последнюю вершину, а поворачивают обратно, чтобы опять неудержимо устремиться вперед вдоль подтипа позвоночных животных, становясь все более явными, чтобы наконец в последнем рывке пробудить человека от векового сна и открыть ему глаза для осознания себя самого и своего «Я».

Человек — единственное существо, способное сказать «я» и «я есть». В нем природа начала постигать себя самое.

Человек — единственное существо, которое может размышлять о самом себе и может осознавать себя самого как индивидуум.

Здесь начинается трагизм и одновременно величие человеческого рода.

II

В нас вибрирует тысячелетняя наследственность; в нас вибрируют камни и звезды, космическая пыль и дуновение ветерка, шум листвы и морской прибой, жужжанье пчел и разноцветье бабочек, первобытная похоть и духовный подъем; в нас вибрирует Вселенная. В часы душевного волнения, священного «Ом» — восклицания индусов и буддистов,

последнего акта слияния с природой, мы чувствуем, что и в нас воплощен мировой дух, что и мы несемся вместе с Вселенной, как куст или дерево, облако или ветер, растение или животное.

И все-таки это не тот процесс непрерывного и нескончаемого слияния с природой и воплощения мирового духа, какой существует у камней, растений и животных. Что-то внутри нас препятствует этому, некая строптивая воля неустанно строит и строит что-то для себя, камень за камнем, потом все разрушает и вновь строит, приобретает масштаб, объем и могущество, пока внутри нас не возникает свой мир, противостоящий окружающему: наше «Я».

И точно так же как в том другом мире творческая воля природы вечно и неистощимо проявляется в становлении и исчезновении, то есть в жизни, так и здесь, в этом индивидуальном мире, появляется зародыш творческой способности, и он растет и растет. И согласно тем же законам органического единства, по которым в природе возникает жизнь, в индивидууме возникает его собственная специфическая жизнь: искусство, художественное творчество.

III

Две великие крайности: Природа и «Я» и их производные Жизнь и Искусство не противостоят друг другу, а находятся друг с другом в теснейшей связи. Без природы и жизни «Я» и искусство немыслимы. В те мистические часы, когда «Я» в великой всеобщей любви сливается с природой и Вселенной, в эти часы глубочайшей самоотдачи и происходит зачатие творческих идей, которые затем по непонятным законам овладевают тайной формы, дабы наконец родиться в миг внезапного вдохновения. Правда, это все еще только расплывчатые или грубо очерченные идеи, но они уже ясно указуют общее направление или все еще медлят в нерешительности; тем не менее они уже существуют, и их становление уже невозможно пресечь.

Если часы зачатия для «Я» редки, то неутомимое восприятие, оформление, расчленение и упорядочение явлений бытия — это непрекращающийся процесс в самом «Я», начинающийся при первом пробуждении ребенка и заканчивающийся лишь со смертью. Результат этого процесса — мировоззрение, мировосприятие художника. И в самом чистом и прозрачном виде — человечность. Все это и питает творческую идею. Она нуждается в этой пище, чтобы стать произведением искусства.

Законы, по которым из идеи возникает произведение

искусства, теперь уже не погружены во мрак. Хотя их первопричина, как и первопричина всего на свете, недоступна людям, но некоторые их проявления вышли из мрака на яркий свет познания и могут применяться вполне осознанно. Их называют по-разному: стиль, закон композиции, организация пространства, творческая манера и прочее, влияние этих законов изучено и понято; уже говорят о контрастном воздействии, расположении объемов, органичном построении, об объемном и плоскостном изображении, о законах контраста и нюансов, Ренессансе, классицизме, импрессионизме, экспрессионизме и т. д.

Именно здесь и проходит водораздел. *Хотя произведение искусства идейно и материально связано с природой, оно не является простым ей подражанием*. В то время как в самой идее на первый план выступает творческое начало в человеке вообще, при придании идее конкретной формы начинает влиять индивидуально-творческое начало. Нужно еще раз подчеркнуть, что в любой идее уже содержится определенная форма, потому что для каждой идеи существует лишь *одна* совершенная форма. И если удается ее воплотить, то художественное произведение живет вечно. «Илиада» и «Одиссея», «Дон Кихот», «Божественная комедия», «Фауст», скульптуры Эллады, фрески Рафаэля, произведения Микеланджело, Кёльнский собор, Акрополь, древнеегипетские храмы.

Дефиниция и классификация искусства по его внешним признакам — подразделение его на классицизм, романтизм, реализм, натурализм, экспрессионизм, не говоря уже о кубизме, футуризме и дадаизме — вызывает только смех у сведущих людей. Лишь бравые профессора, получившие искусство в наследственную аренду и полагающие, что они умеют ему порционно обучать, лишь ремесленники от искусства в худшем смысле этого слова и фантазеры могут всерьез воспринимать подобную рубрикацию, без которой, им кажется, не обойтись. А вот к художнику, который в нее верит и воспринимает ее всерьез, следует отнестись с подозрением: он считает форму чем-то внешним и поэтому далек от понимания сущности. Это заметно и по нашему времени, в котором народилось множество «измов». Но появляется исключительно мало подлинных произведений искусства. Нельзя не признать, что в любую эпоху ее единообразие, сходные переживания, сходная интеллектуально-душевная структура, сходное мировоззрение, сходная близость к природе, а в целом сходное отношение к жизни приводят и к известному сходству и единообразию творческих идей, а через них — к формальному сходству, которое носит название «стиль».

Но раньше эта классификация предпринималась лишь последующими поколениями, в то время как ныне сначала изыскивают название и определяют внешние признаки какого-то направления и только потом оно получает право на существование.

Но ведь в искусстве действует лишь одно правило: полная гармония между формой и содержанием.

IV

Несмотря на то что природа в виде зимних закатов, июньских лунных ночей, унылых октябрьских листопадов, ясных сентябрьских деньков с ярким многоцветьем умирающего леса, едва набухшими почками при вечернем освещении в начале весны, бронзовыми от загара пастухами на выжженных солнцем лугах Кампании, как бы вросшими в землю фигурами крестьян Нижней Саксонии зачастую производит впечатление глубочайшей гармонии и этим потрясает, все же она в очень редких случаях может быть без изменений использована для произведений искусства. Напротив, многое из того, что в природе прекрасно, не произвело бы того же впечатления, будучи изображено рукой художника. Это чувствует даже дилетант, когда он, глядя на буйство красок солнечного заката, говорит: «Если это написать на холсте, никто не поверит», причем слово «поверить» — лишь легкий намек на то, о чем говорилось выше. Любой человек органами чувств связан с природой и способен ее чувствовать. Но у человека творческого к этой способности добавляется творческое начало, то есть чувство формы. Он не просто смотрит, он — видит.

Он видит в частном не только частное, но и всеобщее. И значит, в дереве — не просто отдельное дерево, а дерево вообще, дерево по Платону, то есть саму идею дерева; в слезах женщины, оплакивающей сына, он видит воплощение материнского горя, в резком броске боксера на ринге — проявление силы, в мечтательной задумчивости девушки — бутон невинности, в объятиях двоих — любовь.

Все случайное или мешающее, часто одновременно присутствующее в природе, им устраняется или же гармонично включается и подчиняется общей идее, существенное же четко выделяется, а нечто новое и необходимое добавляется. Природа — это тот материал, из которого возникает произведение искусства, точно так же как из глины под руками скульптора возникает скульптура. Эти слова не преуменьшают значение

природы, а только его подчеркивают.

Для наглядности здесь приводятся три скульптуры профессора Антона Грата из Вены и имеющиеся фотографии натурщицы, служившей моделью для этих скульптур. Из сравнения их ясно следует, что простое воспроизведение на фотографии не создает произведения искусства, хотя и ей часто нельзя отказать в способности производить художественное впечатление.

Посмотрим на скульптуру «Даная» и на фотографию модели. Поза скульптуры гораздо компактнее, поскольку ее линии сближены; ноги не свободно раскинуты в стороны, как у модели, а согласованы с очертаниями верхней части тела и рук. Несколько дряблая грудь модели изображена девически упругой, рука, на которую Даная опирается, очерчена более мягко, особенно заметно, что ее внешняя линия имеет продолжение в копне волос, благодаря чему лучше выражена готовность отдаться. Мизинец левой руки у модели кокетливо отставлен, у статуи соединен с остальными пальцами, и вся рука от ладони до плеча представляет собой мягко изогнутую линию, которая изящно и округло переходит от ладони к лицу, чтобы затем слиться с абрисом волос и правой руки. Посмотрим, как изломана эта линия у модели. Колени у скульптуры немного больше раздвинуты, тело ее более округло и, что удивительно, именно из-за этого кажется девичьим, она, как бутон цветка незадолго до раскрытия, полна ожидания и готовности отдаться, что особенно ясно выражено в мягких очертаниях ее лица.

У модели «Европы» вновь бросается в глаза увядшая грудь, некрасиво согнутая рука, неизящная линия левой ноги, закинутой на правую, и скучающе-кокетливое выражение лица. Напротив, как наполнено жизнью правое бедро статуи, как пластична форма правой руки, под прямым углом опирающейся на левое бедро и образующей прекрасную параллельную линию с линией другой руки и правой ноги. Слишком изогнутая линия талии устранена. Грудь статуи более упруга, лицо, линия затылка — все изменено. В то время как модель полулежит в явно неестественной позе, статуя почти в той же самой позе, кажется вполне естественной.

В статуе «Восторг» поза фигуры сильно изменена. Это придало ей нечто от танца, некий неслышимый ритм, который переходит от двузвучного аккорда бедер вверх по тазу, чтобы затем взвиться до захватывающего дух торжества в трезвучии головы и обеих рук. Обратите внимание на распростертые ладони, на взмах рук, на одухотворенность лица, в совокупности выразительно передающие чувство восторга. Сравните эту оживленность мертвого камня с бездушием живой модели, чтобы

почувствовать, как велика дистанция между ними.

Всем моделям недостает цельности, окрыленности, живости и силы воздействия, которые поднимают случайную модель до скульптуры, произведения искусства.

(1922)

Китч

Это слово произносят, сморщив нос гармошкой, выпятив нижнюю губу или по-отечески грозя указательным пальцем, но всегда с возвышающим говорящего презрением, свойственным понимающим и оценивающим людям: китч.

В целом оно означает неприятие, подчеркнутое презрение с оттенком насмешки, причем приклеивается это определение обычно к явлениям чужеродным и часто бумерангом возвращается к незадачливому критику.

Обычно его применяют в двух случаях: первый — когда рассуждают по-деловому серьезно и, в заключении, словно предавая анафеме, выносят окончательный уничтожающий приговор; второй — когда, улыбаясь, как в нирване, и добродушно осознавая глупость и фиглярство этого мира, небрежно констатируют факт и снова обращаются к более достойным предметам.

Снобы боятся выдать себя. Они изобрели объективную критику, уверяя, что эстетика сродни химии, а дух можно стилизовать. Подобно сторожевым псам, сидят они у пограничных рвов, которые сами и вырыли, отделяют чистых овечек искусства от грязных баранов кича и выжигают на них клеймо — потому что без этого, может статься, они и сами не сумеют отличить одно от другого. Правда, они забывают, что без баранов овцы не приносят ягнят. Но верный народ благочестиво вторит им; в цене чистое понимание искусства и хорошее духовное воспитание. Тому, кто придает значение воспитанию, обычно есть что скрывать. А скрывается в основном то, что выросло само, плохонькое, но заложенное в человеке с самого начала. Отрицание этого приводит к обычным последствиям: худосочным страстям, малокровным чувствам, подавленным инстинктам.

Лошади, которые вечно ходят в упряжи, перестают чувствовать степь; если их отпустить на свободу, они к вечеру все равно вернутся к своим яслям. Дух, который вечно кормят чистотой и ясностью, становится слабым или заболевает авитаминозом. Тот, кто обладает глубоким знанием искусства, любит китч, потому что он в глубинных взаимосвязях искусства обнаруживает таинственную непоколебимость и единство инстинктов.

Только тот, кто пытается самоутвердиться в том, что еще не признано, кто способен посмеяться над собой, только он сможет понять искусство и с легкостью жонглировать всеми его понятиями.

Не существует объективной шкалы ценностей. Кто может утверждать, что его восхищение головкой Нефертити выше чувств, которые испытывает, например, прачка перед олеографией с изображением освещенного лунным светом пейзажа и ветряной мельницы? Все определяет только интенсивность чувства. Отрицание — прекращение восприятия. Чем ограниченнее выбор, тем одностороннее человек, его делающий. Но кто по доброй воле захочет есть только жаркое и отказаться от закуски и сладкого?

Тончайшие нюансы открываются, когда не замечаешь никаких пограничных столбов. Какое наслаждение — самозабвенно отдаться китчу, чтобы после еще осознаннее балансировать на канате знания; какая благодать — выкупаться в самой низкопробной сентиментальности, чтобы еще тоньше прочувствовать разнообразие изысканных оттенков формы! О, этот освежающий душ равнодушной банальности, невольный накопитель и отстойник сточных вод для орошения, создающего плодородную почву! Какое бодрящее чувство — вынырнуть из варварских лесов китча и снова отдаться во власть таинственных законов и неизбежного ритма искусства. Кто захотел бы лишиться этого источника молодости, этого молодого вина, предтечи благородных вин, которое постоянно, словно шаловливый чертенок, разрушает общеизвестные истины; кто захотел бы лишить себя этого испытания целостностью, этого сильнодействующего (в умелых руках) лекарства против склероза искусства — китча!

Великая Гедвига Куртс-Малер[39], я завидую тебе; завидую твоей кроличьей плодовитости, ведь над твоими произведениями пролито гораздо больше настоящих и искренних слез, чем над «Фаустом» Гете.

(1920–1925)

Карусель около кладбища св. Николая

Когда я выглядываю из окна, я вижу под устремленными ввысь, покрытыми нежной весенней листвой деревьями выщербленные серые и черные надгробия кладбища св. Николая — словно немое *memento mori* под сказочным майским солнцем. Мимо них со звоном проезжают трамваи, грохочут автомобили, куда-то спешат люди. Но, тихие и серьезные, стоят в городском шуме и сутолоке старинные надгробия и словно говорят: «Наша жизнь длится шестьдесят, если повезет — семьдесят лет; и вся она — труд к страдания. О человек, опомнись…» Однако вот уже несколько недель эту немую проповедь заглушает другая песня, которую празднично и шумно выводит по воскресеньям карусель, установленная на площади позади кладбища. Теперь, когда я вечерами сижу у окна и веду с надгробиями немую беседу, в нее врывается эта крикливая песня, лезет в душу, шумит, звенит в ушах, пока мысли, словно отпущенные на волю птицы, не улетают в поисках более спокойного места.

В какой странной близости друг к другу они оказались, эти две противоположности: кладбище, настойчивое напоминание о бренности бытия, и карусель, символ смеющейся легкомысленной жажды жизни…

Визжа и вскрикивая от радости, летит ребятня в разноцветных гондолах и на позолоченных лошадках, полная сил, шума и радости бытия, словно сама жизнь. Они кружатся, прорезая воздух, все быстрее и быстрее, а когда музыка умолкает и карусель останавливается, они оказываются на том же самом месте, откуда начинался полет… А разве в жизни не так же?.. Куда-то спешишь, торопишься, гонишься за чем-то, несешься, веришь, надеешься, думаешь, что чего-то добился, — а в конце оказывается, будто катался на карусели: не сдвинулся с места ни на йоту; и конец всегда один и тот же: шаг из праздничного шума в тишину кладбища.

Жизнь и смерть — какая загадочная близость; та же, что у карусели и кладбища св. Николая?

В наступающем вечере темнеют старые надгробия. Их проповедь, их немое *memento* не грозное, просто серьезное. Кажется, они хотят пробудить нас от сна легкомыслия, отвлечь от мелочей, словно повторяют слова Силезиуса[40]: «Человек, не изменяй себе», словно все время напоминают: используй время, стремись, твори, пока еще день, добивайся человечности и гуманности, оставь спешку, жадность, беспокойство, деньги, зависть; задумайся о себе и пойми, что все остальное —

второстепенно и, когда день угаснет, останется вечная, неизбежная участь человека — гроб и земля, так что лучше оставить о себе память в людских сердцах, а не кучу банкнот… потому что ты продолжаешь жить, пока о тебе думают…

Они учат хорошему, эти старые надгробия.

(1922)

Фиолетовый сон

Словно глухой призрачный шум висит в ночи над мерцающими огнями большого города осенняя смерть, темный водоворот, она, как вампир, высасывает теплую жизнь, как смерч, подбрасывает и заглатывает листья, поджидает у окон и все время однотонно гудит и жужжит, будто мощная динамо-машина, до тех пор, пока не начнутся град и снег, которые похоронят под собой весь мир.

Но прежде чем снежный ветер вопьется белыми холодными зубами в дрожащие леса и накинет саван на улицы и крыши, случается, что время замедляет бег и необратимая гибель на мгновение, как по волшебству, превращается в фиолетовый сон.

Он дважды в год приходит в мир. Первый раз в самом начале весны, когда родниковая вода начинает бурлить и пробиваться на поверхность льда, еще сковывающего берега ручья. Этот сон продолжается несколько дней, красивее всего он в Скандинавии, а в долине Сконе[41] достигает совершенства. Поэты часто воспевали его в своих стихах.

Но лишь избранные узнают его, когда он во второй раз проносится над миром в ноябре. Когда после затяжных дождей уже обнаженные кроны деревьев снова устремляются в золотые небеса и наступающая ночь до рассвета выжимает по капле последние темные тучи, день просыпается на фоне пасмурного неба, а теплый влажный воздух приобретает легкий перламутрово-серый оттенок, который бледное солнце осторожно перекрашивает в нежно-лиловый. В лужах отражается блекло-голубое небо, в котором тают последние облачка. Мокрые стволы деревьев в тени по-прежнему чернильно-черные, но солнечные блики окрашивают их в светло-коричневый, мох по краям становится желтым, а в трещинах и складках, на сучках и ветках — повсюду нежный фиолетовый отсвет, переходящий от матового голубовато-серого оттенка в туманный лиловый, и вдруг начинаешь напряженно прислушиваться к щебетанью воробьев, словно ждешь: вот сейчас дрозд заведет свою нежную светлую песню, и в изумлении протираешь глаза: «Да… Что это… неужели… весна?»

Этот фиолетовый весенний сон в ноябре длится всего час. Потом он либо растворяется в серебряном воздухе осеннего дня, либо оттесняется вновь появившимися тучами и глухим призрачным шумом, который снова поджидает у окон и однотонно гудит по ночам, пока не начнутся град и снег и не похоронят под собой весь мир.

(1922)

Натюрморт

На моем письменном столе стоит череп. Темный, пожелтевший, нескольких зубов не хватает, нижняя челюсть в плохом состоянии. То есть это не салонный ухоженный череп, полированный, с безупречными зубами, а, так сказать, совершенно обычный череп. Но зато у него в разбитых глазницах и покрытой желтыми пятнами черепной коробке осталось еще что-то неуловимо яростное и стремительное — дух смерти.

Напротив него стоит бюст Эхнатона, декадансного, немного извращенного египетского фараона, который любил солнце и юношеподобных отроковиц. Любил так сильно, что написал гимн солнцу. Почему же он не воспел свою возлюбленную, спросите вы, разве она, узкобедрая, не была ему ближе солнца? Она не была в его бурлящей крови невыразимой страстью, по ту сторону слов и чувств? Разве сочинять не означает высказывать свои эмоции? Он чувствовал ее, но не мог это выразить.

Ведь мыслить и тогда было опасно, мысли тогда высказывать не отваживались. Тогда мыслили инстинктами, а не ассоциациями. Мышление было опасной страстью, это доказывает самоубийство Эмпедокла, схожего мыслителя; мышление не было синекурой, ему нельзя было научиться за восемь семестров. Да и профессоров философии тогда не было.

Между черепом и бюстом стоит коричневая глиняная ваза из Микен. С цветами, крокусами, ветвями персиков. Их несет стройная женщина.

Что, вы все ждете от меня пошлой проповеди о взаимосвязи всего со всем, слегка приправленной разговорами о возрождении, о всемирно-исторических перспективах или сентиментальных и пикантных, словно паштет с трюфелями, рассуждений о неизбежности смерти с жизнерадостным выводом-десертом: мы-то еще пока…

Чего вы хотите? Я ведь сказал вам уже гораздо больше: череп и бюст. И цветы. И человек перед ними…

(1923)

О стиле нашего времени

Всякая великая эпоха имела и свой великий стиль, единым законам которого более или менее строго подчинялись все творения. Устремленная в небо готика создала соборы и монастыри, которые, как, например, Кельнский собор, еще и сегодня кажутся построенными на века; бьющая ключом радость жизни, свойственная Ренессансу, породила богатые дворцы и гордые дома, каких много в Хильдесхейме; роскошные барочные здания в Дрездене возвещают о последовавшем за Ренессансом причудливом стиле; Сансуси дает почувствовать рококо и возврат к классическому ампиру; и только наше время до недавних пор не находило единого стиля.

Мы довольствовались более или менее безвкусными мелочами, сплетенными по старым образцам, занимались подражательством, изобрели ужасный стиль модерн, но никак не могли попасть в дух времени, пока, наконец, намек на него не забрезжил в современном функциональном стаде.

Романтизм умер. Мы еще любим давно знакомый звук почтового рожка, слегка грустим, вспоминая о золотых днях юности и ушедшем времени грез; мы еще можем вместе с Эйхендорфом[42] чувствовать волшебство тихой лунной ночи, жуков плещущейся в колодце воды, любовного шепота среди клумб и цветников; мы переносимся вместе со Штормом[43] и Раабе[44] в маленький город, в котором жизнь течет спокойно и безмятежно, — еще живут в мансардах поэты и утонченные оригиналы, которые мирно покуривают свои трубки, завернувшись в шлафроки, поливают фуксии и ухаживают за кактусами; все еще сохранились озаренные миром и ясностью живописные уголки во дворах и старых домах. Но все это создано прошлым временем, это — отзвук, не настоящее, все это уже не определяет стиля нашего времени.

Наше время стало лихорадочнее и торопливее. Преобладает меркантильность. Правда, в часе по-прежнему шестьдесят минут, а в минуте шестьдесят секунд; но время ценится несравненно выше, чем раньше. Никогда оно не было так дорого, как сегодня; никогда жизнь не была такой дисциплинированной, как теперь. Типичная фраза для современного человека: «У меня нет времени».

Если раньше день был лишь звеном в цепи спокойно протекающих месяцев, то сегодня он до отказа набит событиями, которых когда-то хватило бы на целый месяц.

Большая часть современной техники основывается на

стремлении создать предпосылки для этой изнуряющей, захватывающей борьбы за существование. В основном можно выделить две группы: во-первых, техника, облегчающая борьбу за существование, во-вторых, техника, экономящая время.

Вся транспортная промышленность и техника базируются на последней проблеме. На смену почтовому дилижансу пришла железная дорога, потом — автомобиль. Если раньше требовалось определенное время, чтобы добраться из одного места в другое, а расписание поездов и класс поезда представляли собой некоторые препятствия, то с превращением автомобиля в современное транспортное средство не стало уже и этого.

Разумеется, невозможно при той напряженной деятельности, что царит повсеместно, воспринимать какое-то явление, дело, вообще жизнь с той же широтой и основательностью, со всеми деталями и подробностями, как раньше. Сегодня больше, чем когда-либо, воспринимают только самое главное, только суть, на остальное нет времени. И развитие способности распознавать везде самое главное является ныне основным требованием для каждого, кто хочет продвинуться вперед. Второстепенное больше не нужно; коротко и ясно выделяется главное, а затем на человека надвигается уже новое событие.

Сжатость, самые экономные выразительные средства, концентрация на самом важном — вот основные моменты для стиля нашего времени. Раньше строили соборы и дворцы, сегодня — магазины и фабрики. Мы живем в эпоху машин.

Когда повсюду начали грохотать станки, выросли заводы, запылали доменные печи и задымили трубы, некоторые чувствительные души объявили траур по умирающей поэзии. Они были не правы, потому что как раз эти непоэтичные вещи обнаружили странное обаяние; волнующий ритм исходил от стука молотков, грохота машин, завывания моторов, от кажущихся голыми фасадов фабрик — ритм нашего времени.

Выразительны линия и плоскость, а не украшения и мишура. Характерны в этом отношении здания, построенные Петером Беренсом[45]; выдающимся образцом нового стиля стало административное здание фирмы «Континенталь»[46].

Благородная архитектоника: большие, спокойные плоскости, прорезанные окнами. Массивные, тяжелые бронзовые фигуры у входа, роскошный, но строгий большой зал приемов. Само здание построено только в функциональных целях, но как раз поэтому идеально и чрезвычайно удобно. Большие помещения, наполненные воздухом, снабжены всеми средствами современной гигиены, повсюду только строгие линии, ничего ненужного, никакой лепнины, никаких пышных орнаментов; и поэтому все

спокойно, гармонично, целесообразно и прекрасно.

Особенно заметно выражается современный стиль в автомобилестроении. От первых опытов очень быстро перешли к более простым линиям, отказавшись от всяких чрезмерных украшений. Массивные автомобили все больше и больше вытеснялись приземистыми, и те в конце концов полностью завоевали рынок. Взлетающая вверх линия обвода, протянувшаяся от радиатора через капот и заканчивающаяся вертикальной линией кузова, — подчеркнутая прямизна этих очертаний оттенена элегантной изогнутой линией переднего крыла, подножки и заднего крыла, что создает ощущение гармоничного равновесия.

Длинный, вытянутый автомобиль, силуэт которого до предела функционален и элегантен, имеет в самом крайнем случае одно украшение — сочный, яркий цвет; но образ действительно элегантного, стильного автомобиля немыслим без черно-белых «кордовых» шин фирмы «Континенталь», произведенных с учетом функциональности и длительности использования, только они и придают автомобилю настоящий шик. Потрясающе, как благодаря им автомобиль выигрывает внешне.

Но еще большее изумление вызывает высокое качество этих шин: автомобиль, снабженный безусловно надежными «контикордами», несется на огромной скорости по самым трудным дорогам, а водитель невозмутимо, словно отлитый из бронзы, уверенно держит руку на руле, он одет в практичный, гармонирующий по цвету с машиной костюм (чрезвычайно удобный и очень современного силуэта, выпускаемый фирмой «Континенталь»); деревья и телеграфные столбы бешено проносятся мимо, колеса словно пожирают километры шоссе, и эта безопасная гонка, от которой получаешь ни с чем не сравнимое наслаждение, заставляет радоваться жизни.

В наше время жизнь уже невозможна без грузовых автомобилей. Резко подчеркнутая горизонталь дна кузова уравновешивает вертикали передней части. Сегодня благодаря применению массивных шин «континенталь-эластик» и крупногабаритных пневматических шин «континенталь» грузовик получил новые перспективы развития.

Вершина функциональности, вибрирующая, нервная взаимосвязь стали и резины — мотоцикл. Он — воплощение стремительности нашей эпохи; сгусток невероятной энергии. Быстросъемные мотоциклетные покрышки «континенталь» позволяют развивать на этих породистых скакунах захватывающую дух скорость: они предохраняют от скольжения и

обеспечивают максимальное сцепление с грунтом.

Если вы водите, нецелесообразно носить обычный костюм; кроме того, человек в визитке с развевающимися полами, мчащийся на своем заправленном бензином коне, действительно выглядит странно. Для автомобильной езды хороша специальная одежда «Континенталь», производимая для самых разных случаев: от тончайших пылезащитных костюмов до очень плотных кожаных курток. Опьянение скоростью, это хорошо знакомое всем водителям чувство, когда ты пригибаешься к рулю, а мир буквально летит тебе навстречу, мотоциклист ощущает острее других.

Преодоление времени — эта проблема сейчас больше, чем когда-либо, выходит на передний план, и поэтому транспорт играет ныне более важную роль, чем прежде. Автомобильная выставка, прошедшая в Берлине в этом году, дает полное представление о современном уровне развития автомобилестроения, последних достижениях и новациях. Она показывает и ретроспективу, и перспективу. А еще она демонстрирует, что век техники и транспорта вовсе не лишен романтики, как полагают отсталые умы. Скорее это век работы и моторов. Но в работе есть своя поэзия, а машины вполне могут быть романтичны, моторы стучат в ритме времени; и наш жестко сколоченный век нарастающей энергии, нервного напряжения, фабричных труб, заводов, гигантских вокзалов, экспрессов, автомобилей имеет своеобразную, строгую красоту и мрачную фантастичность, он тоже обрел свой собственный стиль и единые выразительные средства. Это доказывает Берлинская автомобильная выставка 1923 года.

(1923)

Реклама и продавцы

Уже давно доказано, что товар благодаря рекламе становится не дороже, а, наоборот, дешевле. Дилетанты считают, что затраты на рекламу прибавляются к издержкам производства и делают товар дороже, в их суждении верна только предпосылка, а вывод ошибочен. Целенаправленная реклама всегда рождает повышенный спрос, а следовательно, и повышенный оборот. Благодаря этому накладные расходы предприятий торговли и торговые издержки распределяются на большее количество товара, и издержки производства снижаются.

Реклама не только знакомит потребителя с товаром и его преимуществами и представляет его в наиболее выгодном свете, она выражает не только интересы производителей и потребителей, но распространяется также и на торговые организаций, которые играют роль посредников между теми и другими.

Для длительной, широкомасштабной рекламы необходимо, чтобы рекламируемый продукт имел высокое качество, иначе ее придется рано или поздно свернуть, поскольку качество является первым и основным условием существования любого предприятия. Людям не удастся долго морочить голову, товар обязательно проверят на деле, и, если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, это сразу вызовет подозрения. Если же продукция предприятия известна уже на протяжении Десятилетий и пользуется спросом во всем мире, то это и для дилетанта служит доказательством качества товара.

Продавцу намного легче торговать хорошо зарекомендовавшим себя, уже испробованным товаром, чем неизвестным. Хорошая реклама повышает торговый оборот, поэтому продавец кровно заинтересован в любом новом рекламном начинании, и ему следовало бы поддерживать рекламу всеми силами, потому что каждый успех производителя — это одновременно и его успех.

Не только оборот, но и репутация продавца выигрывает от того, что он торгует товарами давно известного крупного предприятия. Любой продавец колониальных товаров будет стремиться торговать только самым качественным товаром; любая лавка, торгующая маслом, реализует только хорошее, свежее масло. Потому что психологически мы идентифицируем предметы и людей. Собака, которую побили, боится не только побоев, но и того, кто ее побил. Так же и люди. Отрицательное отношение к чему-либо непроизвольно переносится на того, от

кого мы это получили. Если ты купил где-то плохой материал, прогорклое масло, шины низкого качества, ты наверняка скажешь себе: «Туда я больше не пойду».

С другой стороны, продукт с хорошей репутацией переносит доверие публики и на продавца. А если отличное качество продукта к тому же постоянно подтверждается бесчисленными публичными испытаниями, например, качество шин подтверждается на гонках, пробегах на дальность и т. п., а результаты этих испытаний благодаря целенаправленной рекламе известны всему миру, то и хорошая репутация и успех фирм, занимающихся реализацией этого продукта, не заставят себя долго ждать. А что означает пользоваться доверием публики, наверняка знает и по достоинству ценит любой коммерсант. Широкомасштабная рекламная деятельность дает продавцу еще одно преимущество: он становится известным. Основным законом психологии является закон ассоциации понятий: одинаковые или схожие понятия ассоциируются и вызывают друг друга. При длительной торговле каким-либо товаром имя продавца ассоциируется у покупателя с названием товара. И в дальнейшем, когда покупатель читает название товара в газете, на рекламной тумбе, на улице и т. д., оно сразу вызывает в его подсознании имя продавца или представителя фирмы, они словно сами всплывают в памяти. Успех тот же, как если бы продавец разослал клиентам рекламные проспекты или рекламные письма. При проведении широкомасштабной рекламы клиент очень часто получает этот импульс, поэтому успех рекламы имеет большое значение и для продавца.

Хорошо организованная реклама выгодна не только потребителю, потому что она удешевляет товар, но и продавцу, потому что гарантирует ему успех.

(1923)

О смешивании изысканных крепких напитков

Жизнь проявляется в самых незаметных вещах. Вино превращает нас в поэтов. Оно развязывает язык и делает нас болтливыми, а кто может быть болтливее поэтов? Оно — напиток легкости и радости жизни; пить вино — наслаждение, иногда даже искусство.

Крепкие напитки — эссенция. Они делают тебя сосредоточенным и молчаливым. Это — не напиток, а питье. Способность пить их — даже не искусство, это — культ.

Вино поднимает настроение, делает людей ближе. Крепкий напиток — разъединяет; он помогает увидеть истинную ценность, вскрывает различия, проявляет противоречия. Он делает нас одинокими.

Вино — девица, готовая легко отдаться; немного лести — и она твоя. Поэтому ее и восхваляют на всех перекрестках.

Крепкий напиток — весталка, ее получить непросто. За нее нужно не бороться; ей нужно служить. Некоторые служат ей годами, но она не отдается им. Многие хвастают, что обладали ею; но этим они лишь разоблачают себя.

Легче написать пособие по психологии женщины, чем постичь крепкие напитки. У них есть душа. Легче понять особенное, свободное, импульсивное, светлое в женщине, чем выманить из мараскинового ликера с помощью очищенного апельсинового экстракта и доведенного до кипения бенедиктина мерцающую вязь пурпура, удар ножа и припудренное золотом небо и придать ему несколькими каплями абрикотина с козьими сливками волшебный аромат юга, запах солнца, коричневой травы, бронзовых пастухов, Пана и романтического шума гавани.

Люди приобрели варварскую привычку пить шнапс, ни с чем его не смешивая. Зато они стали настолько грубы, что смешивают крепкие вина с шампанским. Есть даже люди, которые полагают, будто от смешанных напитков быстрее пьянеешь. Вообще тех, кто оперирует такими понятиями, как опьянение, мы заранее исключаем. Однако надо упомянуть, что смешанный в правильной пропорции крепкий напиток никогда не ударяет в голову.

Каждый смешанный напиток — музыкальное произведение. Есть напитки в до мажоре. Разве можно представить их без коньяка? Или ликер в ля-бемоль миноре — без ананаса? Разве возможен экспромт в ми-бемоль мажоре без ванили и ликера

«Кордиаль-Медок»[47]?

Любой смешанный крепкий напиток — дремлющее произведение. Он — усмиренная гармония, которая приобретает силу, когда напиток перетекает через край стакана.

И все-таки настоящее очарование есть только в разнообразии. Легко сочинить симфонию из нескольких крепких напитков. Можно создавать бесчисленные комбинации: от аллегро кюрасао через быстрое адажио *con motto* а-ля шартрез и гротескное скерцино тминной водки и «Крем-де-какао»[48] до бодрого рондо мятного абсента; не говоря уже об изящных кофейных вариациях на излюбленные темы какао с ванилью, сливок, тминной водки, джина и содовой.

Труднее запихнуть эту симфонию в *один* крепкий напиток. Смешивание напитков требует изучения. Это наука. Кто сегодня знает удельный вес отдельных ингредиентов, кому известно, как они взаимодействуют друг с другом?

Кто может, не задумываясь, сказать, какой напиток надо смешать, если в хмурый четверг окажешься наедине с юной девушкой в комнате с высокими готическими окнами в тот таинственный час, когда коровы на пастбище начинают мычать от голода, а итальянки Ломбардской равнины уже заводят felicissima notte[49]; кто еще знает хоть что-нибудь о влиянии времени года на пропорции смешивания, кто, сидя в комнате в стиле бидермайер[50], может извлечь серебристые звуки клавесина из фруктов, ликеров и арабского изюма?

Нельзя в сумерки пить тот же крепкий напиток, что и поздним вечером, точно так же как нельзя на большой прием надеть коричневые ботинки. Небезразлично, какой доминирующей нотой начинается смешанный концерт. Тот, кто любит секстаккорды, начнет трио мокко-какао-сливки с мокко. А квартсекстаккорд властно требует вначале сливок. Подогретую сливовую настойку, в которую в последний момент добавили кусочки льда, смешивают с имбирным пивом (предварительно взболтать), чистой померанцевой водкой, капелькой лимонного сока, перемешивают серебряной палочкой, добавляют сливки и еще раз какао. Смешивать в чаше. Кристаллизация в сосуде начинается, когда с высоты в пятнадцать сантиметров туда вливают еще две капли Кюрасао трипл-сек. В течение примерно трех минут Кюрасао будет, бурля, растекаться из центра по краям, как в римском фонтане, описанном Конрадом Фердинандом Мейером[51]. Постепенно бурление уляжется, и возникнут лучики-прожилки, расходящиеся от центра. Подобно наполненным медом сотам, висят в бокале кристаллы. Теперь серебряной ложечкой нужно добавить свежевыжатый ананасовый

сок и немедленно перелить смесь, желательно в круглую хрустальную бутылку, которую следует закрыть и подогреть, после чего на час опустить в холодную воду. Ясной ночью в полнолуние поставить так, чтобы луна освещала бутылку, а потом сразу поместить в темное место, чтобы на нее не попадал свет. Через полгода бутылку можно вскрыть.

Готовить смешанные напитки, не зная ингредиентов, — все равно что блуждать во мраке по незнакомой местности. Поэтому, прежде чем дать определенные инструкции по смешиванию, надо особо поговорить о структуре отдельных напитков.

Мутная мешанина в барах ничего общего не имеет с настоящим миксом. Человек, смешивающий напитки, — еще не специалист. Механическое сливание разных напитков в одну емкость только вредит. И лишь с постижения основных законов начинается органичное смешивание. Но здесь рутина уже не помогает, потому что не существует никаких шаблонов и единых правил. Путь подсказывают талант и инстинкт. Существуют смешанные напитки, с которыми надо работать годами, другие можно приготовить очень быстро.

Я уже не говорю о высоком искусстве Лавалетта[52], который достиг такого совершенства, что даже перестал пить. Он только оценивал букет. Он сказал как-то, что без солидных философских знаний, оккультных сил и музыкальных способностей никто не сможет достичь даже второй ступени в искусстве смешивания. Сам он не приготовил ни одного микса без использования магнитных волн земли, не говоря уже о хитрых фокусах с разноцветными шелковыми платками, рентгеновских лучах, приемах йоги, знании законов падения, магнитах, определенных фазах луны, часе выпадения росы, атомарном принципе, косметике, ядах и наркотиках.

Когда зеленая сливовая настойка создаст в чистом мараскиновом ликере странные спиральные круги, переплетаясь с красными прожилками шерри, а янтарно-желтые слои абрикотина образуют поперечные полосы, последняя, решающая капля наконец прыгнет в бокал с определенной высоты, пробив верхний слой мараскиного ликера и, мягко скользнув, выстрелит вверх разноцветным серпантином, не добравшись до коричнево-золотого нижнего слоя, — тогда начинается оргия цвета.

Для смешивания переливающейся разными цветами непостижимости необходима сноровка. Смешанный напиток разнообразен, как сама жизнь. Это — бриллиант, вспыхивающий тысячами красок и сверкающий многими гранями; но все-таки это один бриллиант.

Смешивать следует не меньше тридцати различных

ингредиентов. Необходима тренировка. Одно неловкое движение руки — и все испорчено. Смешанный напиток любит умелое обращение. Он покорно подчиняется мастеру, когда тот, играя на равновесии закономерностей, варьируя результаты, своей творческой грацией становится подобен космосу.

(1924)

Основы декаданса

I

В степях всегда завывают ветры, и море шумит вечно. Человек — мерило всех явлений, а круг — символ вечности. Все идет по кругу и замыкается в круг.

Ты не хочешь, сын мой, провести остаток дней среди обыденности, ты не хочешь плестись по своему пути, как почтовая кляча, напротив, ты мчишься по нему безудержным галопом, пусть даже себе во вред, заставляя жизнь взвиваться, подобно ракете, к чернеющим небесам.

Спокойно. Хотя ты и не растрачивал свой интеллект на те вопросы, которые еще и сегодня используются профессорами философии для велеречивых проповедей, хотя их неразрешимость уже давно убедительно доказана, — я имею в виду вечные вопросы «откуда?» и «куда?», — хотя ты и выдержал несколько испытаний молча, не жалуясь на бессмысленность и сомнительность происходящего; хотя твой скепсис и оградил тебя от ложных выводов, сделанных религией, все-таки это еще ничего не значит.

Человек отправляется в мир, чтобы познать его, но познает лишь самого себя. Он всматривается в себя и обнаруживает целый мир. Кто понял эту закономерность, тот застрахован от неудач. После недолгой тренировки обретаешь достаточно уверенности, чтобы приняться за очищение инстинктов.

Разум — неудавшийся инстинкт. Быть разумным — значит быть способным на ошибочный выбор. Инстинкт всегда идет верным путем. Познание — выродившийся инстинкт, а ему следовало бы быть обостренным.

Как дерево обвито плющом, так твои инстинкты обвиты понятиями об этике, наследственностью и привычками. Ты должен вытравить их щелочью иронии и сомнения, пока твои инстинкты снова не обретут блеск и чистоту.

Исследуй почву своей души, выясни, что произрастает на ней — сочные растения с мощными стволами или пасторальный подлесок. Ухаживай за одними, жертвуя другим.

Но никогда не пытайся смешивать инстинкты с принципами. Только совершенная безответственность по-настоящему взращивает инстинкты. Огради их стеной цинизма, чтобы не пришли по чьей-нибудь санкции садовники и не сделали из них скромные декоративные кустики или, что еще хуже, не опрыскали

чем-нибудь.

Пусть наслаждение будет твоей наградой. Помни закон: наслаждение растет вместе с интенсивностью восприятия. Стремись к интенсивности. Тренируй свои чувства, чтобы они, подобно присоскам, держались за события жизни и смаковали их. Концентрируй, сгущай и отфильтровывай экстракт. Пусть жизнь твоя станет оргией и вакханалией, будь всегда в напряженной готовности всем своим существом последовать за любым колебанием компаса инстинктов.

И тогда в осеннем лесу тебя захлестнет волной туманной тоски. При виде поблекшего красного переплета сборника Абу Наваса[53] ты забудешься до экстаза; неожиданно гибкая каракатица на целый час задержит тебя перед аквариумом в Неаполе; а дымящие трубы заводов в таком чувствительном состоянии покажутся тебе озорными фаллическими символами.

Это ощущение превращается в экстаз в крайнем проявлении инстинкта: в женщине. Ты погружаешься в нее и тонешь в ней, она поглощает тебя, словно бурлящий горный поток. А так как *одна* женщина всегда показывает только *одну* сторону мира, а ты стремишься познать его целиком, избегай зацикленности на *одном* человеке, бойся замкнуться и затеряться в нем.

Любовь — это перчатка, которая стала мала. Слово это уже и без того затаскано поэтами и не подлежит обсуждению. Все равно оно не подходит для обозначения напряженного ожидания, как у кошки перед прыжком, вечного бодрствования, постоянного круговорота в тебе, что, подобно огню святого Эльма, неровно полыхает на мачтах твоих чувств и предвещает бурю.

Только *борьба* полов высвобождает подсознательные стихийные течения, от которых все и зависит, именно борьба, а не неуклюжая искренность в выражении симпатии.

От едва заметного учащения пульса до попытки прощупать и понять, от молниеносной защиты и резкого неожиданного выпада до последней бури нервов под маской нежных слов и комедии чувств неистовствует борьба. Пока наконец не исчезнут все преграды и двое не накинутся друг на друга — только женское и мужское начала, окруженные и захлестнутые раскаленной лавой земной мощи, сольются друг с другом; только рев течной самки и рык самца-хищника, ураган, циклон, земля, инстинкт, первородностъ.

II

Экстаз не может быть постоянным. Экстаз — судорога

чувства, застывшее возбуждение. Кто пытается продлить его, приходит к пресыщению; а это уже привычка, страсть с обвислым животом, золотушный экстаз, поблекшее чувство в домашнем халате. Из-за его плеча слышится китчевый смех пафоса.

Возвышенность — стереотип. Даже сильнейший порыв однажды ослабнет. Однообразие — скука. Даже самое мощное волнение в крови лишь на время поднимет тебя на магический уровень полного удовлетворения собой, к которому ты стремился, считая его основой всего. Удовлетворение собой превратится в самолюбование. Ты снова сможешь заполнить опустошенную душу, расцветить обесцвеченные чувства, всего лишь придав им контрастность, словно подсветив разноцветными стеклышками. Из экстатического света яркого, одноцветного солнечного луча ты получишь переливающийся спектр, пропустив его сквозь призму стороннего анализа.

Осознанная изменчивость придает многообразие. Может быть, мелочи будут восприниматься не так остро, но контраст компенсирует это. Слабый свет кажется ярким в сумерках.

Перспектива расширится, горизонты раздвинутся. Столетия, словно подкравшись, раскроются пред тобой и подчинятся тебе. Интрижка, которая казалась тебе пошлой, предстанет в новом свете благодаря историческому сравнению. Мелочи, до тех пор не привлекавшие внимания и использовавшиеся для заполнения пустот, благодаря историческим параллелям заискрятся, словно бриллианты. Пикантное очарование истлевающей культуры прошлого сделает их значительными. Пустяки станут для тебя частичкой вечности, насмешка и умиление смешаются.

Ты научишься получать удовольствие от молниеносной смены впечатлений. Тебе захочется после симфонического концерта пойти в кабаре. Не для того, чтобы отвлечься от серьезного, а для того, чтобы углубить наслаждение. Шопен, сыграв ноктюрн, проводил большим пальцем по клавишам, как бы отделяя музыку от повседневности.

У тебя появится чутье на переходы и цезуры. Ты научишься узнавать приливы и отливы эроса. Ты станешь безошибочно угадывать, когда нужно прощаться; ты будешь уже знать финал, пока остальные дожидаются второго акта.

У тебя появится утонченность, пристрастие к невыразимому, неопределенному. Ты научишься соединять сладость Востока с северной терпкостью, смешивать можжевеловую водку с шербетом, называть турчанку Линой и с благосклонностью воспринимать танец живота в исполнении Элли Майер.

Выкрашенные хной ногти, татуированные груди, позолоченный пупок станут доставлять тебе непременную

радость; ты научишься смаковать свою возлюбленную, золотую цепочку на ее бедрах, любоваться бликами, которые отбрасывают свечи на атласную женскую кожу, и впивать аромат снега, окутавшего деревья в ночном лесу.

Ты превратишь ночь в день; повернешь время вспять. Ночь станет для тебя черным бархатом, на котором ты сможешь воплощать свои причуды в стиле барокко. В уединенных монастырских садах ты будешь читать «Декамерон», а исповедь Блаженного Августина — быть может, во время маскарада.

Важно, чтобы ты делал все это не для того, чтобы выделиться, а по внутренней потребности. Ты должен сам верить в то, что ты делаешь: хотя бы в тот момент, когда ты это делаешь. Поэтому ничего не форсируй; час, когда тебя повлечет к неожиданным поступкам, заложен в тебе генетически, ты никогда не сможешь ухватить его, словно сопротивляющуюся девушку.

Вечером ты подберешь на улице простушку, приведешь ее к себе, пробудишь в ней сентиментальность давно минувших девичьих грез, укутаешь ее, изумленную, ими, как парчовым плащом, и, пока длятся сумерки, пока не появятся первые звезды, будешь благочестиво боготворить ее. Или изольешь душу какой-нибудь гризетке, рассказав ей о философии Платона. Вполне может случиться и такое, что утром ты с рассеянной благодарностью положишь на постель с трудом завоеванной, избалованной дамы мелкую купюру. Если у тебя есть талант, может статься, ты напишешь на гибкой спине женщины, разделившей с тобой ложе, духовные стихи. Так уже делал Гете.

Постепенно ты начнешь покупать искусство, сначала из Парижа, затем из Буэнос-Айреса и Сайгона. На время ты заинтересуешься комбинацией «домашний халат — клобук монаха» и валансьенскими кружевами на негритянке; выбирая между отшельничеством и «Фоли Бержер», предпочтешь отшельничество, будешь использовать трюки и блеф, жить с кокоткой так, словно вы — пасторская супружеская пара, и выстраивать соборы мечтаний при виде крепких, покрытых волосами, подмышек скотницы.

Рецепт прост: совершать нечестивое с религиозной миной; святое — с нечестивой. Разбавлять утонченность примитивным; воспринимать примитивное утонченно. Ты подвергнешь сомнению признанное и прочувствуешь его острее, сконцентрировавшись на его противоположности.

III

Но все это — всего лишь охота до конкретики, фактов, вещей. Неудивительно, что ты начнешь уныло роптать на судьбу из-за того, что цветок в петлице твоей пижамы не подходит к цвету волос твоей возлюбленной; и ты не сможешь заснуть, если на ночном столике нет засохших цветов липы. Но это еще только подступы к настоящей сублимации.

Ты утомишься от контрастов, да что, в конце концов, не утомляет?.. Ты разочаруешься в намеченных целях, потому что они существуют только для того, чтобы держать тебя в напряжении и чтобы тебе было куда стремиться. Надеяться на их исполнение — гротескная порнография.

Результат отодвинется на второй план. Усилится формальная сторона. Чрезмерный интеллект по таинственным законам подпадает под очарование крайностей и, таким образом, декоративности; он растворяется в мистике и магии, как фигуры ковра в орнаменте.

Останется физическое. Инстинкт превратится в абстрактное сладострастие. Ты ощутишь господство второстепенных смыслов и ощущений. Аромат усиливается в букете духов, ты изобретешь романтические духи из амбры, миндаля и шипра; резкой смесью пачули, мускуса, валерианы и бальзама из Мекки ты придашь своим мечтам новые краски. Твое чувство вкуса поможет тебе создавать смеси из ванильного ликера, светлого имбирного пива и очищенной «огненной воды»; ты играючи овладеешь трудным искусством смешивания ликеров. Все твои чувства обострятся; твои пальцы, словно антенны, начнут улавливать тончайшие нюансы, различая матовый янтарь и шлифованный хрусталь, блеклый японский шелк и персидскую шерсть.

Что может быть более порочным, чем орхидеи! Ты изучишь все разнообразие их видов. Орхидеи со словно изъеденной раком, грязно-красной мякотью, будто бы покрытые ртутью и обожженные проказой, орхидеи с причудливыми наростами и толстыми набухшими листьями. В сравнении с аскетическими кактусами они еще ярче демонстрируют свою извращенность.

Ты пройдешь через опиум, гашиш и кокаин. Морфий я тебе не советую; он для дилетантов. Ты попытаешься заморозить пробужденную фантазию эфиром, она застынет, подобно замерзшему водопаду, и ее можно будет разглядывать и изучать.

Но и это — лишь переходная ступень. Скоро ты начнешь выходить за пределы собственного «Я». Ты отважишься, словно канатоходец, на заигрывание с хаосом. Ты будешь играть последними истинами, словно детскими мячами. Будешь танцевать на краю, жонглировать в парящем равновесии самим собой, скакать по горным вершинам мысли, на которых белеют

кости сгнивших мыслителей, и будешь получать утонченное наслаждение от грохота лавины у себя за спиной.

IV

Чем выше ты будешь подниматься, тем меньше у тебя останется возможностей. Утонченность — одновременно и хрупкость. Начнется разочарование.

Я хочу обратить твое внимание на то, что это разочарование не имеет ничего общего с пресыщенностью. Ты не можешь пресытиться, если идешь правильной дорогой. Только тот, кто сворачивает, пресыщается. Этим он показывает, что задача оказалась ему не по плечу. Его отказ и усталость — признаки слабости; а она проистекает от неспособности.

Разочарование — не отказ, а отречение. И это отречение от еще желанного и есть самая утонченная прелесть разочарования, самое тайное его наслаждение. В нем заключены все стад ии наслаждения, как обертоны в октаве.

После долгих лет поисков ты можешь в конце концов случайно приобрести пергамент, который так долго искал. Пожелтевший, потемневший, он манит, ты стремишься раскрыть его. Но потом просто ставишь его среди книг и не читаешь. Тем самым ты окутываешь его волшебством неизвестного. Ты будешь в состоянии не глядя вылить безлунным вечером последнюю бутылку «Шато д'ор» 1790 года за окно. Но ты будешь прислушиваться к ритмичным звукам, с которыми она опустошается. Если ты обладаешь поэтическим талантом, это можно сравнить с муками творчества, когда сидишь, склонившись над листом бумаги, и ждешь, пока твоя фантазия не подбросит тебе несколько изысканных аккордов. Но в конце концов ты решаешь не выражать эти образы словами и отпускаешь их невысказанными в ночь.

Постепенно ты привыкнешь и к этому. Теперь ты достиг финала; приближается мистический поворот. На горизонте маячит последняя станция. Ты возвращаешься к газетной публикации романа с продолжениями и к сборнику псалмов. Радостно и блаженно займешь ты свое место за столом среди однобоко мыслящих любителей романов о Штёртебекере[54], дружелюбно и нежно помашет тебе рукой отупевший обыватель, — так, в детском простодушии, закончится круговорот страстей; круг замкнется серьезным разговором с опытной, пожилой дамой, фигурой напоминающей колонну. На здоровье!

(1924)

О выставке «Группы К.»[55]

Четкое отражение времени называется стилем; он определяет основное направление развития искусства и художественных ремесел любой эпохи. Страстная готика породила устремленные ввысь соборы и выдающиеся полотна Грюневальда[56]; жизнерадостный Ренессанс — роскошные дворцы и блистательное искусство итальянских художников. Мы живем в эпоху универмагов и фабрик, доменных печей и метро, гигантских вокзалов и экспрессов, автомобилей и самолетов. Искусство нашего времени строго и деловито. Оно пренебрегает украшательством; линия и плоскость несут в себе и форму и экспрессию. В организации пространства оно математически сурово, но за этим чувствуется пульс шумной, мрачной фантастики века машин и моторов. Тот факт, что большинство современных художников и не подозревают о стиле нашей эпохи и продолжают производить простодушно-эпигонские творения по унаследованным от предшественников образцам, вовсе не означает, будто что-то не так с искусством, напротив, это означает — что-то не так с современными художниками.

Египтяне и древние греки знали мистику математики. Пифагор создал философию числа — не прикладных цифр, служащих для счета, а абстрактного числа, преодолевающего пространство. За самыми обычными предметами таятся интереснейшие открытия; число заключает в себе тайну пространства. Механизм космоса. Ось вещей. Магия пространства. Здесь начинается искусство нашего времени. Подхваченное пространством, оно побеждает и реорганизует его. Здесь диагональ выражает необузданность чувств, а не простое деление пополам, как в поверхностном искусстве. Она создает четкость в борьбе линий, потрясающую весомость плоскостей. Это искусство творит не только на ниве изображения и его цветущих равнинах; оно трудится на самой дальней окраине, на границе. Древние законы новы для него, оно познает последнюю глубину формы, линии и плоскости.

Это искусство больше чем абстрактная организация пространства, потому что иначе оно оставляло бы только приятное впечатление от группировки вещей по эстетическим признакам. Оно пытается прорваться к платоновской идее вещей и к ритмике пространства.

Простые на первый взгляд произведения раскрываются, если долго на них смотреть. В них обнаруживается все больше деталей, они становятся все содержательнее, личностнее и живее.

Необычная одухотворенность скрывается за их филигранной точностью. Они предоставляют широчайший простор фантазии, ничего не предопределяя и не навязывая; они самодостаточны. Они совершенны, подобно кристаллам, отражающим эмоциональный портрет зрителя. И разве при этом так уж странно, что некоторым они ни о чем не говорят?

(1924)

Эпизод за письменным столом

Через несколько минут после того, как зажглась моя настольная лампа, на свет беззвучно прилетела тень с серебряными крылышками и начала торопливо кружить вокруг него, словно боясь опоздать. Снова и снова дерзала она на тщетную попытку атаковать светящийся ореол лампы вокруг металлической нити и взволнованно билась перед сопротивлением невидимого стекла, как не любимая больше женщина перед невыразимой отчужденностью мужчины.

Древнее наследство заботливых матерей направляет при взгляде на моль страх за содержимое платяных шкафов в ладони, так что они становятся проворно хлопающими преследователями крылатых созданий, растирающими их, как мельничные жернова зерно.

В непроизвольном рефлекторном движении я тоже вытянул руки, немного помедлив перед серовато-золотым насекомым, которое скрючившиеся пальцы должны были растереть в бесформенное нечто. Но моль ускользнула от таинственных захватов, приближавшихся к ней, и упорхнула под скулу стоявшего рядом с лампой пожелтевшего черепа, а потом, когда и там стало опасно, — в глазницу.

Она ползала по своему укрытию, пряталась в тени и беспокойно шевелила крылышками. Это выглядело так, словно в глазницах вновь появилась таинственно вспугнутая жизнь. От этого годами знакомый и ставший привычным череп внезапно приобрел что-то зловеще-угрожающее, так что преследующая рука замерла перед ним. Он образовал мистическое табу, прибежище, каким в средние века была церковь для беглеца, спасавшегося в ней от преследователей.

Укрывшись в смерти, моль обрела безопасное существование. Смерть стояла на страже жизни. В ее застывших глазницах насекомое нашло надежное пристанище, а для ведомой мыслью руки она стала смутным напоминанием о смерти. Между ней и бездумной тварью не было страха, в то время как между мыслящим существом и ею зияла пропасть ужаса.

Человеку даровано мрачное знание; только он знает, что должен умереть. И невыносимая тоска по Вечному противится этому знанию; но прочно прикованный к колесу времени, он устремляется вместе с ним от одного изменения к другому. Отданный на произвол судьбы, зная об этом, не имея возможностей сопротивляться ей, пытается он понять замысел судьбы и никогда не находит его.

И, наоборот, как плотно окружает кольцо жизни Божью тварь; она идет без страха и горьких знаний к распаду — и даже глазница смерти не пугает ее. Только человек ощущает бренность; не оттого ли он стоит особняком других явлений и не может с ними соединиться? О, ирония познания — она делает тебя еще более одиноким…

Моль высунула усики из тени черепа. Она взлетела и снова начала кружить вокруг огня; рука больше не преследовала ее… От окон потянуло ветерком, вдали прогрохотал поезд…

(1924)

Самые читаемые авторы

I

Ни о ком не сочиняют таких загадочных легенд, касающихся личной жизни и материального благосостояния, как о литераторах. Если подающий надежды отпрыск приносит из школы несколько хороших отметок за сочинения, то склонная к фантазиям мамаша уже мечтает о том, как он станет поэтом, и воображает белые виллы на берегах синих южных морей, тенистые парки, высокоскоростные роскошные лимузины с новыми, шуршащими по гравию шинами и элегантные яхты, — результаты «сочинительства», до которых «дописался» сын. Обычно более практичный папаша, наоборот, бурчит что-то о нищих поэтах и о профессиях, которые никого не прокормят. Правда, как всегда, лежит посредине. Странная вещь — успех писателя; его невозможно вычислить или предсказать. Есть превосходные авторы, чьи имена произносят с огромным уважением, о которых пишут в блестящих критических статьях, — но их труды выдерживают всего лишь два-три, максимум пять тиражей. Тиражи произведений других авторов, сюжетную небрежность которых можно распознать уже по первым трем страницам, за несколько месяцев достигают ста тысяч экземпляров. При этом распространенное среди пессимистов мнение, будто большие тиражи свидетельствуют о плохом качестве, абсолютно ошибочно. Последний роман Герхарта Гауптмана в три месяца перевалил за семьдесят пять тысяч — цифру, за которой не угнаться невероятно популярным книгам, например книгам противоположности Гауптмана — Куртс-Малер, романы которой плодятся как кролики в огромных количествах, перебивая друг друга. Однако ни одну пьесу Гауптмана не ставят так часто, как непотопляемый «Старый Гейдельберг» Мейера-Фёрстера[57]. Ганс Гейнц Эверс[58] со своей «Мандрагорой» достиг рекордных тиражей; но если из-за этого вы решили, что только развлекательные, фантастические и экзотические романы имеют успех у публики, то вспомните о массовых продажах крайне ученого, толстого произведения, которому ни один человек не предсказал бы такого успеха: «Заката Европы» Шпенглера. Или приведем пример из другого жанра: нежная лирика индийского мудреца Тагора также выходила огромными тиражами. Как мы водим, у успеха нет общего знаменателя. Влияет слишком много различных обстоятельств; бывает, что автор пишет несколько

произведений, которые остаются совершенно незамеченными, а следующее неожиданно «попадает в яблочко», хотя оно вовсе не лучше предыдущих. К успеху стремится каждый, кто всерьез относится к работе; любой автор хочет, чтобы его читали. А тому, кто притворяется, будто ему нет дела до «глупой» публики, не стоит даже напоминать басню про лису и виноград, лучше сразу рассказать ему о Шопенгауэре, философе, который презирал мир и людей и в шести томах доказал ничтожность бытия, но тем не менее так хотел успеха, что собирал газетные вырезки даже с самыми бессмысленными статьями, где речь шла о нем, и лично благодарил авторов.

II

Вероятно, ни о ком не спорят так горячо, как о писательнице Гедвиге Куртс-Малер. Во всяком случае, среди женщин-авторов она действительно самая удачливая. К ней, как к последовательнице Вернер, Геймбург и Марлитт[59], много придираются, но еще больше ею восхищаются. Круг ее читателей неограничен. Ее книги можно найти и во дворце, и в хижине, а тиражи в полмиллиона для нее не редкость. Да, странная штука — успех писателя, а вкусы толпы никогда не могут служить мерилом качества.

Большинству ведущих литераторов нашего времени далеко до тиражей романов Куртс-Малер, хотя в художественном отношении они стоят неизмеримо выше нее. Недавно отпечатаны 159 тысяч экземпляров двухтомного романа Томаса Манна «Будденброки». Сейчас печатается 50 тысяч экземпляров его последнего романа «Волшебная гора», впервые появившегося на Рождество 1924 года. Артур Флёснер написал в честь пятидесятилетия писателя его литературно-критическую биографию, содержащую много интересных зарисовок из частной жизни Томаса Манна.

Только что вышло самое известное произведение Берн-харда Келлермана «Туннель» тиражом 243 тысячи экземпляров. Его последняя работа — историческая драма «Анабаптиста из Мюнстера».

Автор «Человечка с гусями» (280000) и «Кристиана Ваншаффе» (51000) Якоб Вассерман[60] может считать успехом своей жизни известную серию тропических романов. В рамках этой серии появилась его последняя книга «Фабер, или Потерянные годы», вышедшая уже 30-тысячным тиражом.

Тираж последнего романа Гауптмана «Остров великой

матери» превысил за несколько месяцев семьдесят пять тысяч экземпляров — успех, причины которого объясняются, вероятно, не столько достоинствами книги, сколько — и в гораздо большей степени — популярностью Гауптмана, который и за границей считается величайшим из живущих немецких писателей.

Похожей славой пользуется Бернард Шоу, седовласый английский писатель, чье имя известно далеко за пределами его родины. Благодаря его последней драме «Святая Иоанна» он имеет особый авторитет в театрах всего мира, авторитет, который неуклонно растет. Только в Германии издание этой пьесы вышло тиражом шестьдесят тысяч.

Господин фон Эстерен снова привлек к себе пристальное внимание общественности. Его новый роман «Жизнь продолжается» предназначен широкой публике. До этого самым популярным его произведением был «Христос не Иисус» — иезуитский роман, посвященный власти и мудрости всемирного ордена иезуитов.

Законы, которым подчиняется вкус публики, постичь невозможно. Дорогие книги, такие, как «Закат Европы» Шпенглера, выдержали, несмотря на их строгую научность, тиражи в сто тысяч экземпляров и выше. Другие, вопреки их художественной ценности, обречены на успех только в узком кругу. Чаще всего это объясняется не качеством книг, а размахом рекламы, способной обеспечить миллионные тиражи, которых так страстно желают авторы. Ни в одной стране мира не читают так много, как в Германии, и ни в одной стране литераторов не почитают так, как в «стране поэтов и мыслителей». Иностранные сатирики часто иронизируют по этому поводу, помещая в юмористических журналах карикатуры, на которых немцы изображаются с огромными лысинами, в очках и с толстенными книгами в руках. Но мы гордимся этим духовным богатством, ведь оно помогает нам переживать экономические трудности, потому что хорошая книга — надежный друг, способный утешить и увести нас в мир фантазии, помочь нам хотя бы ненадолго отвлечься от тягот повседневной жизни.

(1925)

Из истории женских журналов

Годовые подшивки первого женского журнала, появившегося в Германии, сохранились лишь в нескольких экземплярах в некоторых государственных библиотеках. Но маленький томик, содержание которого в начале XVIII века волновало умы, как мужские, так и женские, горько разочаровал бы современную читательницу: ей было бы трудно поверить, что это — действительно женский журнал, потому что сегодня публика привыкла к большому формату многочисленным иллюстрациям, вообще к более привлекательному, приятному внешнему виду, нежели чем у «Благоразумных порицательниц», которых издавал Готшед[61]. Только спустя примерно пятьдесят лет, когда журнал уже давно прекратил свое существование, у Готшеда появился конкурент в лице писателя из Страсбурга Иоганна Раугенштрауха, который начал издавать в Вене женский журнал под названием «Что думает Бабета». Профессор из Лейпцига стоял на значительно более высоком духовном уровне, чем его последователь, который в своем издании основное внимание уделял практическим вопросам, Готшеда же больше интересовала этика. Для него самым святым было духовное развитие и воспитание женщину а Раутенштраух, скорее всего, просто стремился к сенсациям, желая любой ценой сделать свой журнал самым популярным. Готшеда можно считать основателем женского движения, я он, безусловно, достиг бы со своим журналом гораздо большего и продолжительного успеха, если бы в его штате имелись сотрудницы-женщины. Но этого не произошло, да и не могло произойти, потому что женщины-журналистки в большом количестве появились только в конце века. Все, что печаталось в «Благоразумных порицательницах», писал сам магистр Готшед под различными псевдонимами. Когда в конце концов читательницы открыли эту тайну, они были очень раздосадованы. Вероятно, из-за этого журнал и просуществовал всего два года. Издание Иоганна Раутенштрауха страдало тем же пороком: он не писал, например, о моде, потому что ему, как мужчине, это было неинтересно, но женщины и в то время стремились найти в журнале именно такой раздел. Если Готшед стремился воспитывать читательниц и даже обсуждал возможность обучения женщин в университетах, то Раутенштраух удовлетворял потребности женщин в развлекательном чтении. Однако венских красавиц не очень интересовало, что думает Бабета.

В начале XIX века в Германии уже появились талантливые

поэтессы и писательницы, которые достаточно активно сотрудничали в журналах, календарях и альманахах; были даже женские журналы, издателями и редакторами которых были женщины, правда, большого успеха они не добились. Иоганна Шопенгауэр[62], вероятно, самая талантливая писательница своего времени, в декабре 1821 года ответила на предложение некоего тайного советника, пожелавшего остаться неизвестным, возглавить редакцию нового журнала для женщин, издание которого, однако, не осуществилось. Рассуждения Иоганны Шопенгауэр по этому поводу представляют собой литературно-исторический документ. Она оценивает этот проект достаточно скептически и негативно. Во-первых, она решительно против того, что так называемым «многообещающим дарованиям среди девиц и женщин будет легче пробиться на литературную арену» благодаря собственному журналу. «И поверьте мне, существование нашего журнала будет невозможным, если все сотрудники будут женщинами и если мы будем заниматься только поучением женщин». Она напоминает тайному советнику о быстро почивших изданиях, таких, как, например, журналы «О женщинах и для женщин» или издававшаяся Гельминой фон Чеци «Идуна»[63].

В бурные сороковые годы XIX столетия Луизе Отто-Петерс[64] издавала свой журнал «Я призываю женщин в царство свободы», который, несмотря на высокий духовный уровень, не смог продержаться долго. Луизе Отто-Петерс вступила в конфликт с властями. Позднее она стала сотрудницей «Беседки», но Эрнст Кайль тогда поставил условие, чтобы она взяла мужской псевдоним, «ибо не принято, чтобы женщины писали на такие темы, какие она выбирает».

За сто лет до этого магистру Готшеду приходилось выдумывать себе женские псевдонимы, потому что у него не было сотрудниц-женщин, а он писал о том, о чем читательницы хотели узнать только от женщин.

Времена меняются, и мы вместе с ними!

(1925)

Женщины — авторы путевых заметок

Странно, почти необъяснимо, что в Германии всегда было очень немного женщин, стремящихся записать и опубликовать впечатления, собранные в путешествиях. Скончавшаяся несколько лет назад принцесса Тереза Баварская оставила интересные путевые записки, саксонская принцесса Матильда также трудилась в этой области, но даже среди профессионально пишущих женщин в Германии лишь немногие публиковали путевые заметки. И сто лет тому назад картина была такой же. У отважных и склонных к приключениям англичанок, например, у мадам де Сталь, не было последовательниц. Иоганна Шопенгауэр, которая ровно сто лет тому назад решилась опубликовать свои впечатления, собранные во время поездки в Шотландию и Англию, была для своего времени исключением, получившим, однако, должное признание. Во всех работах по истории литературы нового времени ее романы и прочие произведения называют устаревшими, и до определенной степени, если говорить о форме и стиле, это, пожалуй, так и есть. И все-таки они незаслуженно преданы забвению, потому что многое из того, что писала остроумная проницательная женщина сто лет назад, зачастую и сегодня остается актуальным. С другой стороны, вдвойне интересно читать о том, что тогда происходило в различных областях жизнедеятельности, и сравнивать прошлое с современностью. Путевые записи Иоганны Шопенгауэр, разумеется, несоизмеримы с заметками ее большого друга Гёте, гениальность которого выражалась даже в суждениях о мелочах, но ее впечатления, занимательно и живо написанные, наполнены легким юмором и достаточно глубоки. Она очень скромно замечает в предисловии к трем томикам, посвященным Шотландии и Англии: «Они содержат простые рассказы женщины о том, что она видела и наблюдала в мире. Я посвящаю свою книгу прежде всего немецкой женщине, потому что очень хорошо знаю — мужчины едва ли заинтересуются тем, как я вижу мир».

Где бы Иоганна Шопенгауэр ни была, она везде оставалась немкой: всегда радовалась, если ей удавалось ощутить преимущества Германии перед другими странами. Ничто не ускользало от ее острого наблюдательного взгляда. И для всего она находила меткое слово, верное суждение — писала ли она о женщинах, образе жизни в стране или об искусстве, музеях и галереях. Даже сегодня, читая строки пожелтевших книг, чувствуешь жажду путешествий и воодушевление их автора, хотя приключения, которым она себя подвергала, не всегда были

приятны. Очень образно изображает Иоганна Шопенгауэр переезд из Кале в Дувр за несколько часов до начала франко-английской войны. Невольно вспоминаешь схожие события недавнего времени, особенно при описании неприятных сцен паспортного контроля и таможенной проверки багажа. Хотя она отмечает: «Нам, немцам, в муниципалитете вскоре очень вежливо поставили отметки в паспортах», но от этого ужас темного пути в гавань, когда она и ее попутчики едва ли ползли по узким проходам грузового порта, ничуть не уменьшился. К тому же там царила тьма египетская, и слуги потеряли часть доверенного им багажа. Когда путники поднялись на борт, выяснилось, что лучшие места уже заняты. Пришлось расположиться на полу, укутавшись в пальто и шали. Пришли таможенники и обыскали все, даже мужские бумажники и дамские сумки для рукоделия, потому что предполагали, что в них находятся запечатанные письма. Наконец появился капитан и записал имена всех пассажиров независимо от пола и сословия, а потом потребовал две гинеи за проезд, хотя уговаривались только об одной. Толкотня, крики и давка на пароходе, судя по описанию автора, были невероятными.

Но вдруг в дверях каюты появился один из ехавших с ними английских джентльменов и сообщил, что объявлена война, что все они теперь военнопленные и что к ним уже идет французский фрегат. Началась ужасная паника. Все плакали. Вскоре выяснилось, что это ошибка, а французский фрегат — недоразумение, но пассажирам-англичанам все-таки пришлось пересесть на другой пароход, и капитан воспользовался этим, чтобы заставить платить во второй раз.

Здесь Иоганна Шопенгауэр не может удержаться от язвительного замечания в конце главы: на следующий день мы «счастливо» прибыли в Лондон.

Особое внимание она уделяет английским курортам. В Чатсворте она посещает комнату, в которой жила Мария Стюарт, и покидает ее «занятая мыслями о судьбе Марии и переполненная гордостью за нашего Шиллера, превзошедшего британцев и создавшего самый прекрасный памятник в ее честь».

В предисловии к роману «Габриэла» Иоганна Шопенгауэр так реагирует на успех своих путевых заметок: «Хороший прием, который был оказан описанию моих путешествий по некоторым городам и странам, придал мне мужества и дал возможность выступить с некоторыми размышлениями, накопившимися за время долгого путешествия по жизни».

В этом романе описываются английские приключения, очень подробно изображаются популярные на английских курортах

«церемониймейстеры», которых мы сегодня называем смотрителями водолечебницы и которых ей очень недоставало в Карлсбаде; здесь же она высказывает довольно любопытные мысли об обычае ездить на воды, возникшем более ста лет тому назад. Раньше поездка на воды была большим событием, которое расценивали как последнюю возможность вылечиться, даже рекомендация врача отправиться туда звучала для большинства больных как смертный приговор. Она отрицательно высказывается о хвалебных статьях в журналах и рекламных описаниях курортов, которые заставляли ожидать от лечебницы больше, чем она могла предложить.

Иоганна Шопенгауэр была критически настроена уже в те времена, когда развитие курортов еще только начиналось, но и сегодня ее работы вовсе не столь устарели, как нас хотят убедить историки литературы, и стоят внимательного прочтения.

(1926)

Счастье стальных коней

Когда небо висит над миром, подобно блестящему колоколу из ляпис-лазури, а горизонт; зовущий и манящий, притаился за лесами и горными хребтами, тогда даже мотор на шумных магистралях звучит иначе: он урчит и бурчит, ворчит и фыркает, как недовольная кошка, а когда выпрыгиваешь из автомобиля, чтобы окунуться в повседневную рутину, с номерного знака тебе подмигивает буква «D» — международный код, он задерживает на себе внимание и вызывает в воображении далекие картины: широкие голландские улицы посреди огромных, насколько хватает глаз, полей с тюльпанами и захватывающее дух светлое море на горизонте… Опасные альпийские перевалы, где в нескольких шагах от автомобиля разверзаются пропасти, и снежные вершины гор, словно вычерченные серебряным карандашом на побледневшем небе… Теплые, темно-коричневые краски Умбрийской низменности, на фоне которой автомобиль с хорошо отрегулированным мотором медленно въезжает в пронизанный звуками колоколов итальянский вечер…

Эти картины прочно заседают в голове, упрямо, настойчиво, непреодолимо, до тех пор пока ты наконец не достанешь тяжелые кожаные чемоданы и не приладишь их к багажнику, тщательно осмотрев и дополнив дорожный костюм, и не отправишься в путь, чтобы снова увидеть мир, по которому помчатся шестьдесят гулких лошадиных сил.

Одежде надо уделить большое внимание. Путешествие на автомобиле предъявляет к ней особые требования: необходим специальный костюм.

Странный парадокс: именно эта техника, которую еще и сейчас сентиментальные люди считают слишком прозаичной для поэтов, внесла в путешествия новую романтику, совершеннее которой нельзя себе даже представить.

Железная дорога — только средство передвижения; путешествовать в полном смысле этого слова по ней невозможно. Путешествовать — Значит бродить по стране, полностью подчинившись своим вкусам, склонностям, настроениям, капризам и окружающим пейзажам.

А вот автомобиль — транспортное средство, дающее разнообразные впечатления от поездки. Он освобождает, позволяет легкомысленно бродяжничать, поддаваясь очарованию непосредственности, радуясь неожиданностям, погружаясь в атмосферу приключений. Отправляешься в путь когда захочешь, останавливаешься и задерживаешься где хочешь, мчишь или едва

плетешься — как хочешь, можно поддаться любой прихоти, строгих ограничений не существует, не надо торопиться или ждать пересадки, можно — о, чудо! — просто ехать куда глаза глядят, руководствуясь в выборе маршрута лишь собственным настроением. Ни о чем не надо заботиться: заправиться можно в любой крохотной деревушке, комнату можно найти повсюду, но даже и об этом не стоит беспокоиться, если взять с собой палатку и кочевать, как индейцы, о которых ты бредил мальчишкой. Как пикантно соседствует покой, разлитый в природе, с рафинированными звуками саксофона из нашей болезненной цивилизации, которые привносит в эту идиллию быстро установленная на автомобиле антенна! А ты, сидя вечерком у озера, жаришь на костре только что выловленную рыбу, прихлебываешь гороховый суп, а потом устраиваешь в палатке постель из соломы — все восхитительно, примитивно и безыскусно!

Большой запас хода делает автомобиль идеальным транспортным средством для человека нашего времени, который вынужден быть быстрее, собраннее, зорче и наблюдательней, чем прежние поколения. Благодаря контрастам и быстрому развитию автомобиля наметился подъем, немыслимый для любого другого транспорта. Ранним утром автомобиль уже скользит по ухабистым дорогам маленького городка, и ты — в нем, а не в купе на железнодорожной насыпи; часом позже ты уже сможешь послушать жужжание пчел на лугу, залитом солнцем, и тебе покажется, будто весь мир превратился в бесконечную поляну; а в полдень ты будешь лакомиться изысканными деликатесами в фешенебельном «люксе» на изысканном курорте; днем ты сможешь остановиться у озера, чтобы искупаться, а вечером твой автомобиль отправится с корсо на пляже в темноту лесных дорог, словно доисторическое сказочное насекомое со светящимися щупальцами фар, разгоняющими тени. Пейзажи во всем своем многообразии остаются позади, сливаясь в сказочную мозаику и превращаясь в фантастический вихрь, а когда колеса начинают крутиться быстрее и стрелка тахометра оживает, мир проносится вдоль белого полотна дороги, словно быстро крутящаяся кинопленка.

(1925)

Авус[65] и азарт гонки

Жужжание, кружение и разноцветный калейдоскоп трибун, переполненных людьми, резко замирают, рождая дрожащее напряжение; сосредоточенное молчание: все смотрят на длинный ряд блестящих машин, перед которым мед-ленно-медленно поднимается рука с флажком, — и наконец освобождает их, опустившись со свистом и превратив тишину, словно волшебная палочка, в рычащую битву моторов, уносящихся на бешеной скорости по серой ленте шоссе. Но уже спустя несколько минут тяжелые машины снова приближаются; пригнувшись, сливаясь с хаосом никеля, рычагов и выхлопов, нависают сгорбленные фигуры гонщиков над рулями, блестящими, словно серебристые рога сказочных животных; группа гонщиков растянулась: один оторвался на несколько метров, остальные мчатся следом, как стая волков, и на полном газу входят в вираж, так что колеса, пытаясь сопротивляться законам притяжения и падения, оказываются в невероятном, диагональном положении, от которого захватывает дух. Но Авус становится свидетелем рекордов скорости не только в дни больших спортивных состязаний. Желание устроить маленькую приватную гонку охватывает каждого водителя, как только он попадает на Авус. Едва оставив за спиной арку ворот, водитель устраивается поудобнее в седле мотоцикла или на водительском кресле автомобиля, еще раз быстро проверяет дроссельный рычаг, сцепление и тормоза, бросает любовный взгляд на тахометр, стрелка которого пока что, играя, покачивается где-то внизу в диапазоне скорости, разрешенной властями, поправляет кепку, шлем, очки, затем дает газ и мчится вперед. Его так легко понять, этого любителя-автогонщика, — кто может устоять перед искушением наконец-то проехаться по трассе, позволяющей выжать максимальную скорость из автомобиля или мотоцикла? Даже самое гладкое шоссе имеет столько неровностей, не говоря уж о выбоинах, которые встречаются на каждом метре, что почти невозможно и уж во всяком случае вредно для машины использовать ее мощность больше, чем на пятьдесят — семьдесят процентов. А летний Авус представляет собой по утрам и вечерам маленькую тренировочную трассу, на которой не только профессиональные гонщики с блокнотом на соседнем сиденье делают круг за кругом, но и любители могут проехаться наперегонки с ветром, чтобы пейзаж замелькал за окнами автомобиля, будто ты летишь на обезумевшей карусели, и полностью отдаться своей страсти, хоть раз загнав стрелку за

мистическую отметку в сто километров, не опасаясь штрафа.

(1925)

Только не на своих двоих!

«Автомечты» современного человека

Тридцать лет назад — всеобщее посмешище, неисчерпаемый кладезь шуток для сатирических журналов и карикатур, повод покачать головой для каждого «благоразумного» человека; двадцать лет назад — дышащее огнем, требующее ремонта, легко взрывающееся чудовище, грохот которого распугивал деревенских детишек и которое нуждалось в передвижной мастерской; пять лет назад — любимая собственность валютных спекулянтов и удобная мишень для метких высказываний левых интеллектуалов; а сегодня — огромная сила, чародей, цель, к которой страстно стремится каждый: автомобиль.

«Только не на своих двоих!» — вот девиз жителей современного крупного города. Эта история началась с велосипеда. Но передвижение за счет собственной силы скоро вышло из мода, хотя некоторым оно было бы очень полезно. Эта странная штука — таинственный мотор — околдовала всех; люди не могли успокоиться до тех пор, пока у них не появлялась возможность жонглировать загадочными терминами: «лошадиная сила», «цилиндры», «ход поршня» и «тормоза».

Находчивые сделали из нужды добродетель. Они изобрели для тех, кто не мог себе позволить автомобиль, вспомогательный мотор, который можно прикрепить к любому велосипеду. Тут-то и началось! В воспоминаниях невольно всплывают идиллические картины детства: вот велосипедик с навесным мотором, пыхтя, сопя, постанывая, с тяжкими, ужасно тяжкими постреливающими выхлопами движется по улице со скоростью пешехода, оседланный солидным стокилограммовым мужчиной, который воинственно смотрит вдаль и сидит на несчастном кашляющем велосипеде в такой спортивной, напряженной позе, словно мчится по решающему кругу на гонках за Большой приз города Монца[66] со скоростью сто пятьдесят километров в час.

Неудивительно, что под тяжестью такой огромной жировой массы, смутно напоминающей человеческое тело, несчастный стальной скелет ожидает жалкая участь и он очень скоро испустит свой последний бензиновый вздох.

Но главное — внешний вид! Он — все! Именно у мотоциклистов! Еще до экзамена перед взыскательной комиссией приобретается костюм. Даже зеркала в магазинах смеются, когда молодой человек рассматривает, словно павлин, свою от природы

не слишком щедро одаренную фигуру, облаченную в изысканно топорщащуюся кожаную куртку последнего фасона, а огромная кепка с застежками, ремнями, наушниками, пуговицами, кожаными завязочками и, если возможно, еще и с вмонтированными полевым биноклем и счетчиком пробега украшает приятное туповатое лицо с мелким чертами, и только уникальные по величине уши кокетливо торчат из-под нее; телесная пышность спутницы заполняет тем временем огромные клетчатые бриджи. Это неписаный закон: чем пышнее округлости, тем больше их обладательницам хочется надеть бриджи! Пусть только посмеют сказать, что бриджи хорошо смотрятся лишь на стройных, а для полных женщин больше подходят практичные спортивные брюки, — подите прочь, искусители! Мы спортсмены или нет? Значит, бриджи, даже если придется купить еще и специальный корсет, чтобы бестолковые швы коварно не разошлись.

А теперь за дело! Давай сюда мотоцикл! Он, конечно, немного легковат и предназначен только для одного пассажира, но зато наверняка иногда проезжает больше двадцати пяти километров. А если ехать вдвоем — получится больше пятидесяти. Поэтому давай, залезай в запутанные иероглифы пуловера с красивым египетским рисунком, натягивай гетры на икры, перепоясывай чресла поясом кожаной куртки, натягивай большие, достающие до лопаток, перчатки с отворотами, обматывай бесконечный шарф вокруг горла, нахлобучивай защитный шлем, напяливай очки от солнца — и в путь, мчись вперед на полутора лошадиных силах!

Стоп, погодите! Наш герой забыл включить зажигание и теперь будет возиться со стартером, яростно приседая, проклиная низкое качество промышленности, пока не заметит своей оплошности, — а скорее, пока кто-нибудь из собравшейся вокруг злорадной ребятни (они ведь все давно специалисты) под аплодисменты многочисленной публики не скажет ему об этом.

Осрамившись до мозга своих автолюбительских костей, он в спешке покидает место позора. Но вскоре настроение снова поднимается — разве он не выгладит шикарно, современно, элегантно, спортивно? Правда, в костюме жарковато, но что поделать? Это вопрос чести — одеваться для каждой поездки в шерсть и кожу, пусть даже проехать надо от Кайзердамм до Унтер ден Линден, а не до Северного полюса.

Но туда не доехать! Уже на ближайшем перекрестке мотор начинает безжалостно чихать, а выхлопная труба настойчиво греметь. Потом оба перестают работать и встречают пассивным, но упрямым сопротивлением все попытки привести их в чувство.

Мотоциклист проявил предусмотрительность, залив утром ведро масла, чтобы машина не перегрелась. В результате свечи зажигания замаслились и бастуют. Разумеется, у него с собой есть все, кроме свечей. К тому же сегодня воскресенье… А что свечи можно почистить, он не знает. Ну что ж, снова старая песня на новый лад: «Тяни, пока тянуть ты можешь…»

Но, кроме мотоциклистов-«спортсменов», существует еще один тип — мотоциклист-«денди» и «леди-пассажирка». Денди ездит только в белых замшевых перчатках; кепку он всегда надевает козырьком на затылок. Как продуман, элегантен, изыскан жест, которым он дает знать, что собирается свернуть! Восторг! Иногда он ездит и без рук, но только если есть зрители. Его машина, разумеется, первого класса! «Леди» блистает самыми что ни есть шелковыми чулками; прямо-таки ультрашелковые чудо-паутинки, которые она, упаси бог, и не пытается скрыть. А к ним в придачу — не туфли, а произведение искусства с почти трансцендентальным, вдохновенным силуэтом. Настоящая эстетка, человек настроения, она красится в тон пейзажу и поэтому, учитывая изменчивый характер природы в окрестностях Берлина, у нее всегда полон рот забот. В коляске мотоцикла культура превыше всего!

Но не зря мотор мотоцикла — живое существо! С уравнивающей всех справедливостью он укрощает воображал, изобретательно используя скорость вращения для разбрызгивания масла, оставляющего грязные разводы и пятна на чулках…

Но что мы болтаем об этих мелочах дорожного движения, разве не существует более важных вещей? Разве продавцы не раздаривают автомобили, не разбрасываются ими, не отдают их даром в рассрочку с выплатами почти по марке пятьдесят? Продавец убедительно докажет это. Итак, берем, так уж и быть, вот тот шестиместный автомобиль с мотором в сто сорок лошадиных сил, ей-богу, только чтобы сделать продавцу одолжение…

Самое важное, разумеется, — цвет и клаксон. Если у автомобиля нужный, подходящий к спортивному костюму цвет, он — это совершенно ясно — будет хорошо ездить, так думает супруга. А чем громче сигнал клаксона, тем надежнее кажется автомобиль. Тормоз на четырех колесах подразумевается без слов; госпожа Нувориш требует даже для запасного колеса специальный запасной тормоз… Осторожность прежде всего.

Но тут вступает муж; его неодобрительный взгляд падает на приборную панель: «Да на ней ничего нет». Он оскорблен в лучших чувствах: нашпигованная приборами панель — свидетельство компетентности, необходимое для любого

честолюбивого водителя. Она должна выглядеть как центральный пост огромного вокзала; и чем меньше автомобиль, тем больше должно быть манометров, тахометров, часов, рычажков, переключателей, контрольных аппаратов и тысяч других штук. Даже если большинство из них не нужно или не работает — все равно не помешает и выгладит восхитительно серьезно, а это главное! Особенно по вечерам, когда приборная панель светится магическим синим или зеленым цветом, — она вызывает восхищение любого дилетанта.

У автомобиля есть неоценимое преимущество перед мотоциклом: его труднее опрокинуть. А значит, в нем можно беззаботно катиться куда угодно. Самое мерзкое, что поначалу дороги кажутся слишком узкими. Кроме того, ремонтная мастерская всегда оказывается не там, где случается авария, а примерно в двадцати километрах от этого места. Но ничего, можно попросить, чтобы вас отбуксировали. Проголосовать попутному автомобилю, два пальца к козырьку:

— Друг-водитель, у меня авария…

Вытаскиваешь трос, и вперед. Правда, когда потом выясняется, что вся авария — соринка в карбюраторе, которую очень просто было удалить, продув его, совершенно непонятно, почему «друг-водитель» так страшно ругается, а мастер смеется до упаду над «воскресным автомобилистом». Да и кто может разобраться во всех этих мелочах…

Самый излюбленный вид спорта — охота на дичь для воскресного жаркого с использованием автомобиля; предпочтение отдается птице. Затем, само собой разумеется, благополучное возвращение в спящий город должным образом отмечается и доводится до сведения соседей оглушительными гудками. Долой старомодную тактичность!..

Можно рассказать еще и о другом: о водителях, которым необходимо обогнать любой автомобиль, оказавшийся впереди, до тех пор пока они однажды не испытают свою машину на прочность при столкновении с деревом; о водителях, которые называют автомобили всех марок, кроме той, на которой ездят сами, «жалкими швейными машинками»; о «семейных экипажах», о пикниках за городом, о замечательных поездках на уик-энд к озерам в окрестностях Бранденбурга, о незабываемых днях и часах…

Но тут мы уже попадаем в область мечтаний!.. Будь что будет — и даже если у нас всего лишь древнее, жалкое корыто, над которым все смеются — пусть себе смеются, — главное, оно ездит Будь то роскошный автомобиль с мотором в сто двадцать лошадиных сил или хилая колымага с одноцилиндровым

двигателем в две лошадиных силы, — каждому приятно быть своей собственной железной дорогой, составлять расписание в соответствии со своим настроением и делать остановки в этом прекрасном мире там, где нравится именно ему!

(1925)

Дорожное движение в большом городе

По блестящему, как зеркало, асфальту несется невероятное количество сверкающих лимузинов, приземистых спортивных автомобилей, грохочущих мотоциклов, гремящих грузовиков; они обгоняют друг друга, сигналят, скапливаются и разъезжаются бесконечными потоками; вдруг посреди этой сумятицы поднимается рука регулировщика, и, как по волшебству, замирает мчащаяся кинопленка шоссе, длинные ряды машин останавливаются как вкопанные, автоколонны замирают на полпути, словно очутились в поле действия невидимых сил, шум стихает, замолкает концерт гудков, только тихо жужжат фыркающие моторы — и по узкой тропе пешеходы без боязни переходят улицу, защищенные от бурного потока машин, застывшего, как стена из металла, пока рука волшебника не опустится и не возобновится безумная гонка. Еще совсем недавно — немногим больше двух лет назад — в Германии совсем не знали, что такое регулировщик, а сегодня он самый необходимый участник уличного движения. Поэтому ему надо уделять как можно больше внимания. Чтобы его жесты были видны как можно дальше, на всех основных перекрестках Нью-Йорка, города с образцовым уличным движением, установлены специальные башни, из которых регулировщики с помощью световых сигналов руководят уличным движением. Башни на площадях оказались непригодными — требуется слишком много времени, чтобы оттуда наблюдать за всеми потоками машин… Уже было несколько случаев, когда ночью и в туман машины сбивали стоявших на перекрестке регулировщиков. Их пытаются выделить также при помощи различных атрибутов униформы: белых кепок, белых плащей и белых перчаток со специальными устройствами, подающими световые сигналы. Очень опасные места — трамвайные и автобусные остановки, которые в Берлине недавно оградили яркими столбиками. В последнее время предприняты многочисленные попытки по обеспечению безопасности движения. Как важно найти удовлетворительное решение этой проблемы, доказывает тот факт, что масштабные мероприятия позволили, например, в Нью-Йорке за последние пять лет снизить количество несчастных случаев на дорогах на сорок процентов.

100 километров!

Хроника автокатастроф

Было лето 1925 года. Уже больше недели мы ездили на нашем автомобиле по Германии. Вообще-то мы хотели за два дня добраться от Берлина до голландской границы, но в пути поняли, как замечательно ехать без цели куда глаза глядят, и начали бродяжничать; каждое утро, упаковывая чемоданы, мы не знали, где на исходе дня найдут приют наши шестьдесят лошадей. Современная романтика автодорог вдохновляла нас на такие фантастические импровизации, на какие обычно способна только юность… Мы ночевали в сонных деревушках и просыпались по утрам от криков петухов и пения ласточек, мы пили парное молоко, испытывая буколическое чувство близости к родной земле… Мы заигрывали с девушками, восхваляли сельскую жизнь и клялись никогда больше не возвращаться в город, — но уже через несколько часов сидели на террасе фешенебельного отеля «люкс» на каком-нибудь курорте, а после обеда снова лежали посреди тихого луга и слушали жужжание пчел… Но самыми прекрасными были поездки в темноте, когда огни фар, как белые охотничьи собаки, неслись перед нами…

Потом нога медленно надавливала на педаль газа, руки крепче сжимали руль, и мы, как настороженные кошки с жадно раскрытыми глазами, придвигались ближе друг к другу; стрелка тахометра, дрожа, ползла все дальше и дальше вправо, рычание мотора превращалось в ликующее пение — и наш автомобиль, опьяненный скоростью, мчался сквозь синюю ночь, подобно бледному привидению…

Тут шоссе сделало поворот и побежало вдоль железнодорожной насыпи. Рельсы блестели в лунном свете, а в нескольких сотнях метров от нас мелькали яркие хвостовые огни поезда.

Нас охватило честолюбие. Мы должны были догнать поезд! Мы двигались все быстрей и быстрей, пока наконец не поравнялись с ним. Началась гонка гигантов. Мы выжали полный газ и постепенно обгоняли. Неожиданно насыпь стала ниже, фары осветили поворот, ограду — сразу же за поворотом шоссе пересекало железнодорожные пути, столкновение казалось неизбежным, но тормоза, установленные на всех четырех колесах, в последний момент развернули автомобиль поперек шоссе — в поле, колеса забуксовали, он опрокинулся, и мы вылетели на

землю; но машина больше не перевернулась и не повредила нас…

Несколько ушибов, несколько растяжений, бледные лица — но мы остались целы. Автомобиль сильно пострадал: грязезащитные крылья оторваны, одно колесо отвалилось, ось сломалась, радиатор разбит… Это было не так уж и страшно — страховка должна покрыть ремонт… Но мы поклялись никогда больше не устраивать гонок на незнакомых дорогах!..

Роковая цифра «100» на тахометре имеет магическую силу. Пятьдесят процентов несчастных случаев происходит именно по ее вине. Обычное, почти ежедневное газетное сообщение: «Вчера у автомобиля господина Икс отказало управление, он врезался в дерево и полностью разбился. Пассажиры… и т. д.» — полная чушь в части объяснения причин. «Отказ управления» или, как пишут более посвященные репортеры «поломка рычага управления» — один из самых редких дефектов в автомобиле. Он существует исключительно в воображении репортеров, так что в ответ на любое из многочисленных сообщений подобного рода можно, спокойно ухмыляясь, покачать головой и подумать: «Мне бы заботы этого репортера, который наверняка еще ни разу в жизни не сидел за рулем…»

Современные автомобили надежны в эксплуатации. Из ста несчастных случаев на дорогах по меньшей мере девяносто девять происходят по вине водителя. Отказывает не автомобиль, а водитель, который не знает в точности, чего он может ожидать от своей машины. Конечно, при этом мы не говорим о неизбежных несчастных случаях, которые могут произойти даже с превосходным водителем. Если огромный дог неожиданно выскакивает из подъезда дома под колеса, тут и самый надежный водитель может оказаться в кювете. А если какой-нибудь пешеход пытается в последний момент проскочить прямо перед автомобилем и приходится очень резко тормозить, то всегда велика вероятность, что ты стукнешься головой о лобовое стекло и будешь выглядеть так, словно участвовал в тяжелом поединке.

Езда по шоссе — наука, изучение которой не заканчивается при выдаче официального удостоверения в полицейском участке. Наоборот, тут-то все и начинается.

Глубокое заблуждение любого начинающего водителя — уверенность, что в городской сутолоке ездить труднее, чем на шоссе. В городе ты связан лимитом скорости, обеспечивающим в случае опасности относительно короткий тормозной путь. Сложно ездить только в сырую погоду, потому что тогда автомобиль может потерять равновесие и его начнет заносить. Такое скольжение по мокрому асфальту может стоить колеса или оси, если автомобиль врезался в фонарный столб или в дерево.

На оживленных улицах это часто приводит к столкновению с другими автомобилями, которые особенно опасны для пассажиров лимузина, потому что обычно сразу же разбиваются стекла. Поворачивая на мокром асфальте, вообще нельзя быть достаточно осторожным…

Несчастные случаи со смертельным исходом происходят в основном на загородных шоссе. Автомобилю, едущему со скоростью сто километров в час, даже при самом резком торможении нужно еще не менее пятидесяти метров пробега, прежде чем он остановится. А теперь представьте себе — и такое случается часто — шлагбаум сразу за неожиданным поворотом или перекрытую дорогу, неосвещенную крестьянскую повозку или велосипедиста, едущего без фонарей не по той стороне улицы — нетрудно вообразить ужасные последствия такого столкновения… Одна из самых частых причин столкновений — обгон на узкой дороге. Есть водители, которые не могут видеть впереди другой автомобиль. На максимальной скорости они устремляются за ним. Но едва второй водитель замечает, что происходит, он сразу пытается вырваться вперед, и начинается маленькая приватная гонка. Если идущий на обгон водитель ошибется всего на десять сантиметров, он попадет левыми колесами на проходящую рядом с шоссе проселочную дорогу, а это — рыхлая земля, и если ему не удается тут же вырулить на твердую почву, то резкое одностороннее торможение опрокидывает и переворачивает автомобиль.

Чем быстрее едет автомобиль, тем сильнее удары, которые он получает из-за неровностей дорожного покрытия и тем большего напряжения требует управление им. Одного мгновения, одного слова, одной секунды ослабленного внимания часто бывает достаточно, чтобы радостная поездка закончилась ужасно.

Известно, что по ночам фары слепят глаза животным и те совершенно неподвижно застывают посреди шоссе. Недалеко от Меппена я однажды заметил примерно в ста метрах от себя темный силуэт, который поначалу принял за тень. На всякий случай я сбавил скорость, потому что совсем не знал этой местности. И правильно сделал, потому что, когда я остановился в десяти метрах от этой тени и вышел, она с громким хрюканьем умчалась прочь: это были три крупных кабана…

Прошлым летом на острове Рюген произошла автокатастрофа со смертельным исходом из-за оленя, который стоял, ослепленный, посреди шоссе. Автомобиль наехал прямо на огромное животное. При ужасном столкновении пассажиров выбросило, причем прямо под опрокинувшийся автомобиль, и все получили смертельные ранения.

Своеобразная авария была у одного из моих друзей, который ехал ночью на маленьком спортивном автомобиле с довольно большой скоростью. Испуганный заяц пытался перебежать через шоссе, столкнулся с автомобилем и ударился о стекло фары, так что и стекло, и лампа разбились. Водитель, который не знал, что произошло, предположил поломку оси, резко затормозил на мокрой дороге, врезался передним колесом в дерево и повредил ось, чего вначале и опасался.

Когда господин Икс, купивший три месяца назад автомобиль или мотоцикл, рассказывает своим друзьям, собравшимся за столиком для постоянных посетителей в кафе и внимающим, открыв рот, его рассказам, что он ехал с максимальной скоростью сто десять километров в час и со средней скоростью восемьдесят, что он пошел на поворот на скорости семьдесят пять километров и т. д. и т. п., можете ухмыльнуться, прикрывшись бокалом пунша, и посмеяться над дилетантами, которые принимают все это за чистую монету. Ничем не хвастаются с большим удовольствием, чем скоростью. Если автомобиль, имеющий максимальную скорость сто двадцать километров в час, едет со средней скоростью шестьдесят, то это уже достижение, достойное уважения. О людях, рассказывающих, что они на длинном отрезке пути выжимали больше, следует сразу же сообщать полиции, это будет лучше всего, потому что в таком случае они наверняка проезжали через деревни и маленькие города слишком быстро и тем самым проявляли неосторожность.

Каждый водитель должен помнить, что только в Берлине за один квартал происходят 3034 несчастных случая на дорогах — то есть каждый день по 34, — и ездить надо крайне осторожно. А каждый пешеход должен отдавать себе отчет в том, что только в Берлине за один квартал происходят 353 столкновения по вине пешеходов, и поэтому он обязан соблюдать хоть какой-то порядок на дорогах.

(1925)

Место для автомобиля

Два последних года принесли с собой бешеное развитие дорожного движения в Германии. В связи с этим обострилась проблема размещения автомобилей. Почти все немецкие города имеют столетние традиции и строились в то время, когда существовали только конные повозки и экипажи. Этим объясняются во-первых, недостаточное развитие транспортного сообщения из-за узких, извилистых улиц, не рассчитанных на автомобили, а во-вторых, отсутствие в центральных жилых кварталах городов места, где можно поставить автомобиль.

Америке в этом отношении легче; там города спроектированы уже в расчете на автомобили. Когда в Америке строится новый населенный пункт, первым делом возводят почтамт, а потом — гараж. На каждой улице есть большие, вместительные гаражи с современными удобствами и — прежде всего — соответствующие требованиям автолюбителей.

В Америке относительно мало таксистов. Там у каждого своя машина. И у нас количество автолюбителей быстро растет. Поэтому надо строить соответствующие гаражи.

Автолюбителю больше всего нравится возможность отдать свою машину в «пансион» при гараже. То есть он требует, чтобы автомобиль был всегда чистым и готовым к эксплуатации; поэтому гараж должен иметь хорошие мойки, собственный штат мойщиков и собственные заправочные установки. Это нетрудно и уже делается во всех крупных гаражах. Но, кроме того, гараж должен иметь или ремонтную мастерскую, или, по меньшей мере, профессионального автомеханика, который регулярно осматривает автомобиль для выявления мелких дефектов, чтобы владелец об этом не волновался. Так как из-за недостатка гаражей водитель часто вынужден оставлять машину довольно далеко от дома, он требует от современного «гаража-пансиона», чтобы за умеренную месячную плату шофер по утрам доставлял автомобиль к дому, а по вечерам забирал его. Это вообще самая основная предпосылка для решения проблемы гаражей, потому что хозяин тогда сможет оставлять свой автомобиль даже в отдаленном от его квартиры гараже, и это не вызовет дополнительных затрат времени. Но это и предпосылка для строительства будущих гаражей. Из-за ограниченности площадей в больших городах рано или поздно придется перейти к строительству многоэтажных гаражей. До сих пор в немецких гаражах были только боксы на уровне земли. Это неэкономично. На той же площади многоэтажный гараж может с удобством

вместить в три или даже в четыре раза больше автомобилей, а потом, в результате увеличения платы за аренду, озаботиться дальнейшим расширением и обустройством. В Америке существует большое количество образцовых конструктивных решений строительства огромных гаражей с большими подъемниками, покатыми въездами и т. д. Там люди вообще изобретательнее, чем у нас. Гаражи, расположенные на плоских крышах больших домов, уже не редкость; подъемники доставляют автомобили вверх и вниз. Многие улицы одновременно служат местами стоянки, причем автомобили стоят не как у нас, параллельно бортику, а наискосок, потому что так может поместиться больше машин. Безусловно, не только в пригородах, но и в деловом центре города можно было бы, благодаря рациональному использованию имеющихся возможностей, с большей выгодой организовывать стоянки, нехватка которых частично связана с недостатком места. Так, некоторые дворы, некоторые широкие проезды могли бы принести владельцу дополнительную ренту, если бы он согласился сдавать их в рабочее время в качестве места для дневной стоянки. Ведь иные владельцы автомобилей с большим удовольствием ездили бы на работу на своей машине, если бы знали, где они смогут на время работы оставить автомобиль. Наверняка было бы возможно таким образом лучше использовать имеющиеся в городе площади, а присмотр за стоянками в течение дня за небольшую плату с каждого водителя с удовольствием осуществляли бы безработные. Естественно, эти люди должны иметъ официальное удостоверение. Также можно было бы устроить при театрах, кино, ресторанах, ярмарках что-то вроде «автогардероба». Смотреть за машинами могли бы портье или служащие. Если стало бы известно, что заведение берет на себя такую заботу, оно, безусловно, пользовалось бы большей популярностью, потому что автомобилисты неохотно ездят на других видах транспорта. Сегодня, в эпоху недорогих автомобилей серийного производства, необходимо как можно быстрее приняться за проблему гаражей и мест стоянки автомобилей, еще до того как их наплыв приведет к хаосу. Уже в ближайшие месяцы количество автомобилей резко увеличится, о чем свидетельствуют поток заявок на водительские права и огромное количество желающих сдать экзамены по вождению. Сейчас можно купить хороший маленький автомобиль за две-три тысячи марок. А преимущества автомобиля как средства передвижения настолько очевидны, что еще больше людей решилось бы на эту покупку, имей они удобный гараж. Для современной экономики автомобиль необходим; стимулировать его распространение — значит одновременно стимулировать

развитие экономики!

(1926)

Роковые автомобильные гонки

К сожалению, вчера на Авусе на гонках за Большой приз Германии произошло несколько несчастных случаев. Два человека получили смертельные ранения, около десяти — тяжелые телесные повреждения.

Страшная авария случилась в четверть четвертого недалеко от трибуны прессы, примерно в ста метрах от старого домика лесничего Айхкампа. Водитель гоночного «Мерседеса», шедшего под номером 19, Адольф Розенбергер из Пфорцхейма, который на сумасшедшей скорости приближался к трибуне, с опозданием подумал о том, что на этом круге ему надо заправиться, и поэтому резко затормозил, чтобы остановиться у заправочной станции. При этом автомобиль на скользкой дороге занесло, дважды развернуло, он с размаху ударился задом об опору четвертого стенда хронометристов и сломал ее. Как раз в это время несколько человек записывали на стенде время участников. Студент Клозе из Технического института в Шарлоттенбурге, проживающий по Плануфер, 21, скончался на месте от перелома черепа. Художник Густав Розенов получил тяжелые ранения ног, студент Кляйнзорге — покалечил голову и ноги. Розенбергер повредил голову и ушиб плечо, у его штурмана Вильгельма Логгелина ранена голова, и ему поставили диагноз сотрясение мозга. Розенов, которому в Лихтенфельдской окружной больнице ампутировали обе ноги, умер ночью после переливания крови, причем донором выступал один из врачей. Розенбергера, доставленного вначале также в Лихтенфельдскую окружную больницу, вчера по его желанию отпустили домой, но сегодня утром он отправился в клинику тайного советника Борхардта, где будет произведено рентгеновское обследование. Его штурман находится в больнице св. Гильдегарды в тяжелом состоянии. Студента Кляйнзорге пришлось доставить в больницу. Состояние удовлетворительное.

Второй несчастный случай произошел незадолго до этого на северном повороте перед трибуной Б. Там гоночный автомобиль «Тальбо», который вел Урбан Эммерих из Праги, вынесло на откос, он перевернулся, попал на газон и пробил ограду, отделявшую трассу от зрителей. Три человека пострадали: фотограф Вильгелм Брэмер, проживающий по Плануфер, 10, получил ранение головы и перелом носа, конторская служащая Шарлотта Дидерикс из дома № 3 по улице Шопена — ранение ноги и растяжение сухожилия, а полицейский унтервахмистр Грэтц (Шлосштрассе, 1, Шарлоттенбург) — ушиб лопатки.

Третий несчастный случай произошел почти в то же время на прямой у отметки 11.5, примерно в двух километрах от южного двойного поворота. Там гонщик Жан Шассань пытался свернуть на правую дорожку и наехал на барьер. Шассань ранил голову и вывихнул руку. Его штурман Реймон Ниве отправлен в Лихтенфельдскую окружную больницу с тяжелым сотрясением мозга.

Четвертое несчастье приключилось с гоночным автомобилем «Плутон», который вел инженер Альфред Медерер из Вильмерсдорфа; очевидно, у него отказало рулевое управление. Медерер получил сотрясение мозга и, вероятно, перелом ребер, его штурман Макс Хенкель — ранения левой руки.

Гонки на Авусе за Большой приз Германии прошли на редкость благополучно. Только один человек скончался на месте, только одному пришлось ампутировать обе ноги, только несколько проломили головы, всего один автомобиль въехал на полной скорости в публику, всего несколько зрителей пострадали от наезда.

Итак, гонки на Авусе прошли чрезвычайно благополучно, потому что если бы они прошли *нормально*, то произошло бы еще больше несчастий; не было сделано ничего, чтобы защитить публику; зато было сделано всё, чтобы затруднить оказание какой бы то ни было помощи.

Эти гонки ни в коем случае не должны были состояться. Авус — узкая магистральная дорога, находящаяся в плачевном состоянии; как гоночная трасса она абсолютно непригодна. Особенно для скоростных автомобилей, несущихся со скоростью сто семьдесят километров в час. Она слишком узка, слишком ухабиста и покрыта скользким, устаревшим покрытием, содержащим слишком много вара. На эту узкую трассу организаторы гонок выпустили одновременно около сорока гоночных автомобилей.

Полиция не должна была разрешать эти гонки. Эти гонки ни в коем случае не должно было допустить руководство Авуса. Эти гонки ни в коем случае не должен был организовывать автомобильный клуб Германии. Потому что эти гонки были полной халатностью по отношению к публике. Чудо, что не было убито гораздо больше людей.

Трибуны на Авусе расположены непосредственно у гоночной трассы. Большей частью они защищены лишь слабыми деревянными заборами или проволочной решеткой, напоминающей ограду курятника или палисадника перед домом. Сразу за ней — первый ряд скамей, на которых сидят зрители.

Автомобиль Розенбергера во время аварии раскидал

половину тяжелых железных опор стенда хронометристов, словно спички. Нетрудно представить, что произошло бы, если бы машина врезалась в зрительские трибуны.

Только невероятная собранность гонщика Урбана Эммериха помогла в последнюю секунду предотвратить большое несчастье. Машину Эммериха занесло недалеко от трибуны, и случилось бы страшное, если бы гонщик, невзирая на опасность для собственной жизни, намеренно не вывернул бы свой автомобиль в сторону опоры ограды. Благодаря этому были ранены только три человека.

Зрительские трибуны Авуса расположены слишком близко к гоночной трассе. Это создает опасность не только для зрителей, но и для гонщиков. На хорошей гоночной трассе, когда автомобиль заносит (что происходит часто), всегда есть еще много места, чтобы гонщик успел справиться с управлением. Когда машину заносит на Авусе, это приводит к несчастным случаям.

Стенд хронометристов стоит прямо на гоночной трассе. Он совершенно не защищен. Его следовало бы отодвинуть по меньшей мере на десять метров и оградить хотя бы дощатым забором. Жертвами этого упущения стали три молодых человека, даже не участники гонок, а студенты, нанятые хронометристами. Один из них погиб. Второму ампутировали обе ноги. Поломаны юные жизни, семьи скорбят — и все лишь из-за того, что на таком опасном месте не было прочной ограды стоимостью всего в несколько марок.

Когда после первых кругов начался дождь, все почувствовали, что теперь смерть поджидает на каждом шагу. Автомобили скользили и виляли на мокрой дороге, их поливал дождь и обдавало водой из луж, во всех колесах словно притаилась смерть.

В этот момент организаторы должны были на несколько часов приостановить гонки. Они не подумали об этом и тогда, когда появились жертвы, а количество раненых возросло.

Неожиданно автомобиль Розенбергера занесло, он пробил опору стенда и с грохотом врезался в кучку хронометристов. Пять человек упали, обливаясь кровью.

И тут случилось страшное: медико-санитарная служба не справилась со своими обязанностями. Раненых просто оставили лежать, потому что санитары не решались до них дотронуться. Ответственный врач тут же помчался к месту несчастья и — не смог помочь, потому что не было перевязочного материала, чтобы наложить шины пострадавшим. Не нашлось даже стакана воды. Машина «скорой помощи» прибыла очень нескоро.

Но с этой машиной связаны особые обстоятельства. Советник медико-санитарной службы доктор Франке из Центра скорой помощи сообщил нам по телефону следующее: руководство Авуса *принципиально отклонило* услуги Центра. Машине скорой помощи, которую Центр тем не менее предоставил, было чрезвычайно сложно попасть на место происшествия, потому что существовала опасность столкновения. Устроители Авуса должны были бы предусмотреть установку машин скорой помощи в опасных местах и создать для них возможность беспрепятственно выезжать с трассы…

Это легкомыслие уже совершенно невозможно понять: отказ от услуг Центра, раненые вынуждены лежать с переломанными костями на носилках, чтобы не помешать проведению гонок. Рекорды оказались важнее умирающих людей.

С этим прекрасно сочетается поведение руководителя Авуса, который одновременно является членом комиссии по проведению гонок. Этот широкоплечий господин с красивой бело-сине-золотой повязкой на рукаве, живописно закутанный в прорезиненный плащ, беззаботно прогуливался взад-вперед всего в нескольких метрах от места трагедии.

На трибунах люди бились в истерике, раненые стонали, тут же лежал мертвый с раскроенным черепом и разбрызганными по трассе мозгами; каждая рука, способная оказать помощь, была на счету, рук не хватало, не хватало спокойных помощников.

Руководитель Авуса ни разу не взглянул в ту сторону и пальцем не пошевелил, чтобы что-то сделать или хотя бы прикрыть простыней ужасно искалеченного мертвеца; он только проявил потрясающую бестактность, закурив на глазах у обезумевшей публики сигарету, и прошел мимо.

Когда у него попытались спросить, почему он не помогает, он дал классический ответ:

— Это не входит в мои обязанности — я ведь сообщил в санитарную службу…

Вот как ответил руководитель Авуса в двадцати метрах от искалеченного мертвеца; причем он был, без сомнения, самым крепким и спокойным человеком и мог бы несколькими словами и жестами навести порядок и спокойствие среди беспомощных санитаров, которые не знали, что делать. Он предпочел ни во что не вмешиваться. Это не входило в его обязанности.

Личные автомобили руководства гонок были припаркованы в непосредственной близости от гоночной трассы и создавали большую опасность для гоночных машин. Один автомобиль даже стоял на газоне между двумя дорожками (ширина газона всего несколько метров). Когда один из гоночных автомобилей занесло,

он выехал на газон и столкнулся со стоявшим на пути личным автомобилем кого-то из руководства. Только по счастью гонщики отделались легкими ранениями, а ведь эта очередная халатность руководства могла бы привести к новым жертвам.

Еще в пятницу во время тренировки произошел несчастный случай со смертельным исходом. С десяти до четырех часов проходила тренировка. После четырех Авус был снова открыт для нормального движения. Несмотря на это, на трассе оставались гоночные автомобили, так как несчастье случилось около половины пятого. Какое легкомыслие! Если бы руководство категорически настояло на том, чтобы все гоночные автомобили покинули трассу, как только ее снова открыли для движения, несчастья не случилось бы. А могло бы быть еще хуже. Гоночным автомобилям со скоростью сто шестьдесят километров в час нечего делать на дороге, открытой для сквозного проезда.

Были еще и чудовищно кощунственные вещи. Через некоторое время после того, как был унесен труп, сообщили:

— Гонщик Розенбергер легко ранен, он уже закурил сигарету…

Крик из публики:

— Это чудесно!.. А что мертвый? Может, он тоже курит сигарету?

Затем мы узнали, что умер еще один участник. Он был безработным. Из-за нескольких пфеннигов его обрекли на смерть. Была ли у него семья? Плачут ли о нем его близкие и грозят ли кулаками тем, кто должен нести ответственность?

Хватит о страшном! Хотел быть гуманным и потому оказался обвинителем. Не отчет о гонках, а суд над гонками!

(1926)

Quasi una fantasia [67]

За ними помпейским красным тепло светятся стены. С потолка на них стекают потоки света — разбиваясь в глянце капотов на сверкающие каскады и пенясь, они заливают сверкающими клубами широкие витрины торговых залов и вечную суету большого города.

Только стекла отделяют их от живых, мчащихся, жужжащих собратьев, летящих по асфальту, — и это уже делает их другими, странно далекими и желанными. Их окружает волшебство нетронутости — волшебство дремоты, предвкушения, еще не ставшего действительностью. Эти моторы еще никогда не пели своей шумной песни на шоссе, эти фары еще никогда не вырывали путь из тенет ночи, из-под этих колес еще никогда не выскакивали облачка из воздуха несущегося им навстречу мира, превращающиеся в мерцающие пылевые знамена.

Эти новые автомобили — само прохладное, волнующее совершенство, еще не включенное в ритм времени, спящее, ожидающее, манящее; покорные соблазнители в одурманивающем триединстве никеля, стали и сияющей краски, окруженные желаниями, тоской и мечтами…

Стекло витрины медленно ползет вверх. Стартер гудит, как потревоженная пчела. Автомобиль мягко выезжает в декабрьский вечер, скользит сквозь рождественскую суету по улицам и площадям. Потом мотор замолкает, хлопает дверца, и поспешные шаги теряются в темноте.

Но уже через несколько минут кто-то спускается вниз по лестнице, с торопливыми вскриками едва подавляемого восторга выскакивает из двери и стоит, обомлев, перед сверкающим рождественским чудо-сюрпризом. Тонкие руки нетерпеливо тянутся к рулю, пятьдесят стальных лошадей начинают бить копытами; руки судорожно охватывают руль, как драгоценную добычу, стройная фигура устраивается на сиденье с мягкой обивкой, и все тело, вжавшись в кресло, воспринимает тихую вибрацию мотора в момент блаженства первого выезда как самую волнующую музыку.

Автомобиль — упаковка современной дамы. Ее мальчишеской грации подходит элегантность и рафинированная практичность этого чуда техники, ставшего эстетическим наслаждением, возвращающим существованию элемент игры, расширяющим возможности этой игры, делающим ее более необузданной и создающим предпосылки для необычных идей и импровизаций.

Можно поехать за покупками… Можно поехать на чай…

Можно наносить визиты… Можно забросить в автомобиль лыжи, закутаться в шерсть и кожу и поехать куда-нибудь, к манящим трамплинам и спускам… Можно, как цыгане, бесцельно бродить по свету — романтика двадцатого столетия…

Колебания стрелки тахометра сокращают расстояния. Когда она, дрожа, поднимается, черты лица становятся жестче, губы сжимаются, ноздри жадно втягивают воздух, а глаза упиваются летящим навстречу миром, пока автомобиль и сидящая за рулем дама не сольются воедино и граница между человеком и машиной не исчезнет в этом звенящем урагане, бесконечном безрассудстве, безграничной гонке от горизонта к горизонту.

(1925)

Гвен и автомобили

Моя приятельница Гвен никогда бы не присягнула в том, что битва под Замой[68] произошла в 202 году; было бы также ошибкой начать с ней разговор о теореме Пифагора; к тому же она не всегда уверена, Шуман или Шуберт написал симфонию си-минор; но если завязать ей глаза и поставить на Фридрихштрассе, то она, ни секунды не сомневаясь, скажет, какой марки каждый проезжающий мимо автомобиль, сколько в нем лошадиных сил, какой у него стартер и сколько ему лет.

Такова Гвен. Девятнадцатилетняя. Современная. Не сентиментальная. Мышление она рассматривает как неприятную инфекционную болезнь. И только один раз Гвен впала в очень глубокую задумчивость…

Это случилось недавно, когда ей рассказали, что в цивилизованном мире, включая Панков и Вильмерсдорф[69], по слухам, еще живут неандертальцы, которые не в состоянии отличить кабриолимузин от городского купе[70].

Гвен молчала три дня. Потом она решила, что надо что-то изменить, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Планы множились в ее головке, как грибы, и выросли до настоящих хлебных деревьев познания.

Гвен хочет изложить свои взгляды в двух больших трудах. Первая работа должна называться «Астрология автомобиля» и будет посвящена представлениям о кузове и кармическим кривым характеров. К ней будет приложено руководство, как по звездам вычислить предназначенный тебе судьбой автомобиль, а также обзорная таблица автомобилей. Кроме того, будет предпринята попытка проследить влияние солнечных пятен на форму карбюратора… Гвен не мелочится.

Вторая работа имеет название «Какой автомобиль подходит к цвету моей кожи? Какую пудру выбрать для лимузина цвета павлиньего глаза, для алого кабриолета, для лимонно-желтого купе. Фасон шляпы и форма дверцы автомобиля. Вес тела и выбор кузова».

Гвен собирается телеграфировать Дарвину, чтобы он высказал свое мнение о Генри Форде… Рихард Штраус должен попытаться из пошлого четырехтактного мотора сделать современный синкопированный. Герхарт Гауптман якобы согласился сыграть главную роль в фильме «Гете в автомобиле».

Как я уже сказал, это — моя приятельница Гвен. Талантливая. Девятнадцатилетняя. Не ведает сомнений. Дитя успеха…

(1926)

Флирт с Карлом

Есть на свете мужчины с именем Карл, и от этого никуда не денешься. Очень может быть, что при крещении им дали другие имена — но есть ли что-нибудь более произвольное, чем имя? Тебе его навязывают в самом беззащитном возрасте, и всю жизнь ты носишь его как клеймо. Как можно дать существу, которому всего три или пять дней от роду, такую серьезную характеристику, как имя! Здесь непочатый край безмолвных трагедий, на которые почему-то не обратил внимание ни один поэт. Нетрудно представить, как человеку может испортить жизнь имя Рауль в сочетании с соответствующей обывательской фамилией. Он наверняка так и не сможет справиться с этим сочетанием, как узник с крепкой решеткой, он будет беспомощно биться об него и ранить руки в кровь. Сколько возможностей уже в зародыше, вероятно, были загублены именем-пришлепкой, которое и потом действовало как тормоз! Ведь заранее не известно, станет человек поэтом или диктатором. А может быть, диктором Берлинского радио?

Имена должны подходить, как сшитые на заказ костюмы. Их следовало бы давать уже взрослым людям: это помогло бы избавиться от многих бед.

Но по свету бродит множество Карлов. Даже если они это отрицают и кичатся своим свидетельством о рождении, где записано: Грегор, Эрнст, Курт или Конрад, — все равно они Карлы, потому что в данном случае Карл — это не имя, Карл — это тип.

Он вполне симпатичный. Он крайне непостоянен; носит как чопорные шляпы, так и малаккские трости, иногда любит замшевые туфли или принципиально покупает только серебристо-серые галстуки; можно встретить таких, которые творчески подбирают к смокингу опалы или обожают перламутр; Карл обычно дарит орхидеи, но может принести и букет примул, у этого типа множество нюансов, он чувствует ситуацию…

Но в любви Карл немного прямолинеен. Вообще-то иногда приятно немного с ним пофлиртовать, чтобы ощутить это нежное, смутное ощущение покорности, так оживляющее скуку жизни… Но Карл не может этого правильно понять. В таких вещах он прямолинеен, потому что он Карл.

Часто бывает так: сидишь где-нибудь в холле отеля, на террасе, у окна кафе, удобно устроившись в кресле, играет музыка, по улице беззвучно проносятся автомобили, а где-то поблизости сидит Карл, одетый изысканно и нарядно, и то, что он

тут, за одним из столиков, очень подходит к обстановке…

Карл достаточно чувствителен, чтобы заметить, что он невольно в чем-то участвует, но он и понятия не имеет, что стал частью обстановки, как кофе, мараскино или танго. Он невысокого мнения даже о самой изящной форме флирта, его не интересуют безмолвные встречи и дистанция, он не понимает, что все кончено, когда вы встаете и уходите. Скорее всего, он полагает, что именно теперь и наступило его время.

Я заключал бесчисленное количество пари на то, что, прежде чем вы пройдете пятьсот метров, Карл нагонит вас и попытается продлить мгновенье и поймать сотканное из эфира неопределенности переживание в реальные сети рандеву. Я выиграл почти все эти пари. Лишь немногие вышли вничью; в этих случаях Карл хоть и не подходил совсем близко, но узнавал адрес и начинал писать письма.

Поэтому с Карлом надо быть осторожнее уже с самою начала, чтобы он не испортил вам настроение. Особенно мучительно это в Берлине, потому что здесь каждого третьего зовут Карл.

С появлением автомобиля все изменилось. Теперь, когда кофе, мараскино и настроение в кафе отзвучат и закончатся, вы встаете и замечаете, что Карл в своем углу тоже готовится уходить. Вы выходите, садитесь в свой автомобиль и в то мгновение, когда Карл появляется в дверях, нажимаете на стартер и уезжаете у него из-под носа.

Раньше эпизод заканчивался всегда банально и неприятно; теперь вы ощущаете нежность коварства и блаженство колкости, что делает приключение чуть ли не нравоучительным. Вы развлекаетесь и одновременно воспитываете Карла.

Но может случиться так, что и Карла на улице ждет автомобиль. Тем лучше. Машина помешает ему вести себя безвкусно; самое большее, на что он способен, — обогнать вас, бросив многозначительный взгляд. Но и тот скорее всего будет коротким, иначе Карл рискует врезаться в ближайшую автомашину.

Большее невозможно. Если у вас есть желание повеселиться, вы можете свернуть на центральную улицу с напряженным движением. Карл наверняка устанет. Лучше всего, если регулировщик остановит Карла как раз у вас за спиной, а вы, выжав полный газ, умчитесь прочь.

Если же этого не случится, надо подождать, пока он с многозначительным видом обгонит вас, — и свернуть в ближайший переулок. На центральных улицах с напряженным движением даже Карл не сможет развернуться.

Мы плохо обошлись с наследством прошедших столетий. С

появлением биржевого листка искусство ведения беседы стало забываться; эпистолярное искусство попало под каретку пишущих машинок; но флирт с появлением автомобиля получил новое развитие, он снова процветает, легкомысленный и беззаботный, потому что автомобиль заботливо охраняет и оберегает его от сурового ветра реальности и приветственно поднятых шляп всяких Карлов.

(1927)

Безответственный объектив

Аплодисменты коллег по цеху еще не отшумели для фотографа Гешвиндера, сделавшего яркий доклад о культурной ценности фотографий кинозвезд во время уик-энда, когда встал и заговорил, не дожидаясь приглашения, незаметный человечек:

— Уважаемые господа фотографы! Я пробрался на это заседание вашего общества, чтобы хоть раз основательно высказать свое мнение о вашем легкомысленном ремесле… До изобретения фотоаппарата мы жили спокойно и мирно. Серебряная монета считалась серебряной монетой, дерево было деревом, а женщина — женщиной. Правда, существовали и творили художники, но каждый из нас знал, что их картины — это всего лишь преобразованная, ненастоящая действительность.

Но потом появились вы со своими объективами и исказили мир. Вы придумали пустую фразу о неподкупности фотографической линзы, одну из самых лицемерных фраз, какие я знаю. Наоборот, нет ничего более продажного, чем. глазок ваших аппаратов, который вы с печальным мужеством двусмысленно называете объективом.

Фотография внесла в жизнь ложную романтику. Не станем пока говорить о портретной эпидемии — несколько слов о ней я скажу позднее, — поговорим о простом и честном: о ландшафтных съемках.

Сколько неудачных отпусков уже есть на вашей совести, господа! В журналах и проспектах видишь восхитительные фотографии: прибой, подобно кружевному канту, лежит перед спокойно дышащим морем; элегантные отважные люди мчатся на водных лыжах по волнам; прекрасные женщины дремлют в плетеных креслах с тентами, — но когда ты упаковал вещи и приехал на место, ты видишь море цвета бульона, в котором плавают медузы, жалящие, как крапива; вместо элегантных людей на водных лыжах вокруг галдят красные как раки, лысые мужчины на надувных зверях, а женщины весят не меньше семидесяти пяти килограммов или у них некрасивые ноги. Ну, скажите сами, господа: существуют ли вообще женщины, каких вы фотографируете?

Я уверен, что нет! Посмотрите на огромные фотографии во всю страницу в иллюстрированных журналах: богини на фоне неба, леса, моря и террас — при взгляде на них загораются страсти у мужчин целых провинций! Но, собравшись, словно трубадур, и преодолев все препятствия, чтобы добраться до них, ты вынужден с разочарованием констатировать, что это точно

такие же люди, как все остальные. Девушки, какие есть и у нас в Дудерштадте или в Баутцене, ничего особенного, некоторых на фото вообще не узнать. А кто виноват? Только вы со своими аппаратами! Я заклинаю вас, господа, не играйте так легкомысленно с представлением о счастье жителей средних провинциальных городов! Не обманывайте наших коммерсантов и молодых чиновников, что существуют такие женщины, как на ваших случайных фотографиях!.. Но поговорим еще о ландшафтных съемках! Попадаются фото одиноких деревенских постоялых дворов в тени огромных лип, собаки нежатся на солнце, куры прогуливаются по столам. Представляешь восхитительную, отрезанную от мира идиллию, такую заманчивую для жителя крупного города, и сразу же заказываешь по телеграфу комнату на месяц, чтобы тебя никто не опередил. Конечно, потом оказывается, что у каждого крестьянина есть автомобиль, у хозяина даже два, так что приходится в спешке удирать от шума этих старых колымаг. А почему? Потому что вы коварно сфотографировали только фасад гостиницы; если бы вы сделали снимок чуть сбоку, любому сразу же бросились бы в глаза гаражи рядом с коровниками.

Ты думаешь, что дерево — это дерево. Но вот приходите вы со своими объективами, своими смягчающими изображение линзами, своей ретушью, — и любая неприметная взъерошенная береза кажется памятником природы. А если на курорте растут всего три сосны, вы умудряетесь сделать такую фотографию, словно там огромный высокоствольный лес. Вы ведь не слышите проклятия туристов, которые попались на ваш обман.

Вы просто обрезаете пейзаж там, где вам это подходит — в формате девять на двенадцать или десять на пятнадцать, а нам достается все остальное. Шум, грязь и цены на комнаты вы не фотографируете. У вас маняще сияет солнце, а дождь — живописная нежная полутьма; мы же обливаемся потом или подхватываем насморк, промочив ноги, потому что позволили вашим фотографиям увлечь себя. Если вы окажетесь в пустыне с одним фикусом и лошаком в качестве реквизита, вы сделаете из этого вечер в райском саду.

Но особенно преступны ваши портреты. Вы заманиваете милых, безобидных людей и превращаете их, словно заколдовывая, в напыщенных индюков. Любой трубочист становится у вас Отелло, любая швея — гейшей, а темноволосая бюргерская дочка — обязательно Астой Нильсен[71]. Но самое страшное заключается в том, что эти люди, которых вы выманили из благодатного счастья незначительности, потом чувствуют необходимость соответствовать своим портретам.

Например, Лора, очаровательное дружелюбное создание, была предназначена для того, чтобы стать счастливой женой. К несчастью, она попала в руки одному из этих мастеров диафрагмы, который сделал ее фотографию, где она получилась женщиной-вамп. Это пробудило в Лоре честолюбие; внезапно она начала нескромно одеваться, говорить о фильмах, хвастать тяжелыми психическими комплексами и таким образом полностью уподобилась своему портрету. Результатом стало то, что она своими капризами попортила многим жизнь, сделалась раздражительной, ведь все это не соответствовало ее сущности, и, наконец, начала вести беспутную жизнь и опустилась.

Я предостерегаю вас, господа, от мести разочарованных! Самые циничные из вас утверждают, что единственным препятствием для создания художественной портретной фотографии всегда является только модель, и поэтому гораздо лучше сначала щелкнуть, а уж потом отретушировать до блеска…

Господа, вы угроза государства, вы вызываете семейные конфликты, вы создаете непонятых женщин и разрушаете семейные отношения! Ваши фотографии заставляют сравнивать, и эти сравнения не в пользу действительности! Это — анархизм…

В этот момент маленький, невзрачный оратор получил пощечину от геркулесоподобного фотографа Гешвиндера, который затем мужественно, под громкие аплодисменты вытолкал его из зала.

(1928)

Новый проект фирмы «Ульштайн» и предложения по изданию иллюстрированного журнала для автолюбителей

Несколько дней назад ко мне зашел мой преемник из редакции иллюстрированного журнала для автолюбителей «Эхо Континенталь» (издательство «Континенталь, каучук и гуттаперча Ко.», Ганновер) и сообщил, что с первого апреля он нанят издательством «Ульштайн» для нового издательского проекта, который должен появиться в начале осени.

Одновременно он спросил меня, не хочу ли я принять в нем участие: он мог бы предложить Ульштайну план, над которым я уже давно работаю.

Без сомнения, Ульштайн хочет издавать иллюстрированный журнал для авто- и мотолюбителей, потому что сильно ощущается нехватка хорошего журнала такого рода.

Есть только плохо редактируемые газетенки, например «Общая газета для автолюбителей», «Новая автогазета» и т. д., и скудно замаскированные пункты приема объявлений, например «Мотор» и т. п. Больше ничего!

Хорошо редактируемый автомобильный журнал, за которым стоит солидное издательство, имел бы большой успех у подписчиков и рекламодателей.

Два примера из практики.

Когда я возглавил редакцию «Эхо Континенталь», журнал издавался тиражом 30000 экземпляров, распространялся бесплатно, был слабым в смысле редактуры, имел две страницы объявлений и требовал примерно 8000 марок ежемесячных субсидий…

Через полтора года, перед тем как я перешел в «Иллюстрированный спорт», тираж журнала составил 100000 экз., в том числе 15000 распространялись по подписке, сам журнал стал в три раза толще, имел первоклассное оформление, 15 страниц объявлений (по 2000 и 3000 марок) и, будучи рекламным журналом, приносил фирме «Континенталь» ежемесячную прибыль примерно в 8000 марок.

Прилагаю два номера, один — начального периода, второй — периода перед моим уходом.

«Континенталь» и сегодня покрывает издержки на этот журнал из доходов от рекламы и размещает огромное количество

бесплатной рекламы.

Если это удалось *рекламном у журналу*, который большей частью распространялся бесплатно, то хороший журнал для автолюбителей может рассчитывать по меньшей мере на такой же успех.

Второй пример — из прошлого года. Один знакомый с небольшими средствами основал автомобильный журнал. Так как издание не пользовалось известностью, никто особо не стремился давать туда рекламу (тираж —300 экз.) Тем не менее в начале этого года журнал уже имел тираж 1000 экземпляров и как-то держался. Мой знакомый спросил у меня совета, и я порекомендовал ему открыть отдел «Автобиржа» (мелкие объявления). Результат — в первом же номере 7 новых страниц объявлений, хорошая прибыль, удвоившийся тираж и прекрасные перспективы.

При этом журнал по своему содержанию не очень интересен, это печатный орган всего лишь нескольких клубов. Прилагаю экземпляр.

Невероятный взлет автомобильного движения породил десятки тысяч автолюбителей, не говоря уж о мотолюбителях, интересующихся, болельщиках и т. д. Это видно по всем статистическим данным.

75 % всех водителей лишь поверхностно знают свой автомобиль, но они все нуждаются в журнале, в котором *хотят* и *должны иметь возможность* найти следующее:

1. *Официальные сообщения* (налоги, строительство дорог и т. д.).

2. *Последние инструкции по дорожному движению* (включая сведения о хороших и плохих дорогах, автокатастрофах и т. д.).

3. *Юридические и правовые советы и предписания* (каждому водителю постоянно приходится иметь дело с полицией, а все, что касается кошелька, всегда вызывает интерес).

4. *Новинки автомобилестроения* (все специальные газеты страдают тем, что понятны только конструкторам; 90 % всех водителей — любители, и им необходимы популярные объяснения, снабженные хорошими иллюстрациями).

5. *Новинки в области автопринадлежностей*(изобретения, повышающие удобство и комфорт).

6. *Уход за мотором и автомобилем* (советы по техконтролю и техобслуживанию, проверка знаний водителей, вопросы, связанные с гаражами и т. д.).

7. *Советы по вождению* (как лучше водить автомобиль, поворачивать, преодолевать подъемы, ездить по горам, как водить маленькие, большие, тяжелые, легкие автомобили, как лучше

использовать горючее; карбюратор, смазка, покрышки; автомобиль зимой и т. п.).

8. *Какая поломка может случиться и что тогда делать?* (Советы и хитрости при всевозможных поломках. Рубрика, вызывающая горячий интерес каждого читателя).

9. *Отчеты о гонках* (хорошо поданные, с качественными фотографиями).

10. *Путешествия на автомобиле и экономия* (вопросы паспортов, заграничные путешествия и пограничный контроль, инструкции по вождению за границей, достопримечательности, багаж, что из запасных частей взять с собой, как самому устранить неисправность и т. д.).

11. *Советы, куда отправиться на экскурсию или в путешествие* (снабженные красивыми фотографиями статьи о рекомендуемых местах и путешествиях и т. д.).

12. *Литературный отдел* (очерки, новеллы, может быть романы).

13. *Обмен опытом, консультативный отдел, почтовый ящик* и т. д.

Этот список составлен в спешке и составляет примерно 1/4 возможного материала.

Нет ни одного журнала, который предлагал бы хотя бы часть этого материала. За время моей редакторской работы в «Эхо Континенталь» многие подписчики выражали желание читать об этом, хотя журнал, как рекламное издание, вынужден был оставаться односторонним.

«Иллюстрированный спорт» не удовлетворяет желаний любителей мотоспорта. В нем лишь несколько страниц, посвященных мотоспорту вообще, и прежде всего он слишком дорог, чтобы выходить массовыми тиражами. Автолюбитель хочет иметь *чисто автомобильный журнал*, потому что, как это ни странно, он обычно не интересуется другими видами спорта. Журнал должен стоить не больше 1 марки. Он мог бы выходить или раз в 2 недели, или раз в 4 недели.

В ближайшие годы автоспорт будет переживать в Германии подъем (см. статистику). Он нов, а все новое вызывает повышенный интерес. Но его приверженцам необходима информация — ее-то и будет содержать хороший журнал, включающий в себя все.

А если за таким журналом будет стоять большое издательство, то нетрудно будет заинтересовать многочисленные клубы и объединения, немного пойдя навстречу их интересам, и сделать их подписчиками.

В *автожурнале* редакционная часть имеет мощный тыл в

виде рекламных объявлений. Именно реклама, а не количество подписчиков, делает журнал рентабельным.

Гимнастика и другие виды спорта — дело хорошее, но они не приносят рекламы. Рекламные объявления в «Иллюстрированном спорте» разве что наполовину объясняются характером издания, т. е. его спортивной направленностью. Остальные объявления печатаются только потому, что это — известный журнал. Объявления похожего рода можно найти и в «Даме», и в «Берлинском иллюстрированном журнале» и т. п., то есть в журналах с совсем другой тематикой.

Но *автомобильный журнал* в первую очередь имеет значительную основу в виде специальных объявлений. К тому же не следует забывать о фирмах, выпускающих автопринадлежности (шарикоподшипники, осветительные принадлежности, шины, горючее и т. д.), а также о страховых компаниях. Кроме того, есть еще сфера косметики, табачной промышленности и фотоиндустрии. Так как *автомобильный журнал читают люди с самой высокой покупательной способностью*, какую можно себе представить, он больше всего подходит для рекламных целей!

В период массового умирания немецких газет и журналов ни одно автоиздание не закрылось, как бы нерентабельно оно ни было и как бы плохо оно ни редактировалось. Тот, у кого есть автомобиль или мотоцикл, в состоянии покупать журнал.

Я еще раз подчеркиваю: ничего подобного тому, что я предлагаю, нет. При умелом руководстве, наличии хорошего фоторедактора и специалиста журнал будет единственным и ведущим в своей области!

(1927–1928)

От «устричного пирата» до писателя

Вот молодой парень в том юном возрасте, когда некоторые только начинают задумываться над тем, кем бы они хотели стать, а ему уже приходится заботиться о семье. Он носится с охапкой газет по улицам, выкрикивает заголовки, зарабатывает пару центов в день, затем нанимает несколько других ребят, становится чем-то вроде старшего продавца газет; попадает в порт, наблюдает тамошнюю суматошную жизнь, делается дерзким «устричным пиратом», которого гоняют правительственные лодки, за свое сумасшедшее бесстрашие получает кличку «король устричных пиратов»; попадает в компанию бродяг, людей без профессии, становится среди них самым отчаянным, проезжает «зайцем» тысячи километров на буфере, в багажном вагоне, на крыше поезда в самых авантюрных обстоятельствах, железнодорожники вышвыривают его в пустынных местах, он забирается в другие поезда; то он фабричный рабочий, то мойщик, то студент, то углекоп; останавливается на литературе, начинает писать, имеет успех; снова все бросает, когда слышит о золоте Аляски, делается золотоискателем; возвращается нищим, работает ожесточенно, безумно, обходится только тремя часами сна; своими произведениями зарабатывает себе на яхту, ферму, становится самым популярным писателем Америки; замолкает в начале мировой войны и умирает сорока лет от роду 22 ноября 1916 года.

Это — Джек Лондон. Феномен, ворвавшийся, подобно урагану, в устоявшуюся писательскую традицию. Он плевать хотел на вдохновение и идею, он ни капельки не заботился о лирическом настроении, интеллектуальном содержании, эстетике и всех остальных атрибутах литературы, как бы они ни назывались; он просто садился и начинал рассказывать про свою жизнь, литература было для него не «даром», не «божественным провидением», она была просто профессией, которая его кормила, и ничем больше; он каждый день писал свои «сто строк», ни на одну больше, ни на одну меньше, — и, несмотря на это и благодаря этому, возникало произведение, такое страстное, такое напористое, полное приключений, удивительно образное и захватывающее, которое открывало новые миры и, подобно омолаживающей буре, врывалась в дряхлую, погруженную в психоанализ литературу.

Сейчас часть его книг вышла на немецком языке в издательстве «Университас», в Берлине. Это — «Рассказы южных морей», «Сын солнца», «Морской волк», «Джон Ячменное Зерно.

Воспоминания алкоголика», «Северная Одиссея» — все напряженные, рассказанные, как раньше никто не рассказывал: с захватывающей деловитостью человека, которому не надо ничего придумывать, который только проживает жизнь, свою жизнь, а уж она дает ему материала с избытком.

Эти книги читают швеи и тайные советники; они завораживают всех, потому что в них чувствуется дыхание жизни, потому что за ними стоит потрясающая человечность и, не в последнюю очередь, потому что они вышли из-под пера большого писателя.

(1926)

Спорт в литературе

Признаюсь честно: иногда это было почти невозможно выносить; достойный профессор Зигмунд Фрейд наверняка совершенно не подозревал, какое воздействие окажут его теории на литературу. Но с тех пор как он сделал недоказуемое доказуемым и нашел подступы к самым отдаленным уголкам души, в литературе, переваривающей психоанализ, начался бурный подъем.

Неожиданно все сделалось очень простым. Все самое незначительное теперь можно превратить в демоническую травму с помощью нескольких ловких приемов. У каждой кухарки вдруг появились комплексы. Вещи, о которых раньше люди не осмелились бы сказать, потому что их подняли бы на смех, вызывают наибольший интерес. Жеманницы превратились в сверхчувствительных изнеженных натур. Трусы — в декадентов. Глупцы — в зацикленных на магии бедолаг, страдающих инфантилизмом. Всё изящно переводилось в сферу подсознательного и резвилось всласть, не боясь получить замечание. Здоровых больше не осталось, в каждом кишмя кишели вытеснения и инверсии, каждый стал важен, каждый имел право на сплин — то была золотая пора на ярмарке человеческого тщеславия.

Тот же процесс развивался и в литературе. Психоаналитическая волна захлестнула всё. Без конца обсуждали, вскрывали, сравнивали, навешивали ярлыки. Толстые тома: никакого действия — одни слова, слова, слова. И что еще хуже — предпочтение отдавалось полуталантам. Не было необходимости в серьезной работе. Ведь все стало доказуемым и недоказуемым. Для чего же тогда мучиться! Немножко оттуда, немножко отсюда, немножко клея, — и уже готово «глубокое, вскрывающее потаенные области души» произведение…

В эту ситуацию вмешался спорт. Нечто телесное. И хотя к нему пытались применить понятия ритма и души, он остался, слава богу, грубо телесным. Соревнования, тренировки, рекорды, действие, активность.

Самый резкий контраст пассивному отражению души! И поэтому он сразу же возбудил интерес и оживил литературу. Стремление к оптимизму, мужеству, самоутверждению всегда было возбуждающим фактором.

Правда, прошло много времени, пока кто-то решился податься в эту «моветонную» область. Ведь в Германии, к сожалению, захватывающий роман среди людей, принадлежащих

к литературному цеху, все еще считается развлекательным чтивом. Но, в конце концов, хорошее развлечение лучше, чем воспеваемая всеми скукотища.

Вначале спортивная среда служила фоном, красочной, активной, сильной кулисой. Кайзер[72] в своей пьесе «С утра до полуночи» ухитрился вывести на сцену шестидневные гонки, причем ему прекрасно удалось обрисовать лихорадочную напряженность этой работы.

Затем спортивной тематикой увлеклись молодые, чтобы уйти от теории. Фаворитами стали бокс, автоспорт, бег, прыжки, футбол; из них черпали и вырабатывали темы. Даже старик Шоу написал роман о боксере «Профессия Кэшеля Байрона» — заметим в скобках, это одно из самых слабых его произведений, хотя описания бокса ему удались. Правда, книге не хватает теплоты авторской симпатии…

С вторжением спорта в литературу вновь было сделано открытие, что действие и напряженный сюжет — не самое плохое в произведении. Дошли даже до того, что просто брали биографии выдающихся спортсменов в качестве материала для книги; вспомните о «Божественной Сюзанне», романе Клода Анэ[73] о теннисистке Ленглен.

Для лирики самолет и автомобиль стали символами нового времени; для эпики — важными вспомогательными инструментами. Америка изобрела автомобильные романы, Европа присоединилась.

Влияние спорта на литературу, разумеется, не исчерпывается произведениями, в которых спорт так или иначе является главной или крупной второстепенной темой. Собственно, его влияние начинается за пределами этих произведений. Бесконечное число его видов представляет неисчерпаемый кладезь для значительного обогащения имеющегося литературного материала.

Было бы глупо придавать спорту как проблеме чрезмерное значение. Бегает ли кто-то немного быстрее, чем остальные люди, имеет второстепенный интерес, если за этим больше ничего не стоит. Рекорд, строго говоря, — дело мускулов. Он становится интересен, только если выдвинуть на первый план упорную волю к достижению рекорда, борьбу, тренировки — всё то, что делает его возможным.

Но и этого еще недостаточно. Нужно остерегаться желания увидеть слишком много. Спорт — простая вещь, лишь очень редко он напоминает вольтижировку над пропастями души. И его приверженцы, как правило, тоже простые люди — тем проще, чем серьезнее они к нему относятся.

Спорт важен главным образом как окружение, как среда, как кулиса. Вот в чем его главная роль. В этом качестве он завоевывает даже далекие от спорта произведения. Сегодня почти невозможно совсем игнорировать его. В слишком большой степени он уже стал составной частью повседневного мышления. А так как он дает почти бесконечные возможности — от бокса до автогонок, от пинг-понга до прыжков с шестом, от гольфа до буерного спорта — и так как каждый из этих видов имеет свои определенные нюансы и краски, спорту в этом отношении, безусловно, можно предсказать большое будущее в литературе.

(1928)

«Барбара ля Марр»

Роман Арнольта Броннена[74]

Эта книга похожа на киностудию — она полна будоражащей лихорадки стеклянных залов; в ней есть шум и гам, блеск и свет, тысячи павильонов и закоулков, бесчисленные героические, трагические, смешные декорации — наполовину построенные, наполовину уже опять сломанные, — рабочие, кулисы, режиссеры, юпитеры, темп, блаженство и страдания, — она полна жизни. Подобно ракете, проносится над всем этим траектория чьей-то жизни и изменяет все, что оказывается рядом: ослепляет, ошарашивает, притягивает, сжигает, калечит себя самое — и вдруг заканчивается нежно, очаровательно, мягко, одним из волшебных вечеров, где-то между здравствуй и прощай, и ты не знаешь, конец это или только начало… Никто этого не знает, ни один из ее друзей, ни один из ее врагов, ни даже она сама, Барбара ля Марр, киноактриса, которая была слишком прекрасна для спокойной жизни и слишком тщеславна, чтобы как следует реализовать себя. В центре книги эта женщина, и только она одна; но вокруг нее — вихрь фигур, которые изображены необыкновенно жизненно, которые уже в первых предложениях обретают плоть, а в следующих уже действуют. Душа Барбары ля Марр показана в этой книге беспощадно, вплоть до тех уголков, где наконец после хаоса, судорог, ошибок, испорченности, отвращения, грязи, алчности иногда вспыхивает свет, обнаруживающий — ни больше и ни меньше — почти отчаявшегося человека и почти беспомощного ребенка. Но это длится недолго — потому что до самой смерти гонится Барбара ля Марр за своим идолом и своей судьбой, да она и не может иначе. Этот роман увлекает и ошеломляет; он переливается всеми красками и обладает потрясающим темпераментом, и, хотя действие несется на 120 лошадиных силах, одновременно сквозь остроглазый объектив автор рассматривает явления, называемые фильмом, так что он с полным правом назван «Фильм и жизнь Барбары ля Марр».

(1928)

Пять книг о войне

«Солдат Зурен», роман Георга фон дер Вринга; «Бои на Сомме» Отто Рибике; «Лесок 125» Эрнста Юнгера; «В стальных грозах» Эрнста Юнгера; «Фронтовая книга» Франца Шаувеккера.

Пять книг о войне; все пять совершенно различны. Оба романа Юнгера отличаются добротной вещественностью, написаны точно, серьезно, с возрастающими силой и мощью; в них живо проявляется жестокое лицо войны, ужас боя и невыразимая, преодолевающая все жажда жизни и сила души. «Стальные грозы» изображают события фронтовых лет очень выразительно: роман без какого бы то ни было пафоса передает отчаянный героизм солдат, изображаемый чутким автором, который, словно сейсмограф, улавливает все колебания битвы. «Лесок 125» задуман шире: он больше анализирует те душевные качества, которые делают человека способным вынести тяжелые бои. Юнгер, один из немногих молодых пехотных офицеров, награжденный орденом «За заслуги», имеет право высказаться о битвах и войне, как никто другой. Он делает это просто, скромно и оттого по-особому весомо.

Рибике намного живописнее и лиричнее. У него одно событие распадается на отдельные яркие картины и впечатления — часто пластической выразительности, но иногда даже они затеняются слишком высокими словами, слишком широкими жестами, которых данный материал не переносит. Несмотря на это, книга обладает значительной убедительностью, по форме она свободнее, раскованнее, чем строгие произведения Юнгера.

У Шаувеккера меньше описаний, зато он дает поперечный срез, который охватывает все многообразие духовно-физических отношений фронтовиков, автор анализирует и толкует их, чтобы таким образом достичь крупномасштабной картины, того, что можно было бы назвать переживанием в самом широком и простом смысле этого слова. Сжатые, маленькие главки передают калейдоскоп душевного состояния пехотинца, который, как и герои Юнгера, относится к новому человеческому типу, сформировавшемуся среди окопных солдат в 1918 году, только Шаувеккер описывает его задумчивее и немного дидактичнее (в хорошем смысле).

Фон дер Вринг мягок и человечен, его книга — книга рекрута: ее действие лишь один раз переносится в район

жестоких боев, но зато он дает исчерпывающую картину жизни в гарнизоне и за линией фронта в чрезвычайно хорошо написанных главах, имеющих высокую художественную ценность и обнаруживающих в жизни этого сообщества человечность, товарищество, юмор и иронию, что привносит совершенно особую теплоту, потому что знакомит с жизнью отдельных характеров и типов, в то время как война образует только фон и не заслоняет собой все.

(1928)

«Год рождения — 1902-й»

Роман Эрнста Глэзера

«Год рождения — 1902-й» — исповедь поколения, по-особому беззащитного и подверженного большей опасности, потому что оно взрослело на войне и, кроме своих собственных метаний, вынуждено было пережить крушение патетики, разочарование во всем показном, голод, смерть и — при первых же событиях — озлобленность от сознания, что это разочарование — замена, замена более сильным, более зрелым чувствам, которые они оставили дома.

Раннее взросление и непредвзятость молодого взгляда на жизнь создают в этой книге (издательство Густава Кипенхойера, Потсдам) атмосферу превосходства, что важно, потому что молодежь еще не делает обобщений и выводов, а только внимательно всматривается в детали. Так возникает произведение, наполненное детской безжалостностью, в котором нет ламентаций, резонерства, жалоб — только отчет. Правда, отчет настолько ясный и точный, что он уже на двух первых страницах разоблачает распространенный до войны и в еще большей степени во время войны тип наставника, а еще через тридцать страниц обнаруживает безнадежное положение всего юношества в сравнении со взрослыми: быть моложе, умнее, деятельнее и отличаться от окружающего тебя мира невыносимо, особенно когда этот мир пытается тебе помочь.

Осознание этого — болевая точка книги. Из постоянных столкновений с миром взрослых и постоянных поражений рождаются враждебность и убежденность в том, что в самых важных вещах надеяться можно только на себя. Вечная трагедия молодости — пустыня одиночества, огороженная возрастным барьером; вечная трагедия зрелости — невозможность возвращения в прошлое, даже мысленного.

Резкое столкновение этих двух миров — подведение итогов, которое выглядит тем полнее и окончательнее, что происходит на войне. За кулисами родины виден призрак битвы, и война становится реальностью именно в этой жуткой, перевернутой проекции. Вместе с идеалами молодежи, которая подрастает в это время, рушатся иллюзии о единстве народа.

К этому конфликту с окружающим миром примешивается смятение, вносимое становлением собственного «Я», предчувствием и начинающимся пробуждением полового

влечения в самой опасной кризисной форме — влечения к женщине вообще. Это «Я» причудливо смешанное из инстинкта и любопытства, постоянно переходящее из одного состояния в другое, неразрывно связанное со всеми фазами жизни, беспокойное, перегруженное эмоциями, но не сентиментальное, стремящееся персонифицироваться, пробивающееся к первому решительному проявлению — и тут осколок авиабомбы резко, грубо обрывает историю.

Острота взгляда в этой книге необыкновенна; но удивительнее всего то, что так жестко и трезво написанное произведение обладает еще теплотой и нежностью, оно замечательно жизненно и нигде, несмотря на всю безжалостность, не напоминает идейный скелет Полнота происходит здесь не из-за фантазии, а из-за острою зрения.

Книга Глэзера замечательна не только в литературном отношении, она неоценима как документ эпохи.

(1928)

«Люди после войны»

Новый роман Ганса Зохачевера

Приблизительно два года тому назад Зохачевер написал роман «Воскресенье и понедельник» — весомое, сильное произведение, замечательное по наблюдательности и описанию среды, неумолимое в изображении безнадежности, лишенное дешевой человечности, но зато рассматривающее проблемы существования, которые становятся проблемами жизни, — одно из лучших немецких прозаических произведений. Его следующая книга кажется полной противоположностью: «Влюбленная пара» — это очень нежная, словно написанная серебристыми красками, новелла, построенная осторожно, но в то же время остро, проникающая в те сферы, где все становится загадочным и относительным. Теперь вышел роман «Люди после войны» (издательство «Zsolnay»), интересный уже самой темой.

Без сомнения, сегодня еще невозможно охватить в творчестве все проблемы послевоенного времени; это время еще слишком близко, чтобы мы могли проявить достаточно объективности. Поэтому Зохачевер отказался оттого, чтобы написать роман о времени, он подошел к материалу иначе. Он рассматривает тему в противопоставлениях, и благодаря этой замечательной идее ему удается избежать какой бы то ни было пространности и все-таки сказать самое главное. Он противопоставляет друг другу двух персонажей: один из них, Бранд, еще полностью принадлежит прошлому, второй — Рок — уже смотрит в будущее. Через несколько лет после войны они сталкиваются снова, испытывая странную тягу друг к другу из-за того, что непохожи, и из-за того, что когда-то пережили вместе. Своим инобытием они доводят друг друга до кризиса, который каждый из них осознает и которому каждый из них отдается. И благодаря этой готовности обоих пережить кризис в книге возникает особая концентрация проблемы, роман наполнен полемикой, которая благодаря точности формулировок и ясности мысли снова и снова приковывает ваше внимание. Здесь уже подводится итог важный для нас, потому что это — общий итог.

Для книги одного этого могло быть более чем достаточно. Но Зохачевер идет дальше: он рассматривает еще одну большую проблему. Ее воплощают три женщины, каждая из которых представляет собой один из современных типов. Здесь автор достигает такого многообразия отношений и взаимовлияний,

такой многозначности нюансов и отражений, что это иногда замедляет действие; но снижение темпа покажется недостатком только поверхностному читателю, ищущему развлечения. Эту книгу надо читать медленно, потому что — и это чувствуется — писалась она тоже медленно. Автор экономил на каждой строчке.

Вдруг, почти неожиданно, в дискуссию вторгается эпизод, наполненный острейшим драматизмом и потрясающий до глубины души: смерть мелкого бюргера. Без преувеличения можно сказать, что то, как на нескольких страницах показана жизнь и смерть человека, как воссоздается мир, честный, добрый, простой мир, в который врывается ураган смерти, — это настоящий шедевр.

Потом в книге появляется еще фигура матери, настоящей матери, с ее маленькими заботами и огромной любовью, матери, знакомой каждому человеку, потому что она напоминает его собственную.

Зохачевер этой книгой хотел сказать очень многое. И сказал. Его книга хороша. Больше того — она ценна. Еще больше — она полезна.

(1929)

Эммерих Гааз

Во время пребывания в Давосе у меня появилось несколько друзей. Среди них и Эммерих Гааз.

Он был самым молчаливым из нас. Он сразу же вызывал симпатию свой беспримерной скромностью, сдержанностью, добротой, бескорыстностью, отзывчивостью… Он вызывал также глубочайшее уважение, когда, несмотря на трагичную судьбу солдата, боролся за свое искусство и создавал произведения мощнейшего воздействия… А еще он вызывал любовь у тех, кто становился свидетелем, как этот молчаливый человек переносил свои страдания.

Незаметная заминка в разговоре, легкое дрожание рук, едва видимое напряжение вокруг глаз и улыбка, улыбка, почти просящая прощения, разрывающая сердце, болезненная, героическая улыбка — это невыносимая, судорожная боль пронизывала его тело, сотрясая и раздирая его, она неистовствовала, терзала, мучила… Но заметны были только легкое дрожание рук, чуть трясущиеся губы и улыбка, эта беспомощная, болезненная улыбка, которая почти просила прощения за то, что тело так страдало.

Час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом переносил этот молчаливый человек последствия ужасных лет в плену — и при этом сохранял такую бодрость, такую доброту и предупредительность, что ты с прискорбием и почтением понимал: этот человек больше своей судьбы.

Иногда поздним вечером он нарушал свое молчание. И из немногих слов, из намеков, кратких замечаний, которые он произносил, возникали картины ужаса, годы ада, которые он пережил, годы, каких еще никто не описал. Если бы у него еще было время, чтобы снять их со своей души, придать им форму и структуру, возникло бы произведение потрясающей силы, намного крупнее всего того, что написано о войне. Те немногие работы, на которые у него хватило времени, показывают, какой серьезностью, какой силой, какой волей и каким мастерством он обладал.

Я знал его только несколько недель; но мне кажется, что умер мой многолетний друг, брат, товарищ.

(1929)

Тенденциозны ли мои книги?

На вопрос, лежал ли в основе моей книги «На Западном фронте без перемен» определенный замысел, я могу только честно ответить, что меж спонтанные воспоминания о большой войне передают лишь то, что я, точно так же как миллионы моих товарищей, видел и пережил за пять лет бойни. Верен ли так часто звучащий упрек, что моя книга оказала роковое влияние на молодое поколение, что она убивает благородное чувство патриотизма, стремление к героизму, эти высшие добродетели тевтонской расы с незапамятных времен? Если мною вообще двигала какая-то идея, то это была любовь к Родине в истинном и благородном, а не в узком и шовинистическом смысле слова и преклонение перед героизмом. Но это не означает ни слепого восторга перед кровавой баней на полях сражений, ни одобрения современных методов ведения войны с таким огромным количеством машин и механических средств. Война во все времена была жестоким орудием жаждущих славы и власти, всегда противоречила основным принципам справедливости, которые присущи всем морально здоровым людям. Даже серьезное нарушение справедливости не может сделать войну легитимной.

С периода 1914–1918 годов нас приучали видеть только величие и героизм войны. Исторические книги искажают славу бесстрашных героев, заслуживших вечное уважение тем, что они сражались и умирали за свою Родину. Эти мужчины бессмертны, потому что были бесстрашны и мужественны. С совершенствованием и увеличением точности огнестрельного оружия, с применением тяжелой артиллерии, аэропланов, танков и газов, с введением механических боевых машин и привлечением индустриальной мощи, характерных для современных военных действий, активная храбрость солдата, не страшащегося противника, вынужденно уступает место чисто пассивному мужеству, близкому к восточному фатализму.

Особенно за два последних года войны техническая организация ведения боя добилась такого ошеломляющего прогресса, что каждый солдат стал полностью зависеть от случая. Многие солдаты из тех полков, которые почти целиком были уничтожены в окопах, в течение двух или трех лег позиционной войны едва ли хоть раз видели врага в лицо, за исключением тех, кто попал в плен после какого-нибудь решительного наступления. Война в старом героическом смысле слова больше не существует. Она превратилась в бессмысленный ужас, в котором людей

раздавливала, побеждала и калечила механическая сила. Человеку в окопе ничего не остается, как только в пассивном отчаянии ждать, попадет ли в него, как уже попало в сотни и тысячи его товарищей; а если он выходит из боя невредимым, то это не благодаря его личному мужеству; а только благодаря его счастливой звезде, благодаря судьбе. Я бы хотел привести для примера такую ситуацию. Допустим, я нахожусь в роте солдат, построенных в ряд. Каждый пятый должен предстать перед военным судом. Падет ли смертоносный жребий на меня? Или я останусь в живых? Я могу только, отдавшись судьбе, ждать, что она решит. Личное бесстрашие, мужество во все времена заслуживали восхищения, и так будет всегда, пока они не станут бессмысленны. Политические и дипломатические конфликты между странами следовало бы улаживать политическими и дипломатическими средствами. Война, в качестве защиты и *ultima ratio*[75], была бы оправдана только в том случае, если бы европейская цивилизация вдруг снова оказалась под серьезной угрозой, как в средние века, когда такая угроза исходила от гуннов.

Патриотизм — высокое и благородное понятие, но шовинизм стал опасной угрозой, с тех пор как волна национализма захлестнула современный мир, а евангелие ненависти распространяется, проповедуя грубую силу. Этот шовинизм можно обнаружить во всех европейских странах, Италии и Германии. По мнению шовинистов, только агрессивный национализм является настоящим патриотизмом, а пацифизм или даже просто осуждение ужаса войны и любовь к миру они называют трусостью. Но они забывают, что в современном беспокойном мире боец проявляет меньше мужества, чем тот, кто осмеливается признать себя пацифистом. Эти соображения объясняют, почему крайние радикалы ополчились против меня, в то время как умеренные элементы, даже в консервативном лагере, признают правдивость, с которой я изобразил ужасы войны. Никто не может отрицать, что я люблю все, что есть великого и благородного в моей стране, и от всего сердца желаю, чтобы Германия восстала из сегодняшнего жалкого состояния.

Когда вышел фильм «На Западном фронте без перемен», влиятельные политические круги воспользовались всеми средствами, какие только можно себе представить, чтобы добиться запрета на демонстрацию фильма в Германии. Как известно, им это далось. Цензор запретил демонстрацию фильма на том основании, что в фильме не показаны вся слава и величие немецкого солдата. Подобное утверждение решительно неверно, потому что фильм показывает только человеческую сторону

фронтовой жизни. То, что противники не всегда подходят к моим произведениям непредвзято, забавно подтверждает один случай, происшедший в свое время в связи с моей книгой. Ведущая национал-социалистическая газета опубликовала статью солдата, который четыре года сражался в окопах. «Ангрифф» восхвалял статью (а это были дословно переписанные пять страниц моей книги) как грандиозный хроникальный документ; не то что «выдумки Ремарка». Моя книга пользовалась успехом, потому что она передавала во всей простоте человеческую сторону жизни в окопах, величие и хрупкость человека, его мужество и удаль. Если бы я попытался поставить героев войны на сверхчеловеческий пьедестал, книга никогда не достигла бы такого успеха. Героизм не зависит от результата. Немецкая армия, немецкий солдат никогда не были более героичными в самом строгом смысле слова, чем в 1918 году, когда закатилась звезда Германии. К тому времени техническое превосходство неприятеля стало настолько огромным, что армия могла только упорно сопротивляться до горького конца, напрягая все нервы в героической оборонительной войне.

Никто не может желать, чтобы еще раз наступили такие ужасные времена. Самый большой технический и военный прогресс не мог бы оправдать такого желания. Ни один разумный человек не может призывать эпидемию, например, чумы, для того, чтобы врачи смогли продемонстрировать свое искусство.

(1930–1931)

Практическая воспитательная работа в Германии после войны [76]

Можно грубо подразделить немецкий народ на три группы:

1. Люди, получившие воспитание до нацизма, которые хорошо помнят Первую мировую войну или принимали в ней участие. Всем им теперь от 44 до 75 лет. (В 1914 году им было от 14 до 45 лет. Самые молодые и самые пожилые резервисты.)

2. Люди, получившие воспитание к 1933-му году, еще до нацизма, не принимавшие участие в Первой мировой войне. Им теперь от 30 до 44 лет. (В 1914 году им еще не было 14 лет.)

3. Люди с исключительным или преобладающим нацистским воспитанием. Все моложе 30 лет (гитлерюгенд, штурмовики и эсэсовцы и т. п.).

Первая группа предположительно представляет большую часть пригодных для воспитания немцев. Проигранная война, испытания, разочарования, страдания (большинство из них, вероятно, потеряло сыновей на войне, родных во время воздушных налетов, имущество, деньги, здоровье и работу) — все это поможет быстро переубедить их. Среди них тоже есть три группы: католики, протестанты и рабочие, бывшие до войны членами профсоюзов. Они оказывали наибольшее сопротивление нацистам. Первые две группы — из-за своей веры (особенно католики с их воинственными епископами); среди протестантов — группы вокруг пастора и бывшего героя-подводника Нимеллера и другие. Немецкие рабочие подразделяются на коммунистов и бывших социал-демократов. После Первой мировой войны социал-демократы образовали правительство. Эта большая партия имела очень способных и полезных членов — и самых слабых вождей, которые через несколько недель после образования правительства в смертельном ужасе перед коммунистами предложили тогдашнему немецкому офицерству (военному министру Носке) начать борьбу и тем самым сразу же выпустили джинна из бутылки. Будет очень важно привлечь обратно на сторону демократии как можно больше приверженцев социал-демократии (и постараться сделать этот переход не слишком для них трудным), но не привести к власти ни одного, ни одного из их бывших слабых вождей.

Вторая группа (люди от 30 до 44 лет) даст меньше результатов. Среди них есть религиозные группировки, бывшие молодые члены «Железного фронта» (демократической организации Веймарской республики) и бывшие молодые

демократы, социал-демократы и центристы. Здесь, как и в первой группе, можно будет обнаружить целый ряд людей, которые были или еще до сих пор остаются в концлагерях или находились под наблюдением гестапо.

Самой сложной будет *третья группа.* В ней — фанатичные члены гитлерюгенда, люди формации СС и СА, никогда не читавшие иностранной прессы; никогда не слышавшие ничего, кроме пропаганды партийных газет, радио и лекций. Молодые люди, может быть, изменятся под влиянием интенсивного просвещения, информации и воспитания в школах, гимназиях и университетах, что будет иметь очень большое значение. Тот, кто завоюет молодежь, тот будет определять будущее страны.

Первое, что нужно сделать в Германии, — это разрушить национал-социализм. Причем полностью.

Любая диктатура существует на двух основаниях — на страхе и успехе. В Германии ими были — гестапо и победы.

Проигранная война и разгром гестапо могут привести к тому, что значительное большинство после капитуляции Германии будет активно нападать на национал-социализм. Страх перед наказанием, страх перед возмездием, разочарование, весомая доля оппортунизма, попытка успеть сменить лошадей, спрятаться, ускользнуть будут причинами таких нападок. Возникнет удивительное сосуществование: никто не будет удивляться, что бывшие члены партии рассказывают всем и каждому, будто они только хотели предотвратить самое плохое, но в глубине души никогда не были нацистами, а бывшие ярко выраженные националистические, милитаристские и промышленные объединения будут перекладывать вину на нацистов, которые никогда не смогли бы добиться успеха, если бы их тылы не были укреплены именно этими кругами, уж не говоря, разумеется, обо всех тех оппортунистах, которые всегда бегут за победителем.

Но все это будет лишь на поверхности. После первой войны было то же самое. Волна антимилитаризма прокатилась по стране, а через несколько месяцев милитаризм уже опять начал поднимать голову, хитро, скрытно, настойчиво. Этот феномен необходимо исследовать, чтобы найти подходящие контрмеры. Немецкий нацизм искоренить легче, чем немецкий милитаризм.

Некоторые мероприятия для искоренения нацизма.

Самое широкое распространение информации об ужасных преступлениях нацизма:

а) *до войны.* Немецкие концентрационные лагеря.

Пыточные камеры гестапо.

Огромные масштабы воровства, убийств, хищений, угнетения, подавлений; жизнь гаулейтеров, фон Штрейхера, Геббельса,

Геринга, Лея и др.; статистические данные о том, как они присваивали газеты, фабрики, имущество, вплоть до откровенных мелочей; как большинство из них обогащалось, скрывалось от ответственности и военной службы; как они открывали банковские счета в нейтральных странах; и как они убивали и упрятывали в тюрьмы врагов и свидетелей и т. д. Постыдная война 60 миллионов немцев против 500000 евреев.

б) *во время войны.* Концентрационные лагеря во Франции, Польше, России и т. д., отдельно — лагерь в Люблине с его крематориями, газовыми камерами и т. д.

Расстрел невинных заложников; убийство тысяч гражданских людей с точными цифрами, фотографиями и т. д. Жертвы Германии, умиравшие от голода в Греции, Польше, России с точными цифрами. (Ничто так не убеждает немцев, как цифры). Фотографии!

Здания гестапо с пыточными камерами во Франции, Норвегии, Польше и т. д. Фотографии!

Убийство огромного числа евреев.

Массовые захоронения в Польше и России, с цифрами, фотографиями убитых детей и женщин.

Все это следует демонстрировать самым широким кругам общественности:

а) в течение нескольких месяцев в газетах. Свидетельства очевидцев с фотографиями и т. д.;

б) в радиопередачах;

в) в фильмах (сотни тысяч детских ботинок в Люблине, фотографии расстрелов, замученных людей, жертв концлагерей, разрушенных городов и деревень и т. д.);

г) в книгах, брошюрах, листовках, иллюстрированных изданиях, фотоальбомах.

Следует получать *признания* и также предавать их гласности.

Открытые судебные заседания над виновными эсэсовцами и гестаповцами следует в особенно страшных по своей жестокости случаях проводить с трансляцией по всем радиостанциям. Идиотизм и смешные стороны нацизма, псевдонаучный бред, многочисленную ложь, несуразицы следовало бы также показывать в статьях, книгах, брошюрах, в сборниках речей нацистских вождей, демонстрирующих их противоречивость и т. д.

Этот материал должен быть убедительным и производить впечатление. Вначале он вызовет недоверие, потом благодаря неопровержимым фактам убедит и наконец вызовет волну глубочайшею стыда, вины, возмущения и ненависти в тех немцах, на которых мы рассчитываем. Их следует полностью убедить в

том, что само слово «немец» замарано и уничтожено и *что* единственный путь *по меньшей мере демонстрации доброй воли* — искоренение нацизма; искоренение его в Германии и в самих честных немцах. Должна возникнуть волна пробуждения от кошмарного сна, и *немецкие* суды должны настаивать на том, чтобы разбирать дело каждого нациста и военного преступника строже и с большим пристрастием, чем какой бы то ни было суд союзников. Такие суды могут находиться под строгим контролем союзников, но, если их будут проводить немцы, это позволит достичь большого эффекта. Присяжных можно будет найти в концентрационных лагерях, среди известных антифашистов и (с осторожностью, но в целях достижения эффекта) среди антинацистски настроенных офицеров (которых после судов сразу же следует отправить в отставку и лишить влияния).

Чем больше честных немцев используют для названных задач, тем лучше. Немецкая психология лучше реагирует на своих. Книги антинацистских генералов в Москве и т. п. могут продемонстрировать грубые ошибки, недостаток знаний и бессмысленную смерть сотен тысяч солдат после того, как война была уже проиграна, только чтобы еще на пару месяцев спасти виновных нацистов. Следует публиковать книги и воспоминания (немецких солдат) о том, как эсэсовские офицеры расстреливали своих собственных людей и скрывались еще во время войны.

Чрезвычайно важно всеми средствами показать, как Германия готовила эту войну; что она была единственной подготовленной к войне страной (доказательство: легкие победы в первые годы); как Гитлер нарушал одно обещание за другим; как немецкие нацисты смеялись над наивностью союзников, их слабостью и желанием предотвратить войну; как Германия начала воздушную войну: бомбардировки Варшавы, Роттердама, Лондона и т. д.

Хотя это просто, но очень важно. Чтобы предотвратить появление новой легенды об «ударе ножом в спину»[77], Германия должна знать, что она сама навлекла на себя войну и катастрофу. Может быть, поведение нацистских вождей в конце войны (особенно то, что они пытались бежать) можно будет использовать для пропаганды.

Но еще важнее, чем уничтожить нацизм и искоренить милитаризм, — это не допустить третьей мировой войны. После своего крушения нацизм больше никогда не будет править Германией. Свергнутая и разгромленная диктатура никогда не приходит во второй раз. Но нацизм никогда не добился бы в Германии таких успехов, если бы не типичные националистические и военные круги. Они его поддерживали. А теперь они попытаются переложить вину на нацистов, спрягаться

и на некоторое время уйти в подполье, чтобы заново сформироваться и снова проявиться.

С определенной уверенностью можно сказать, что с нацизмом после войны будет покончено; с национализмом и милитаризмом — нет. В этом заключается опасность. Важно исследовать, как они возродились после Первой мировой войны.

Германия проиграла войну до того, как враг ступил на ее землю. К моменту перемирия немецкие армии находились во Франции, России, Италии и на Балканах. Позднее союзники оккупировали только Рейнскую область. Но не Берлин. И не Пруссию. Благодаря этому было легко выдумать легенду, что армии были победоносными; что еще два месяца — и война была бы выиграна; что катастрофу вызвал «удар ножом в спину», нанесенный социалистами, коммунистами и т. д.

Немецкий генеральный штаб, потребовавший перемирия в течение 24 часов, сделал все, чтобы скрыть этот факт! Новое правительство, сформированное из лидеров демократов и социалистов, было вынуждено просить о перемирии. После его заключения генеральный штаб тут же переложил всю вину за проигранную войну на правительство, которое было у власти только несколько дней. Они имели такой успех, что вскоре после этого введенная в заблуждение националистически настроенная молодежь начала убивать социалистических вождей. Уже в январе 1919 года немецкие офицеры-националисты и националистические круги открыли свою штаб-квартиру в отеле «Эдем» в Берлине под предлогом предотвращения коммунизма, а на самом деле с целью возрождения старой Германии.

Издавались книги: «Непобедимая в бою» и тому подобные названия, мемуары, истории полков, биографии, газетные статьи, — все с одной основной целью — спасти репутации и оправдать не ведающих ошибок генералов.

50 миллионов немцев никогда не видели ни одного солдата союзников, поэтому было легко убедить их, что только проклятый удар ножом в спину не дал одержать окончательную победу и что во второй раз все будет сделано лучше.

Поэтому стало возможным обвинить в нужде, инфляции, безработице не немецких военачальников, а партии мира, лидеров демократов и социал-демократов, которые искренне (хотя и вяло) старались вытащить Германию из беды. Возникла легенда о Версальском договоре — договоре, при заключении которого, к несчастью, никто не настоял на том, чтобы ею подписали также Гинденбург и Людендорф, а еще лучше — только они.

После этой войны немецкий генеральный штаб

незамедлительно ступит на тот же путь. Теперь он возложит вину за проигранную войну на нацистов и Гитлера. Мы еще удивимся масштабам стирки чужого грязного белья. Это будет делаться с относительной легкостью и преследовать следующую цель: доказать, что генеральный штаб еще в 1939 году предостерегал Гитлера от объявления войны России или Америке. Может быть, это даже правда. Таким образом генеральный штаб, отмывшись от поражения, с легкостью попытается убедить немцев в том, что он, вопреки своему желанию, был вынужден подчиняться приказам. «Вынужденное подчинение приказам» — вот что будет ключевым словом после войны. Почти у всех в Германии будет эта отговорка: «Мы только подчинялись приказам». А остальные (их будет немного) будут заявлять, что никогда не отдавали таких приказов.

Так генеральный штаб сможет легко возродиться после проигранной Второй мировой войны в блеске славы! Немецкий солдат мужественно сражался; воспоминание о победах сохранится у всех; вина за все, что не получилось, падет на нацистов, которых, теперь бесполезных, сразу же принесут в жертву; и снова будет готова почва для отравы.

Вполне возможно, что после войны в Германии возникнут революции и коммунистические движения и т. п. Генеральному штабу и его окружению это не помешает. Они дождутся своего времени. Какие бы жестокости, беспорядки и т. п. ни произошли, позднее их можно будет использовать как орудие пропаганды. Они и пальцем не пошевелят, чтобы спасти хоть одного нациста. Но сами будут твердо знать, что находятся в полной безопасности. Кто обвинит немецкого генерала и отдаст его под суд за то, что он просто выполнял свой долг? Разве не Гинденбург, этот идол, сам фельдмаршал, назначил господина Гитлера? Что еще оставалось немецкому офицеру, как не последовать за своим генерал-фельдмаршалом?

Я повторяю: все сегодня ожидают, что нацисты уйдут в подполье. Они этого не сделают, их принесут в жертву. В начале нацисты были козлами отпущения для военных кругов, потом нацисты тонко их обыграли, но политически они всегда работали в их русле. Теперь нацистам придется взять на себя вину за проигранную войну, а потом стать совершенно бесполезными. Чем больше на них взвалят, тем лучше. Шумиха отвлечет внимание от их покровителей. Те смогут затаиться, как после первой войны.

Их первой жертвой станут миллионы демобилизованных солдат. После той войны среди немецких солдат возникли антивоенные настроения. Они были по горло сыты войной. Но

вскоре война в их воспоминаниях стала превращаться из кошмарного сна в самое большое приключение их жизни. Только мертвые могли бы сказать последнее слово о войне; только они испытали все последствия войны. Среди большинства выживших постепенно начался процесс формирования легенды. Лишения прославлялись; повседневная жизнь в мире, в профессиональной деятельности, разочарования, регулярная работа, а чаще — нехватка работы — после короткой радости, в сравнении с годами ужасных приключений, показались скучными. Молодые офицеры, принимавшие решения, от которых зависела жизнь и смерть взводов и рот, вдруг снова оказываются бухгалтерами, мелкими чиновниками и т. п. и получают приказания от окружающих, к которым — когда они были в форме — они испытывали только презрение. То же происходит с унтер-офицерами. Солдаты, привыкшие к фронтовому товариществу, через несколько месяцев после возвращения начинают чувствовать одиночество. Они снова хотят быть вместе, вспоминать и обмениваться воспоминаниями; они создают объединения; встречаются раз в месяц или чаще — естественно, уже как гражданские люди (военные объединения, офицерские клубы и т. д.) Такие объединения были в каждой деревне Германии. Они создавались и организовывались под чутким руководством бывших офицеров, постепенно политизировались, затем становились националистическими и наконец приобретали значительное влияние («Стальной шлем», Союз немецких офицеров, Союз фронтовиков и т. д.).

Можно попытаться помешать созданию социальных объединений бывших солдат. Это будет сложно. Лучше пусть это происходит открыто, а не тайно, чтобы можно было контролировать их и влиять на них, а также поддерживать демократические организации подобного рода («Железный крест» и т. д.).

Второй жертвой станет немецкий средний класс. Его начнут запугивать старым призраком — коммунизмом. По этой причине националистически настроенный класс (юнкерство, офицеры, промышленники и т. д.), возможно, будет приветствовать временный коммунистический или стоящий на близких коммунизму позициях режим в Германии, включая некоторые акции террора в целях будущей пропаганды, чтобы через какое-то время снова оказаться спасителями. Немецкий средний класс абсолютно антикоммунистичен и поэтому обречен стать добычей изощренной агитационной работы (вначале, вероятно, «национал-демократической» или какой-то еще в этом роде).

Третьей жертвой будет молодежь. В Германии были сотни тысяч награжденных солдат. Возникнут тысячи историй о

героизме, рассказы очевидцев; герои-летчики, герои-подводники, герои-мальчишки, которым всего-то по 13–17 лет, — все они с легкостью поразят воображение скучающих за школьными партами молодых людей. В том возрасте, когда ты зубришь математику или латынь, другие уже сражались в Африке, Греции, на самолетах и подлодках. К сожалению, людская память как сито: через несколько лет ужас войны забудется, а восторг от приключений останется. Наполеон, который обескровил Францию, через несколько лет после своей смерти все еще был великим императором и легендой страны, в которой со времени его правления постоянно падала рождаемость, потому что было пролито слишком много крови.

Четвертой жертвой будут уцелевшие нацисты, рассеянные по стране партийцы, бродяги, члены штурмовых групп, которые вот уже несколько лет как отвыкли от какой бы то ни было работы, и типичные болтливые оппортунисты, какие есть в любой стране.

Предотвратить все это — очень тяжелая задача. Начинать следовало бы со школы. Школьные учебники должны быть основательно переработаны. Они совсем не менялись со времен первой войны. Поначалу были выброшены рассказы о кайзере и молитвы за кайзера. Все остальное — например, прославление немецкой войны и т. д. — не тронули.

Важно не только вычеркнуть старое, но и создать новые идеалы. Хотя в идеале демократии много разумного, но ему не хватает блеска, особенно в Европе. В этом заключается первоочередная задача. Вот некоторые направления, в которых следовало бы работать: необходимо заменить воспевание войны на воспевание мира, прославление героев разрушения на прославление героев науки и созидания; идеал военного послушания нужно заменить на идеал личной независимости, гордость солдата — на гордость личности; националистический шовинизм — на национальную гордость; необходимо поощрять гуманизацию общества. Нужно разрушить миф о расе господ, объяснить его бессмысленность и высмеять его.

Преподавание истории не должно ограничиваться только историей немецкого народа, как было до сих пор, его следует расширить до мировой истории, чтобы показать взаимозависимость всех стран друг от друга и таким образом обнажить преступность войны между цивилизованными странами. Молодежи нужны герои, но героев достаточно в науке, медицине, есть герои, принесшие себя в жертву научному прогрессу, исследованию мира, герои есть даже в спорте — есть кем заменить генералов. Необходимо подчеркивать ужасные потери во время войн — потери человеческих жизней,

национального богатства и т. д. Следует показать, что если бы деньги, потраченные на войну, вложили бы в прогресс, культуру и гуманитарные цели, то мир стал бы почти раем.

Это все следовало бы подкрепить таблицами и фактами. Необходимо доказать, что в эпоху, когда самолет за несколько часов может пересечь все европейские границы, ни один конфликт между европейскими странами не может быть настолько неразрешимым, чтобы оправдать войну со всеми ее ужасами. Следует показать, что по сравнению с будущей войной даже последняя война покажется детской игрой; что будут уничтожены целые страны и народы и что война еще никогда не окупалась — даже для победителей.

Это лишь некоторые пункты, но вся работа имеет огромную важность и должна проводиться лучшими умами всех стран, а не несколькими реакционными профессорами-пенсионерами или полуреакционными учительскими союзами, как это было до сих пор.

Чтобы воспитывать детей, нужно воспитать учителей. Это подразумевает в первую очередь места для подготовки учителей (подготовительные отделения педагогических институтов, институты, учительские семинары). Полученное ими во времена нацизма образование было ужасно; до нацизма оно было просто жалким. Учителям в Германии мало платили. Следовало бы лучше оплачивать их труд. Уже это повысит их заинтересованность. В кайзеровской Германии существовала поговорка: «Все немецкие победы были одержаны немецкими учителями». В этом заключена истина. Кто завоюет учителей, тот завоюет молодежь. Поэтому следует расширять и стимулировать подготовку учителей. Они должны посещать политические демократические курсы и иметь возможность учиться в университетах (была только одна-единственная попытка в этом направлении, да и то не от всей души, во времена Веймарской республики). Это должны быть совестливые люди, уверенные в том, что в демократических устремлениях их поддерживает государство. Учительские союзы могут состоять в тесной связи с министерством и постоянно получать новые материалы, новые идеи и новую поддержку.

То же самое относится к институтским и университетским преподавателям и профессорам. Следовало бы очень тщательно отбирать университетских ректоров и деканов. Преподаватели немецких институтов и профессура университетов, склоняясь перед любой властью, показывали не лучший пример по сравнению со многими простыми школьными учителями.

Задачу перевоспитания взрослых немцев можно выполнять на

тех же принципах, что и перевоспитание молодежи. Следовало бы широко публиковать данные об ужасах войны. (Две лучшие антивоенные книги, содержавшие только документы и фотографии, были запрещены и переработаны на макулатуру в Германии за десять лет до прихода нацистов к власти. Фильм «На западном фронте без перемен» был запрещен в 1930 году, за три года до Гитлера, членами правительства, теперь беженцами, которые обязательно попытаются после Гитлера опять попасть в правительство).

Книги с документами, фактами, фотографиями должны вскрыть всю бессмысленность уничтожения белой расы из простой жажды власти. Благодаря фактам, вина нацистской Германии и ее покровителей, ужасы, к которым привел нацизм, нищета, голод и гибель миллионов должны врезаться в память.

Враги демократии снова попытаются взвалить вину за беды, сопровождающие войну, на правительство, которое признает свою несостоятельность. Очень важно с самого начала противодействовать этому.

После Первой мировой войны демократические вожди Германии получали очень мало поддержки от стран-победительниц. Напротив, с ними часто обращались так, словно они — побежденные генералы, виновные в войне. Это отношение сразу же стало мощным орудием пропаганды их противников. Новое демократическое правительство Германии будет нуждаться не только в контроле, но и в помощи — в борьбе против внутренних врагов.

Огромное препятствие для развития демократии было создано в Германии после Первой мировой войны юристами и адвокатами, судами, прокурорами и т. д. Большинство из них — бывшие офицеры и члены националистических студенческих объединений. Они были независимы, по большей части реакционны и делали все, что было в их власти, чтобы поддержать свои круги. Вскоре повсюду стало известно, что настоящий убийца обычно отделывался легким (пусть даже и каторжным) наказанием (ввиду своих благородных мотивов и любви к родине), в то время как любой демократ и левый считался самым обыкновенным криминальным элементом, достойным самого строгого наказания. Это обстоятельство вдохновляло нацистские шайки на террористические преступления любого толка задолго до 1933 года; они знали, что всегда отделаются легким испугом. Честные суды и судьи подвергались угрозам, а их решения зачастую отменялись реакционными судами вышестоящих инстанций.

Здесь будет необходим жесткий контроль и, возможно,

изменение определенных положений конституции. То же самое относится к реакционным студенческим объединениям. Они пользовались большим влиянием, потому что каждый их член всегда оставался их членом (пассивный статус) и поэтому они были организациями, включавшими и восьмидесятилетних — высоких правительственных чиновников, и самых юных студентов; они поддерживали друг друга, выбирали на важные посты в обществе только членов своих объединений и имели большое влияние в университетах, а позднее во всех сферах академической (если речь шла об университетском образовании) и общественной жизни (право, высшая школа, университеты и т. д.).

Недостаточно просто разрушить эти связи, чтобы уничтожить их круги. Правительство должно гарантировать, что университетское образование не является привилегией тех классов, которые могут за него заплатить, а благодаря его поддержке и всесторонней помощи распространяется и на способных, демократически настроенных молодых людей (стипендии, освобождение от налогов, вечерние курсы). После первой войны было несколько робких попыток (народные институты и т. д.), которые, однако, были совершенно неудовлетворительны.

Если в Германии после войны будет несколько десятков тысяч полицейских, то их и особенно их начальников надо будет отбирать с большой тщательностью. Германии и Пруссии дважды удавалось после поражений увеличить численность разрешенной армии только за счет ежегодной демобилизации десятков тысяч подготовленных солдат и призыва новых рекрутов, что создало постоянно растущее число резервистов.

Побежденная, оккупированная страна легко становится страной ненависти. Мелкие ошибки могут очень быстро стать оружием пропаганды. (Вспомним ввод темнокожих французских частей в Рейнскую область после предыдущей войны). А ненависть — одна из основ войны.

Будет очень трудно избежать ненависти. В этом может помочь одно из нацистских преувеличений. Немцы вдруг обнаружат, что союзники не такие, какими их изображали нацисты. Кроме того, следует постоянно подчеркивать, как вели себя немцы в завоеванных странах (в Польше, Франции, Греции, Норвегии и т. д.). Нужно снова и снова рассказывать, как они вводили варварские законы, расстреливали пленных, создавали концентрационные лагеря, пытали подозреваемых, убивали и грабили евреев, приговаривали людей к принудительным работам, заставляли голодать целые страны и т. д. И нужно

сравнивать это с существенно более мягким отношением к поверженной Германии. Если в Германию будет приходить какая-либо помощь — продукты питания, займы и т. п., это должно получать широкую огласку.

Ликвидация гестапо, отмена приговоров о лишении свободы и смертных приговоров без судебного расследования или без справедливого судебного расследования, новая структура юстиции, восстановление порядка, свободы слова и мысли могут оказать большое влияние. Радио, обычно контролируемое государством, должно постоянно использоваться во взаимодействии с газетными статьями, книгами, короткометражными фильмами (показывающими эпизоды гестаповского режима) и т. п., чтобы показать, что оккупация страны может одновременно означать и ее освобождение.

Мероприятие, проводимые скрепя сердце, хуже, чем вообще никакие. Новое демократическое правительство в Германии должно обладать властью. Оно должно победить внутреннего врага. Поэтому оно не должно быть чисто демократическим. Оно не должно предоставлять равных прав своим врагам. Внутренний враг хитер и уже столетиям знаком с тактикой. Немецкая демократия после Первой мировой войны была разгромлена на демократических принципах. Она была недостаточно сильной и зрелой, а ее вожди были слишком слабыми и слишком старались понравиться реакционным партиям или убедить их, что они, несмотря ни на что, хорошие немцы. Даже в социал-демократах по большей части пряталось что-то от послушного солдата. (Сюит вспомнить о первом голосовании в рейхстаге в 1914 году; все левые партии проголосовали за войну.) Секретари партий не были борцами; после первых успехов многие из них превратились в мелких бюргеров, которые больше стремились сделать карьеру, чем бороться. Так их врагам удалось организовать убийство демократии под эгидой демократических принципов, используя свободу слова, собраний и организаций.

Это не должно повториться. Поэтому в Германии нельзя сразу же ввести демократию в том виде, в каком она существует в Америки или в Англии. Это должна быть (умеренная) диктаторская (употребим ненавистное слово) демократия, которая руководствуется демократическими принципами, но не гарантирует врагам всех свобод. Или, другими словами, это должна быть постепенная демократия, которая шаг за шагом по мере роста ее сил приближается к абсолютной демократии, но в течение как минимум одного или двух поколений бдительна.

Лидеры? В Америке и Англии много бывших лидеров, которые в настоящее время являются беженцами. Почти все они

однажды потерпели поражение, а кто станет доверять сторожевой собаке, которая один раз впустила в дом разбойников и убийц?

В Германии все еще существует подпольное движение. Там можно найти заслуживающих доверия людей. Некоторых — в тюрьмах и концлагерях.

Немецкие генералы и старшие офицеры, ставшие антифашистами (Московское движение), из соображений пропаганды могут быть использованы — но ни в коем случае не для руководства.

Этот краткий обзор чрезвычайно ограничен. Он показывает только некоторые направления, которые могут оказаться важными в деле практической воспитательной работы в Германии. Поэтому здесь оставлены без внимания все экономические, финансовые и другие вопросы. Кроме того, он не рассматривает ошибок, промахов и упущений мировой политики с 1918 года, которые сильно поспособствовали немецким националистам и нацистам, и не поднимает вопрос, должен ли мир быть для Германии жестким или умеренным, и безнадежное ли это дело — перевоспитание немцев. Этот обзор сфокусирован на том, что нужно просто попытаться сделать — всеми средствами. От этого зависит будущее и мир во всем мире.

1944

Зрение очень обманчиво

Последний, кто может действительно оценить фильм, снятый на основе какой-то книги, — это, вероятно, сам автор книги. Когда я 28 лёт назад впервые увидел фильм «На Западном фронте без перемен», он вызвал у меня смешанные чувства. Я восхищался постановкой батальных сцен, но исполнители ролей казались мне чужими, я никак не мог идентифицировать их с людьми, оставшимися в моих воспоминаниях. Они были другими: у них были другие лица, и они по-другому себя вели.

Нынче происходит нечто противоположное. Странная колдовская сила втиснула впечатление от фильма между моими воспоминаниями и персонажами книги. Фильм перемешал актеров-исполнителей и людей, сохранившихся в моей памяти, причем воспоминания часто занимают лишь второе место. Когда я теперь думаю о персонажах книги, то перед глазами возникают в первую очередь лица исполнителей ролей в фильме, и только если я глубже покопаюсь в моей помутневшей памяти, возникнут люди той поры, какими они были на самом деле. Фильм живее. Зрение может быть очень обманчивым.

Из шести фильмов, снятых по моим книгам, я принимал участие в работе только над одним — последним — «Время жить и время умирать». Если автор дорожит своим здоровьем, ему следует воздержаться от работы над фильмом, пока он не поймет; что фильм не может быть достоверной копией его книги. А если бы был копией, то, вероятно, оказался бы плохим фильмом. Он не может быть даже переводом со словесного языка на кинематографический. В лучшем случае он будет преобразованием в визуальный ряд, полный сюрпризов, — также и для автора, которому придется отказаться от сцен, которые ему дороги, и увидеть новые, для появления которых он не видит никаких оснований.

Даже если фильм близок к совершенству, автор всегда найдет повод для того, чтобы возмутиться и тысячекратно преувеличить свое возмущение. Когда я впервые смотрел фильм «На Западном фронте без перемен», я заметил, что на унтер-офицере во время очень короткой, длившейся несколько секунд сцены, была «неправильная» фуражка — у нее не было козырька, хотя офицеры имели право носить только фуражки с козырьком. Мне было крайне неприятно, когда на экране мелькнула эта мелкая оплошность. Превосходно снятые батальные сцены уже ничего для меня не значили, — я видел только эту «неправильную фуражку» и представлял себе, как весь германский генеральный

штаб и националистическая пресса будут использовать эту ошибку, дабы уличить в обмане весь фильм.

Никто ничего не заметил. Ни генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, ни генералы из министерства обороны, которые видели фильм до того, как его выпустили в прокат по всей Германии. Воображение тоже может быть очень обманчивым.

Когда я в прошлом году приехал в Берлин, чтобы работать над фильмом «Время жить и время умирать», параллели с фильмом «На Западном фронте без перемен» были для меня очевидны. Точно так же как различия.

Обе книги были написаны мной; обе были книгами о войне, первая — о первой, вторая — о второй; оба фильма произведены одной и той же компанией — «Universal International». Но «На Западном фронте без перемен» снимался в Голливуде, а «Время жить и время умирать» — только в Берлине и в Германии.

Я помню премьерный показ фильма «На Западном фронте без перемен» в Берлине в 1930 году. За несколько недель до этого Йозеф Геббельс, в ту пору возглавлявший берлинскую организацию нацистской партии, прислал ко мне человека, чтобы узнать, согласен ли я подтвердить, что фильм этот был продан моими издателями и снят компанией «Universal» без моего ведома. Он хотел использовать в качестве антисемитской пропаганды то обстоятельство, что меня — автора нееврейской национальности — использовали две еврейские фирмы в своих «космополитических пацифистских» целях. В награду он пообещал мне протекцию нацистской партии. Его не смущало, что его партия упрекала меня и мой роман в том же самом. Его посланец сказал мне, что общественная память коротка, а партия приучена к дисциплине — они поверят тому, что им скажут. Не стоит говорить, что я отклонил этот бред и таким образом упустил возможность прослыть мучеником нацистской партии.

На премьере фильма Геббельс произнес ядовитую речь; его сподвижники бросали в зал жестяные банки, называемые в народе «бомбы-говнючки», и выпускали в публику белых мышей, чтобы прекратить демонстрацию фильма, а на площади перед кинотеатром устроили грандиозную демонстрацию.

Я пригляделся к демонстрантам. Среди них не было людей старше двадцати; следовательно, никто из них не мог быть на войне 1914–1918 годов и никто не знал, что через десять лет они попадут на войну и большинство из них погибнет, не достигнув тридцати лет.

Меня *in effigie*, то есть в моих книгах и тех копиях фильмов, которые сумели разыскать, сожгли в Берлине в 1933 году. Все мои книги были запрещены, но я, несмотря на это, имел счастье еще

раз появиться на страницах германской печати — причем даже в собственной газете Гитлера, «Фёлькишер Беобахтер». Один венский писатель переписал слово в слово главу из «На Западном фронте без перемен», дав ей, однако, другое название и другое имя автора. Он послал это — в порядке шутки — в редакцию гитлеровской газеты. Текст был одобрен и принят к публикации. При этом ему предпослали краткое предисловие: мол, после таких подрывных книг, как «На Западном фронте без перемен», здесь читателю предлагается история, в каждой строчке которой содержится чистая правда, Правда тоже иногда может быть очень обманчивой. Хотя и недостаточно часто.

Когда я в прошлом году дождливым вечером приехал в Берлин, я прошелся по площади Ноллендорфплац, где нацисты в свое время проводили демонстрации. Вся площадь лежала в развалинах, как и кинотеатр и еще много километров городской территории вокруг. Я миновал руины дома моего первого издателя, которому я некогда передал рукопись романа «На Западном фронте без перемен». Он ее отклонил и заявил мне, что никто больше не желает читать о войне. Тем самым он преподал мне хороший урок: не слишком полагайся на экспертов. В эти же годы я усвоил также, на что я могу полагаться: на независимость, терпимость и чувство юмора — три вещи, не слишком распространенные в Германии…

Побродив какое-то время в дождливых сумерках, я вдруг заметил, что заблудился. Я жил в Берлине годами, но теперь слишком многие ориентиры исчезли. Мне пришлось спрашивать, как пройти в нужном мне направлении через нагромождения руин. То же самое случилось, когда я приехал в город, где родился. Я чувствовал себя там чужаком, и мне пришлось купить старые фотографии, чтобы вспомнить места моей юности.

Когда я открыл дверь в студию, где должен был сниматься фильм «Время жить и время умирать», мне представилось зрелище, похожее на дурной сон. Я вновь увидел все это: знамена со свастикой, черные мундиры отборных частей, атмосферу честолюбия, коррупции и смятения. На какой-то миг зрелище это было до того невероятно, что уже показалось мне почти вероятным — в этом разрушенном городе, где руины стали нормальным явлением, а восстановленные кварталы казались чудом. Мы увидели аналогичную реакцию несколько дней спустя, когда выехали из студии на одну из улиц города, чтобы снять какой-то эпизод. По дороге нам пришлось остановиться, чтобы заправиться. В машине у нас сидели трое актеров, занятых в фильме и одетых в мундиры офицеров элитных войск. Женщина на бензозаправке увидела нас, отвернулась и крикнула в сторону

дома: «Отто, беги! Они опять здесь». Воспоминание тоже может быть очень обманчивым.

Значительное отличие романа «На Западном фронте без перемен» от нового фильма состоит в том, что роман содержит весьма впечатляющие батальные сцены, а «Время жить и время умирать» их вообще не содержит. В этом фильме нет ни одного вражеского солдата, но разрушений намного больше, чем в первой войне. Враг здесь невидим. Смерть падает с неба. Окопная война — пройденный этап: линии фронта повсюду. Война солдат — тоже пройденный этап: тотальная война направлена на каждого. Война героев — опять-таки пройденный этап: можно спрятаться, но нельзя защититься. Когда-нибудь в будущем несколько человек будут нажимать на кнопки — а миллионы умирать страшной смертью. Проблема войны состоит в том, что люди, которые ее хотят, не ожидают, что на ней им придется погибнуть. А проблема нашей памяти — в том, что она забывает, изменяет и искажает, чтобы выжить. Она превращает смерть в приключение, если смерть тебя пощадила. Но смерть — не приключение: смысл войны в том, чтобы убивать, а не выживать. Поэтому лишь мертвые могли бы рассказать нам правду о войне. Слова выживших не могут передать ее полностью, а фильмы иногда могут. Наше зрение более обманчиво, чем слово. Надеюсь, этот фильм тоже сможет.

(1957)

«Об Эйхманне и его сообщниках»

(книга Роберта М.В. Кемпнера)

Эта книга — одна из важнейших и наиболее поучительных работ, опубликованных за послевоенное время. Она выходит далеко за пределы своей темы и представляет собой не только описание Эйхмана, его мотивов, его подручных, его начальников и его поступков, но кроме всего этого здесь дана еще и неопровержимая, объективная и поэтому тем более ужасающая картина национал-социализма вообще — неопровержимая и объективная потому, что книга эта в основном состоит из документов, которые в ней цитируются, воспроизводятся в виде фотокопии и предлагаются для чтения в таком количестве, что на каждой странице приходится с содроганием признавать: здесь сталкиваешься с фактами, а не с мрачным и ужасным призраком, — и даже можешь констатировать, как именно случилось, что люди ему поверили и что большая часть народа — интеллигентного, цивилизованного и чересчур преклоняющегося перед авторитетами — загоняла других и самих себя в эту трясину бесчеловечности, хотя и не осознавала этого.

Но и еще кое-что возникает здесь — кое-что, кажущееся едва ли не более ужасным, чем даже самый жестокий садизм. Это — мелкобуржуазный бюрократизм такого садизма, многократно подтвержденный в книге бесчисленными документами. Там обсуждается умерщвление сотен тысяч беспомощных, ни в чем не повинных людей, словно они — не люди, а вредные насекомые, уничтожаемые стражами порядка — камергерами, — и сообщается о бесконечных поездах, полных отчаявшихся женщин и детей, посылаемых на смерть, — сообщается так, будто это — отчет бухгалтеров, инспекторов и администраторов фирмы, продающей картофель, о результатах финансового года, — о том, каким образом удалось приобрести в Венгрии особенно удачную партию, о том, что в других странах почти точно установлено наличие больших складов, и о том, как можно организовать транспортировку их содержимого, — все это сухо, по-деловому, без неприличных выражений типа «смерть» или тем более «убийство»; разве что упоминаются слова «окончательное решение» и «ликвидация» — так, будто речь идет об уничтожении старого товара до прибытия нового. При особо выгодных сделках, когда удалось найти возможность приобрести или сбыть на несколько сотен тысяч больше, обмениваются взаимными

поздравлениями, произносят тосты во славу эффективной деятельности фирмы «ООО Гестапо» и за роскошно накрытым столом тают от дружеских чувств. Ничего, кроме возмущения, не вызывает вид этих мелких служащих массового уничтожения, занимающихся своим ежедневным делом, не испытывая угрызений совести, словно они продают марки, сидя за окошком на почте, а вовсе не миллионы человеческих жизней.

Они — не Аттилы, не Чингисханы, они — рьяные, услужливые, озабоченные своей карьерой деловые люди, стремящиеся обогнать друг друга по убийствам, дабы выглядеть еще более усердными в глазах начальства, они — соотечественники и отцы семейств, трудящиеся в поте лица на благо отечества и имеющие право на пенсию, они — мужья, спокойно спящие ночью и хранящие супружескую верность, которые рассылают в пяти экземплярах распоряжения, обрекающие на верную смерть целые народы, — и все это делается спокойно, согласно моральной максиме палачей и холопов: «приказ есть приказ», нам за это ничего не будет, у нас есть прикрытие, — согласно этой морали трусов, которую мрачная ирония превратила в девиз расы господ.

Автор присовокупляет к документам, которые он предъявляет читателю, необходимые комментарии. Они дополняют картину ужасов. Из них видно, что многие из этих людей после нескольких лет тюрьмы или плена давно выпущены на свободу или помилованы. Человеческие жизни тогда стоили дешево, и они выгадали на этом, а также на старом девизе-прикрытии: «Что мы могли поделать, ведь приказ есть приказ?

А мертвые все равно уже были мертвы, и ничто уже не могло их оживить. И потом — разве не были уничтожены также и миллионы немцев? И не лучше ли вспомнить, что творилось в мире в ту пору — кровавая сага из мрачной предыстории человечества, когда человек еще не был человеком, а вовсе не из двадцатого века, когда человек уже опять перестал им быть?»

Доктор Кемпнер проявил в своей книге уникальное знание материала и использовал громадный накопленный им практический опыт. Перед захватом власти нацистами он работал на высоких должностях в Министерстве внутренних дел Пруссии, а после крушения гитлеровского рейха — на важных постах в Нюрнбергском процессе, под конец — главным обвинителем в процессе по делу Вильгельмштрассе. Он — авторитетная фигура в международном уголовном праве и по приглашению Генерального прокурора участвовал также в дискуссиях по процессу Эйхмана в Израиле. Его книга отличается не только лаконичностью стиля, великолепным знанием дела,

объективностью и личным знакомством с большинством упоминаемых в книге персон — как обвиняемых, так и свидетелей, — но также и великой любовью, не мешающей объективности: любовью человека к страдающим людям, любовью к справедливости. Она написана не для того, чтобы возродить ненависть и неприятие, а с одной-единственной целью: ничего не забыть, дабы это не могло повториться, ибо человек, по-видимому еще не так далеко ушел от своего кровавого прошлого, чтобы можно было предаваться слишком большим иллюзиям насчет долговечности понятий «справедливость» и «человечность».

(1961)

Фронтальный анализ войны и мира

О книге Ганса Фриша «Брайничи, или Другая вина»

Те, кто полагал, что с кончиной Тысячелетнего рейха освобождение немецкой литературы произойдет моментально, как взрыв, испытали глубокое разочарование. Ничего подобного не случилось. Ни штурма, ни обвинения, ни мятежа. Тишина — и только потом, очень медленно, нерешительное, осторожное нащупывание пути к прошлому, да и там не к крайностям, не к рискованным экспериментам, а скорее к чему-то надежному, пусть и весьма посредственному, зато обладающему гарантией надежности.

Однако и от этого вскоре отказались; после многих лет глубочайшей неуверенности хрупкое очарование этого пути оказалось мимолетным. Теперь можно было бы предположить, что чудовищный переизбыток потрясений последних лет, когда один-единственный день мог стать материалом для целой писательской жизни, теперь насильственно пресечен, — но произошло нечто прямо противоположное: из-за того что эти потрясения внезапно соскользнули в прошлое, они какое-то время стали казаться странно нереальными и перекроили настоящее в призрачную пустоту. Слишком много всякого стряслось в этом прошлом, чтобы слово вновь могло служить своему делу, — а там, где его возрождение произошло быстро, как это случилось при нескольких первых попытках, оно было встречено с недоверием и почти всегда казалось слишком патетичным. Оно не соответствовало духу времени; но и нового слова тоже не было. Поначалу все подвергалось сомнению. Слишком многое рухнуло — как в городах, так и в душах.

Нужно было искать новые понятия и новые слова, причем искать глубже, чем раньше, и намного осторожнее, дабы не заплутать вновь в Лабиринте пестрых полуистин. Все было не так, как после Первой мировой войны. Тогда реакция на войну в драме, лирике и эпосе последовала быстро и бурно (Хазенклевер, Толлер, Леонгард Франк, Верфель, Эренштайн и др., экспрессионизм, новая живопись, хотя и в ту пору прошло еще десять лет, прежде чем хлынул поток высказываний о войне (не считая неизбежных генеральских мемуаров).

Но Вторая мировая война была другой. Она вызвала не возмущение, вопль, революцию, она была тотально проигранной войной не только потому, что рухнули наши города, а потому, что

рухнули умы и души. Под самый конец она принесла еще один ужасный шок, а именно — осознание ее смысла, — не отрезвление, как в 1918 году, когда поняли, что сражаться было не за что, а во сто крат хуже — что сражались за убийц и преступников. И люди оставили после себя не опустошенное поле боя, как в 1918 году, когда на нем сохранялись еще кое-какие руины прежних понятий о чести, а скотобойню, где слепо, легковерно, неосознанно или сознательно они стали подручными мясников, чьи беззащитные жертвы исчислялись уже миллионами.

Это, а не въевшаяся в кровь и плоть боязнь высказаться, представляется мне одной из причин того, что немецкая литература молчала — слишком долго для нетерпеливого постороннего — и двинулась вперед медленно и спорадически, вернее, путем отдельных свершений. К этому добавилось еще и отсутствие примеров для подражания. Большинство крупных писателей в 1933 году эмигрировали; связь с ними оборвалась, многие в изгнании умерли, другие состарились, а когда вернулись, взаимное недоверие вскоре привело к отчужденности. Такие авторы, как Альфред Дёблин и Леонгард Франк, с трудом находили издателей, и даже Томас Манн и Карл Цукмайер вскоре предпочли остаться в Швейцарии.

Последним ощутимым обстоятельством теперь оказалось отсутствие евреев. В литературе Германии они были более важным фактором духовного равновесия, чем где бы то ни было, как борцы за демократию, свободу духа и прогресс, против провинциализма и армейского порабощения. После 1918 года евреи составляли большую часть авангардистов; теперь ощутимо не хватало их динамичности, смелости и международного размаха.

Так и случилось, что недавнее прошлое Германии многие годы не подвергалось увлеченному и масштабному рассмотрению, — рассматривались только отдельные случаи, да и то этот взгляд лишь изредка был прямой, чаще — косвенный, как бы «по касательной», или вообще дело ограничивалось молчанием. Только в последние годы появляется все больше произведений — романов, пьес и лирики, которые возвещают прорыв от стадии одиночек к открытому и бесстрашному наступлению по всему фронту.

«Брайничи, или Другая вина» сразу же доказывает необычайный талант автора. Здесь чувствуются не только мужество, энергия й решительность, но и мощная художественная хватка. Огромное достоинство книги в том, что сам подход к материалу у автора не журналистский или репортерский — если

бы он был таков, она была бы одной из многих, — нет, автор смотрит на него как поэт.

Умение достичь этого при таком вопиющем материале делает книгу редкой и достойной внимания, ибо тут автор вдет узкой тропинкой по краю и легко может свалиться. Очень велика опасность стать невыносимым, если не обладаешь накалом чувств и одержимостью, чтобы расплавить шлаки предрассудков и переубедить. Фрик это делает. Ему веришь и там, где он повторяется (это его первая книга), прыгает выше головы и временами вращается вокруг собственной оси. Его искренность и тайна заражают. Невольно на память приходят «Войцек» Бюхнера[78], Дилан Томас[79], Брендан Бехан[80], молодой Фриц фон Унру[81].

Текст, состоящий из отдельных эпизодов, быстрая, резкая смена атмосферы и настроения, плотное, сильное, то и дело переходящее в балладное, а зачастую почти лирическое содержание придают книге большую наглядность и красочность и в то же время создают дистанцию, необходимую для того, чтобы персонажи не производили впечатления надуманных, — они вдруг стоят перед нами как живые люди, подобные мне и тебе, и от этого становятся еще более опасными.

Понятие вины тоже сбалансировано: обвинитель так же виновен, как и те, кого он обвиняет; благодаря этому становятся возможными зеркальные отражения, в которых раскаяние и возмездие неожиданно получают светлые блики, и малая правда так же жаждет самоутвердиться, как и большая, так что даже автор в конце концов не находит никакого другого выхода, кроме саморазрушения, которое и любому другому покажется здесь едва ли не само собой разумеющимся решением. Вероятно, существует и другое движение, — но то была бы другая книга, и остается надеяться, что Фрик ее еще напишет Он принадлежит к такой категории писателей, которых всегда было слишком мало в Германии. Его роман — весомое и захватывающее обещание.

(1965)

Крупные и мелкие «сюрпризы» в моей жизни

Интервью с самим собой

Вопрос: Ваша фамилия не Крамер?

Ответ: Нет. Но это не помешало тому, что эта небылица широко разошлась по миру и поныне все еще принимается на веру.

В.: Вы ее не опровергали?

О.: А зачем? Я почти сорок лет никогда не опровергал того, что было обо мне написано, как бы ошибочно оно ни было.

В.: — Почему же?

О.: Все равно никто бы не поверил. Это один из первых уроков, усваиваемых человеком, имеющим успех. Когда это знаешь, избавляешь себя от волнений, адвокатов, лишних судебных издержек, язвы желудка и инфаркта. Газета всегда права — уже потому, что каждый день выходит снова. Что толку вам от одинокого уточнения, если его напечатают на двадцать четвертой странице вперемежку с объявлениями?

В.: Праща ли, что роман «На Западном фронте без перемен» был отвергнут многими издателями в Германии?

О.: Только одним, первым, причем одним из лучших. Он сказал мне, что в Германии больше никто не хочет читать о войне. Теоретически, вероятно, был прав он, а практически — я.

В.: И часто с вами случалось такое?

О.: Да. «На Западном фронте без перемен» был отвергнут и издательством «Putnam» в Америке. Издательство, которое потом его купило, завернуло мою вторую по известности книгу «Триумфальная арка» — там сочли, что никто уже не хочет ничего знать об эмигрантах из Германии. Издатель «Триумфальной арки» в Америке опять-таки отказался купить роман «Возлюби ближнего своего» по той же причине; а его потом выбрали «книгой месяца». Так оно и продолжалось. Все это «мелкие сюрпризы» моей жизни.

В.: Значит ли это, что издатели ничего не понимают в успехе книги?

О.: Нет. Скорее, это значит, что традиционное мнение — будто успех можно вычислить заранее — неверно. Иначе успехов было бы куда больше. Успех достигается, скорее, вопреки любой теории. Возьмите мои темы — бедные солдаты, еще более бедные

эмигранты; мои издатели были, безусловно, правы, когда говорили: «Ну кого это может заинтересовать?»

В.: Чем же вы тогда объясняете успех своих книг?

О.: Я и сам точно не знаю. Вероятно, тем, что я — своего рода несостоявшийся драматург; то есть говорю с читателем напрямую, без обиняков. Все мои книги написаны, как пьесы. Эпизод следует за эпизодом. Автор в качестве Deus ex machina исключен; он не выступает ни как истолкователь, ни как всеведущий посредник. Я много раз пытался облегчить свой труд обычными мостиками переходов, описаниями и наблюдениями, но в конце концов всегда приходилось все это вычеркивать. События и персонажи должны были говорить сами за себя.

В.: Вы считаете, это легче или тяжелее, чем другие манеры письма?

О.: Попробуйте-ка сами. А я, по-видимому, просто не могу иначе. Во всяком случае, у меня вспомогательных средств намного меньше. Автор, как Святой Дух, носящийся над водами, отсутствует; его место занимает герой (или антигерой, или рассказчик от первого лица). Лишь его интеллект, его жизненный опыт и его реакции играют решающую роль — только он один наблюдает, и больше никто. Это означает, во-первых, что он всегда должен присутствовать. Значит, сюжет должен быть построен так, чтобы он всегда был на месте действия. В книге выполнить это требование еще труднее, чем в театре, где он может удалиться, а второстепенные персонажи возьмут на себя развитие действия. В книге он всегда в свете прожекторов; без него книга кончается. Смена сцен или глав без него невозможна. И не только это; вся книга рассматривается лишь с одной-единственной точки зрения — с точки зрения героя. Если ему двадцать лет, то это книга двадцатилетнего, и никак иначе.

В.: Это все ограничения, а что вы получаете взамен?

О.: Наглядность и, вероятно, напряженность, которая возникает даже независимо от действия. Предпосылка этого заключается в том, что читатель обязательно вовлекается в диалог, который очень важен. Напряженность сюжета сама по себе — это лишь репортаж. Напряженность изложения — это нечто иное. Ее, в особенности если она удается, легко путают с репортажем даже критики, поскольку она пользуется теми же средствами. Но она выходит далеко за рамки репортажа. Она не только сообщает; она отбирает, оценивает, изображает и содержит некую идею.

В.: Какова же была идея в романе «На западном фронте без перемен»?

О.: Та, что изложена в предисловии, — рассказать о

поколении, которое погубила война, даже если его не уничтожили снаряды. И изобразить молодых людей, встретившихся не с жизнью, а со смертью и вынужденных как-то справляться с ней. Сами видите: это была, скорее, книга о времени после войны, чем репортаж о войне. Догадываюсь, что это частично и явилось причиной ее успеха.

В.: А что было идеей вашей книги «Искра жизни»?

О.: Ее название: «Искра жизни», которая не до конца гаснет даже под сапогами варваров.

В.: Вы считаете, что идея важна?

О.: Только общечеловеческая, а не программная: программа — не дело художника. По этой причине «На Западном фронте без перемен» не была в первую очередь пацифистской книгой. Она оказывала пацифистское воздействие, но темой ее была общечеловеческая проблема. Что разумные люди были против войны, казалось мне тогда настолько само собой разумеющимся, что только об этом я ни за что и писать бы не стал.

В.: Сколько времени вы работали над этим романом?

О.: Пять недель.

В.: А сколько экземпляров книги было продано?

О.: В Германии ежедневно продавалось по десять — двадцать тысяч. Всего — примерно 20–30 миллионов на 45–50 языках.

В.: Вы не знаете точных цифр?

О.: Я никогда их не проверял; общая цифра показалась бы невероятной. Да и невозможно было проверить. Повсюду появлялись пиратские издания. В одном из них, в Индии, благодаря дюжине плохих переводов из этого романа в конце концов получилась драма ревности между лесничим и браконьером. За железным занавесом так и так печатают без разрешения все, что хотят. В России все мои книги опубликованы воровским путем и вышли очень большими тиражами.

В.: Разве это не обидно?

О.: Не намного обиднее, чем когда в Германии конфискуют мои счета в банке и десять лет спустя, ссылаясь на инфляцию, возвращают мне десять процентов. Выгодное дельце для империи, но инфляцию создали не эмигранты, а пенсии генералов и бывших нацистов наверняка не снижены до десяти процентов из-за инфляции. И все же эмигранты, пожалуй, могут в конечном счете радоваться уже тому, что вообще получили хоть что-то, ведь они лишены гражданства, а значит, по-прежнему недостойны считаться немцами.

В.: Как?

О.: А вот так. Лишение эмигрантов гражданства не было, как ожидалось, повсеместно аннулировано с концом Третьего рейха.

Им только разрешили индивидуально подавать прошения о восстановлении гражданства. Может быть, этим не хотели их обидеть, но поскольку эмигранты в свое время не подавали прошений о лишении их гражданства, то требовать этого, скорее, унизительно и почти оскорбительно.

В.: Есть ли для этого причина?

О.: Конечно, в Германии всегда и для всего есть причина. Утверждают, что не хотят создавать трудности из-за восстановления германского гражданства для эмигрантов, которые уже получили гражданство какой-то другой страны. Это как минимум грубый просчет. Отмена лишения гражданства, то есть тягчайшей кары в любой стране, не имеет ничего общего с автоматическим восстановлением гражданства. Германская империя не может против воли эмигранта принудить его восстановить гражданство, но она могла бы снять с себя позор лишения гражданства, чтобы потом предоставить дальнейшее самим эмигрантам. А так возникла нелепая ситуация, когда эмигранты практически продолжают оставаться изгоями в Германии. Насколько мне известно, никто из участников массовых убийств Третьего рейха не лишен гражданства. То есть положение эмигрантов хуже, чем у них. Какая жестокая ирония судьбы, не правда ли?

В.: Предприняли ли вы что-нибудь против этого?

О.: Я стал американцем.

В.: Приезжаете ли вы в Германию несмотря на это?

О.: Почему бы и нет? Ведь я там родился. Тот факт, что я по-прежнему лишен там гражданства, придает поездке туда скорее мрачную привлекательность. По средневековым законам каждый мог бы безнаказанно прикончить меня, заявись я туда.

В.: Ну это уж вы преувеличиваете!

О.: Естественно. Не зря же я писатель и люблю занозистые ситуации.

В.: Что было самым острым чувством для вас, как писателя?

О.: Ощущение нереальности. Оно никогда меня не покидало. А пришло благодаря успеху моей первой книги. Я счел его абсолютно выходящим за все разумные рамки. Так оно и было. К счастью, я всегда это понимал. Это оградило меня от мании величия; даже наоборот — меня сковала неуверенность в себе. Ведь я не видел перспективы для развития. Я вдруг вознесся до небес и мог оттуда только грохнуться вниз. Из-за этого успеха все позабыли, что я всего лишь желторотый птенец. Сам я этого не забывал; это меня и спасло, как мне кажется. Я отгородился от всех, не верил хвалебным отзывам, зато верил критическим — и работал.

В.: Какая книга далась вам труднее всего?

О.: Думается, вторая.

В.: А какую вы считаете лучшей?

О.: Всегда ту, что еще не вышла в свет. Так, наверное, случается с каждым. Кроме того, я не питаю большой привязанности к книгам, которые уже вышли. За исключением первых. Я обычно так долго над ними работал, что потом долгое время не хотелось перечитывать. Вы же знаете: «One doesn't finish a book — one abandons it»[82]. Не очень-то приятно вспоминать о депрессиях, которыми сопровождалось написание книги. Она окончена и должна сама идти своим путем.

В.: Что было для вас важным в жизни?

О.: Независимость, терпимость, склонность к справедливости — самому прекрасному качеству, встречающемуся только у человека и у него же позорнейшим образом обращающемуся в жестокость. А также чувство юмора, которое зависит только от тебя самого.

(1966)

notes

Примечания

1

Югендвер — молодежная военизированная организация в Германии начала XX в. *(Здесь и далее — примеч. пер.)*

2

Писано с душевной скорбью в память об ее светлости давно почившей графине Манон *(франц.)*.

3

Так в оригинале. — *Примеч. ред.*

4

Конфуций.

5

Очевидно, Ли Тай-бо, китайский поэт VIII века. — *Прим. верстальщика fb2*.

6

Пищевые консервы у североамериканских индейцев, напр., вяленое мясо.

7

Бой, еще виски! *(англ.)*.

8

Карнавальное гуляние.

9

Здесь: романы *(франц.)*.

10

Рюбецаль, Экарт — герои немецких сказок.

11

Клаудиус, Маттиас (1740–1815), немецкий поэт.

12

Эйхендорф, Йозеф фон (1788–1857) — немецкий писатель, автор многочисленных эпических поэм и новелл.

13

Ваннзе — озеро в пригороде Берлина.

14

Дядюшка Брэзиг — персонаж юмористического романа немецкого писателя Фрица Рейтера (1810–1874).

15

Пользуйся днем, не теряй времени *(лат.)*.

16

Фригг — в германской мифологии: богиня неба, жена Одина.

17

Арак — рисовая или пальмовая водка.

18

«Николашка» — коктейль из водки, растворимого кофе и лимонного сока.

19

Целендорф — район Берлина.

20

Микаэлис, Карин (1872–1950) — датская писательница.

21

Оригинальные немецкие тексты настоящего рассказа. Данные переводы сделаны с немецких текстов, которые, в свою очередь, были переведены с английского.

22

Внимание! *(франц.)*.

23

Понятно *(франц.)*.

Здравствуй, товарищ *(франц.)*.

25

Здравствуй, здравствуй *(франц.)*.

26

Марс-ла-Тур — местечко под Верденом, где во время Франко-прусской войны 16 августа 1870 г. произошло большое сражение.

27

Дуомон — населенный пункт под Верденом, где во время Первой мировой войны шли тяжелые бои.

28

Этот парень! *(англ.)*.

29

Лао-цзы — автор древнекитайского трактата «Лао-цзы», канонического сочинения даосизма.

30

Гаутама — основатель буддизма.

31

Зак, Густав (1855–1916) — немецкий поэт и писатель. Автор стихов и романов в духе раннего экспрессионизма.

Перевод В.Т. Бабенко.

33

Йегер, Ханс Хенрик (1854–1910) — норвежский писатель.

34

Шёнберг, Арнольд (1874–1951) — выдающийся немецкий композитор, представитель экспрессионизма, основоположник додекафонии.

35

Шрекер, Франц (1878–1934) — австрийский композитор, автор опер в традициях позднего романтизма и экспрессионизма.

36

Вольф, Хуго (1860–1903) — австрийский композитор и музыкальный критик.

37

Ведекинд, Франк (1864–1918) — немецкий писатель.

38

Геккель, Эрнст (1834–1919) — немецкий биолог-эволюционист и натурфилософ, сформулировал биогенетический закон, согласно которому первыми живыми существами на Земле были бесформенные частицы цитоплазмы, возникшие в результате спонтанного объединения белковых тел.

39

Куртс-Малер, Гедвига (1867–1950) — немецкая писательница, автор более 200 развлекательных романов.

40

Силезиус, Ангелус (1624–1677) — поэт, автор духовных стихов, позднее — католический священник.

41

Полуостров на юге Швеции.

42

Эйхендорф, Йозеф(1788–1857) — немецкий писатель-романтик.

43

Шторм, Теодор (1817–1888) — немецкий писатель.

Раабе, Вильгельм (1831–1910) — немецкий писатель.

45

Беренс, Петер (1868–1940) — немецкий архитектор и дизайнер. В строительстве промышленных предприятий использовал железобетонные и металлические конструкции.

«Континенталь» — заводы технических резиновых изделий в Ганновере.

47

К теме смешивания коктейлей Ремарк обращался трижды: в 1924-м, 1926-м и в 1927 году. Само слово «коктейль» появляется только в 1927 году в эссе «Гимн коктейлю».

48

«Крем-де-какао» — ликер, ароматизированный поджаренными зернами какао и ванилью.

49

Начальные слова рождественской песни «Святая ночь».

50

Бидермайер — стилевое направление немецкого искусства (ок. 1815–1845) отразил как демократизм, так и обывательские вкусы бюргерской среды.

51

Мейер, Конрад Фердинанд (1825–1898), швейцарский писатель.

52

Один из ранних псевдонимов Ремарка.

53

Абу Навас (прибл. VIII–IX вв.) — арабский поэт, автор любовной и гедонической лирики.

54

Штёртебекер, Клаус — один из предводителей морских разбойников, поставлявших в 1389–1395 гг. продовольствие в осажденный Стокгольм. Казнен в 1401 году. Продолжал жить в народной памяти как защитник угнетенных.

55

«Группа К.» — объединение художников-конструктивистов, созданное в 1924 году Фридрихом Фордемберге-Гильдевартом. Первая и единственная выставка состоялась в мае 1924 года в Ганновере.

56

Грюневальд, Маттиас (ок. 1460–1528) — немецкий художник, наряду с Дюрером один из выдающихся художников своего времени.

Мейер-Фёрстер, Вильгельм (1862–1934) — немецкий писатель.

58

Эверс Ганс Гейнц (1871–1943) — немецкий писатель.

59

Вернер, Геймбург и Марлитт — популярные немецкие писательницы, авторы развлекательных романов.

60

Вассерман, Якоб (1873–1934) — немецкий писатель, автор социально-этических романов.

61

Готшед, Иоганн Кристоф (1700–1766) — немецкий писатель, теоретик раннего Просвещения.

62

Шопенгауэр, Иоганна (1766–1838) — немецкая писательница, мать Артура Шопенгауэра.

63

Идуна — богиня молодости в германских мифах.

Отто-Петерс, Луизе (1819–1895) — немецкая журналистка, одна из лидеров женского движения.

Авус (Auto-Verkehrs-und-Übungs-Straße) — гоночная автострада на западной окраине Берлине.

Монца — город в Северной Италии.

67

Почти фантазия *(итал.)*.

68

Зама — древний город в Северной Африке (совр. Тунис). В 202 г. до н. э. около Замы произошла битва, решившая исход второй Пунической войны в пользу Рима.

Панков, Вильмерсдорф — районы Берлина.

Купе — двухместный закрытый автомобиль.

71

Нильсен, Аста (1881–1972) — известная датская актриса эпохи немого кино.

Кайзер, Георг (1878–1945) — немецкий драматург.

73

Анэ, Клод — псевдоним французского писателя Жана Шопфера (1868–1931).

74

Броннен Арнольт (1895–1959) — немецкий писатель и драматург.

75

Ultima ratio *(лат.)* — последний довод. В дипломатии: разрыв дипломатических отношений и, в качестве крайней меры, война.

Оригинальные немецкие тексты этой статьи утеряны. Данный перевод сделан с немецких текстов, которые, в свою очередь, были переведены с английского.

77

Лживое утверждение нацистов, что Германия проиграла Первую мировую войну из-за революции.

78

Бюхнер, Георг (1813–1837) — немецкий писатель и политический деятель.

79

Томас, Дилан (1914–1953) — английский писатель и лирический поэт.

80

Бехан, Брендан (1923–1964) — ирландский драматург, противник революционности и яркий бытописатель «дна».

81

Унру, Фриц фон (1885–1970) — пацифист по духу и экспрессионист по художественной манере.

82

Книгу не заканчивают — с ней расстаются *(англ.)*.